ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

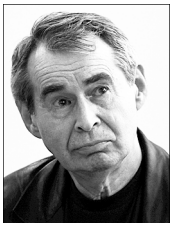
НИЖНИЙ НОВГОРОД

NIZHNY NOVGOROD 2(25)/2019

Борис ШИГИН
Пенза
79

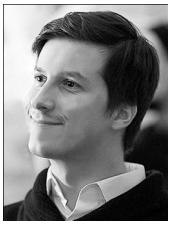
Юрий ПРОНИН
Нижний Новгород
86

Антон ХАЛЕЦКИЙ
Москва
89

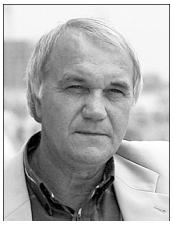


Александр ХОРТ
Москва
108

Георгий ПАНКРАТОВ
Москва
126



Дмитрий ЛАГУТИН
Брянск
137



Александр КОВАЛЕВ
Санкт-Петербург
152

Владимир РЕШЕТНИКОВ
Семёнов
Нижегородской обл.
157

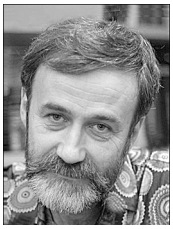
Николай ФОРТУНАТОВ
Нижний Новгород
165

София ИВАНОВА
Кстово
Нижегородской обл.
176

Николай БЕНЕДИКТОВ
Нижний Новгород
183

Людмила КАЛИНИНА
Нижний Новгород
191

Александр ЦИРУЛЬНИКОВ
Нижний Новгород
222



Алик ЯКУБОВИЧ
Нижний Новгород
233

Светлана ЛЕОНТЬЕВА
Нижний Новгород
235

16+

В НОМЕРЕ

Проза

Андрей ИУДИН
СВЕТ ЗНОБЯЩИЙ 4

Поэзия

Игорь КУНИЦЫН
...ОСТАЛЬНОЕ СТИХИ, НО О НИХ НИ ПОЛСЛОВА 75
Борис ШИГИН
ДОРОГА – ВОТ ЧТО, ДРУГ МОЙ, ЕСТЬ.... 79
Ирина СОВЕТОВА
И ГОТОВА ПОВЕРИТЬ Я ЗАНОВО... 83
Юрий ПРОНИН
БРОДЯЖКА 86

Проза

Антон ХАЛЕЦКИЙ
ФЛОРИСТКА 89
Софья АЛЕКСАНДРОВА
МАМА УШЛА 101
ПОЭТША 105
«ВОСЬМЁРКА». 106
Александр ХОРТ
ИСТРЕБИТЕЛЬ КАМЕР 108
ГАДКАЯ ЛОДКА 113
НОС. ПРИКВЕЛ 115
Светлана ФИЛАТОВА
СНЕГ В АПРЕЛЕ 118
Георгий ПАНКРАТОВ
ТОТ САМЫЙ МОМЕНТ 126
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ЛИФТ 131
Дмитрий ЛАГУТИН
ДУРАКИ 137
Александр ЮДИН
ПАРАЗИТ 144
СЛОЖНОЕ ДЕЛО 148

Поэзия

Александр КОВАЛЕВ
ДЕЛАТЬ КАК ВСЕ?.. Я ХОТЕЛ, НО НЕ МОГ 152
Владимир РЕШЕТНИКОВ
Я БУДУ ЗДЕСЬ, ЕЩЁ ДОБРЕЙ И ЗЛЕЙ... 157
Наталья УВАРОВА
МИР СУЩЕСТВУЕТ ДЛЯ ТЕХ, КТО ИДЕТ ПО КРАЮ 161

Литпроцесс

Николай ФОРТУНАТОВ
РЕКУРСИЯ КАК ФИЗИКА МЫСЛИ ОЛЕГА РЯБОВА 165
София ИВАНОВА
СОВПАДЕНИЕ ИЛИ ПРОЗРЕНИЕ?
Загадки чеховских сюжетов 176

Навстречу 800-летию Нижнего Новгорода: эпохи, судьбы, факты

Николай БЕНЕДИКТОВ
«ПО ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ. . .»
(Нижегородская губерния в 1914 – начале 1918 гг.) 183
Людмила КАЛИНИНА
«ВСЕ МОИ ПРИЯТЕЛИ»
Страницы из жизни поэта Бориса Корнилова (1907–1938) 191

Юбилеи

Валерий ШАМШУРИН
...ЧТОБЫ ТЕМ СЛОВОМ ДУШУ СБЕРЕЧЬ. Стихи разных лет 202

Вехи памяти

Олег РЯБОВ
ГЛЕБ 210
Николай СИМОНОВ
ВЕСЁЛЫЙ СОЗДАТЕЛЬ КНИГИ МУДРОСТИ
250 лет со дня рождения великого баснописца Ивана Андреевича Крылова. . . . 213
Вильям ПЕРОВ
СВЯЗЬ ВРЕМЁН. ВИЛЬЯМ ШЕКСПИР И ИВАН КРЫЛОВ. Пародия 217
Александр ЦИРУЛЬНИКОВ
ПОЭТ В ДЕРЖАВЕ РУССКОГО СТИХА
К 80-летию со дня рождения Юрия Адрианова 222

Стихи по кругу

Пётр РОДИН 232
Алик ЯКУБОВИЧ 233
Светлана ЛЕОНТЬЕВА 235
Борис АНДРИАНОВ 237
Татьяна БОБЫШЕВА 239
Александр БОРОДИНОВ 239

Андрей ИУДИН

Родился в 1953 году в Горьком. Окончил Горьковский госуниверситет, работал инженером-программистом, вздымщиком на Урале, журналистом, редактором газет.

Автор романов «Инсайт» и «Морф», публиковался в журнале «Дружба народов», коллективных сборниках. Редактор альманаха «Земляки», шеф-редактор журнала «Нижний Новгород».

Член Союза писателей России. Живет в Нижнем Новгороде.

СВЕТ ЗНОБЯЩИЙ

Окончание. Начало в № 1, 2019

IV. Становье

На знакомство со становьем Рыжий потратил пять минут. Мог бы уложиться в минуту. Обошел поляну, вглядываясь в чащу, но не заметил ни признаков жилья, ни протоптанных вглубь тропинок; похоже, его лачужка была здесь единственной. В самом деле, зачем им жилье?

Постоял у кострища в центре поляны. Ни вбитых в землю рогулек, ни запаса хвороста вблизи. Глядя на слежавшуюся золу, куда кто-то намел лапник, оставшийся от его подстилки, Рыжий подумал, что и огонь здесь разводят нечасто. Зачем им огонь?

Поодаль в овражке пробивался родник, никак не оборудованный, лишь над прозрачной лужицей висел на кусте грубый березовый ковш, похожий на половник, сухой и в трещинах.

Рыжий зачерпнул, отпил, словно из неловкой шершавой ладони. Вода была нежной. Но всего лишь ласкала вкус, пить, собственно, не хотелось.

Кольнуло беспокойство: мало того, что он не чувствует голода, теперь и воды ему не надо. И эта необычная легкость в теле… Подумалось: этот мир искушает его, заманивает дарами, которых он не искал.

Рывком, с места, выпрыгнул из овражка и спохватился: лодыжка... Но болело несильно, словно не от резкого движения. Лодыжка вообще вела себя странно: боль то проходила без следа, и он забывал про нее, то вдруг возвращалась, вполне терпимая, впрочем, – словно напоминала о чем-то.

Вот и пусть болит, подумал Рыжий с неожиданной злостью. Хоть в чем-то не властен над ним этот мир, остался еще очажок сопротивления. Очажок боли.

Но боль уже прошла. Он прошелся, нарочно ступая потяжелее на правую ногу, притопнул – так, ныло чуть-чуть…

– Пинь-пинь-пинь! – засвистала синица, кажется, прямо над ухом.

Рыжий завертел головой и увидел приземистого мужичка лет сорока, лысого, с редкой бороденкой. Тот был в ветхой рабочей спецовке без верхних пуговиц, в прорехах хэбэшки проглядывала кожа. Блеклые серые глазки смотрели доброжелательно.

– Это ты свистел? – спросил Рыжий, недовольный, что оказался объектом наблюдения.

– Фьюить-фьюить, пинь! – изогнулись губы мужичка.

Где-то в лесу отозвалась синица, настоящая.

– Развлекаешься? А по-человечьи можешь?

– Могу.

– Так ты Синец? – сообразил вдруг Рыжий, смутился: – Так это… спасибо тебе. Что лечил, траву прикладывал... Здорово полегчало. Ты врач? В меде учился?

– Не, куда мне.

– Ну, все равно – травы знаешь…

– Чего их знать, растут себе и растут. Пошел да сорвал.

Скромничает, что ли, подумал Рыжий. Или дурачится? Глаза у Синца были с каким-то тусклым оловянным отливом, в них светилась наивность, граничащая со слабоумием.

– Ну, надо ж знать, какую…

– Какую рука возьмет, та и нужна.

– Наугад, что ли?

– Зачем наугад? Я же говорю, какую надо, ту и возьмет.

– Это талант у тебя такой? И всегда помогает?

– Когда надо помогает. Да здесь редко надо. Илию вот лечил, да вот вас с Лучезаром теперь. А больше тут и некого..

– Тут? А *там* – тоже помогало?

– Помогло как-то, а то не стоял бы тут перед тобой. Раз ночью на стройке арматурой башку пробили – там бы и помер.

– Что ты там делал-то ночью?

– Да думал кабель пошарить, инструмент, может, какой, еще чего полезного.

– И кто ж тебя?

– А кто их знает? Может, такие же добытчики. Может, за сторожа приняли, в темноте-то. Да какая разница, в первый раз, что ли. У нас на поселке так: сегодня – ты, завтра – тебя. Не мне – так я бы им башки расколотил. Тут уж кто первый. Зря, конечно, один пошел, да пьяный еще.

Синец смотрел по-прежнему бесхитростно, от оловянных бликов в его глазах пробирал холодок.

– Ну и как же ты? – спросил Рыжий, стараясь не глядеть на бугристый шрам на его голове.

– Да ничего. Утром наткнулись на меня уже у гаражей – полз, значит. Сперва думали, жмур, – башка в крови, не шевелится. И в руке пучок травы стиснут, видно, пока мог, рану им зажимал. В больнице потом сказали: паслен это, кровь останавливает. А так бы помер – без крови-то. Я и не знал ни про какой такой паслен. А вот нашла его рука – значит, так надо было. Не мог я там помереть.

– На пустыре этом?

– Ни на пустыре, ни в кочегарке, ни в квартире своей. Вообще *там*.

– Путь? – кивнул Рыжий. Он уже привык, что рано или поздно все разговоры сводятся к этому. – Ты уже… чувствовал? Искал его?

– Откуда? Нет, про него я только тут услыхал. А там один путь – в магазин. Из кочегарки (я в угольной котельной работал) – в магазин, из дому – в магазин. С Прачки – это пруд у нас на окраине, там вроде клуба, народ собирается в картишки сыграть, о жизни потрепаться, ну и выпить, конечно, – тоже в магазин. Было б на что. А мне с пробитой башкой инвалидность дали, можно не работать. Да еще повезло – в квартире по стене трещина пошла; я заявку на ремонт написал, да с нашего жэка какой ремонт! А зять, он вахтером в суде, порадовал: тебе, говорит, счастье привалило – не плати теперь за квартиру, и ничего они тебе не сделают. Только копию заявления зарегистрированную береги. Я и не платил. Жить можно было. Только скучно. Сын сидит, с женой разбежались давно. Только я да пудель приблудный. Умный был песик, да я его пристрелил... жалко.

– За что это?

– Да по пьянке учил его через палку прыгать, он и огрызнулся со страху, руку поцарапал. Кончил его из ружья – от отца еще осталось. Совсем скучно стало. Надумали с братом с бизнесом заняться, пошинковать. Взяли два ящика самогона, цинканули по округе. Две бутылки продали, остальное – сами, сколько смогли. Что не успели, участковый забрал: у меня, говорит, на участке таких шинкарей – вас еще не хватало...

Скучно. В кочегарку свою вернулся, у нас на поселке при гостинице; сутки через двое, все же занятие. Там опять собачонка прикормил – несерьезный, мелкий был, неловкий, как щенок, но забавный такой, шерсть кудлатая, дыбом, как у негра, я этих пород не знаю. Так-то их шугали, вон их сколько мотается, всех не накормишь. И Щена я домой не брал, еще пристрелишь опять, ну его. Он меня у котельной встречал и сутки со мной дежурил. Раз на смене топку почистил, уголь закинул, выпил, задремал. Просыпаюсь – крик, лай!.. Замдиректора – здоровая тетка, Антоновна по отчеству, Тонной и звали, – явилась проверять. Вот надсаживается: мол, дрыхнешь тут, залил зенки, а в кранах вечно вода холодная, в ресторане на кухне посуду нечем мыть, каждый день тут пьянка у вас. На столике полселедки лежало на газетке и в бутылке еще оставалось – все на пол посшибала, ножищами расшвыряла, орет, Щен лает. Я смотрю на нее, улыбаюсь. Я когда злюсь, всегда улыбаюсь почему-то. – Еще лыбишься! Тонна совсем остервенела, – уволю к хренам, башка дырявая! – А хрен с тобой, увольняй, говорю, вот напугала. Только за бутылку сперва заплатишь. Она глаза выпучила, морда красная, как помидорина, – вот-вот лопнет. Тут еще Щен подтявкнул, вокруг нее семенит, скалится. – И ты туда же, пакость мелкая, развели антисанитарию! И хвать его за шкирку. Убью! сожгу тварюгу лишайную! Щен визжит, она к топке и дверцу открывать. Я ей в кудряшки вцепился, уже не соображаю от злости, мне бы ее от котла оттащить, а я зачем-то вниз гну. Она об ручку обожглась, заверещала, но дверца уже открылась. Из топки полыхнуло, кудряшки вспыхнули, мне руку прижгло, а ей – прямо в лицо. Рванулась, столик свалила да об тачку – стояла там железная, под уголь, – она через нее. Поднялась – и об стену, об трубу с манометром, да об другую стену. Воет, ломится сослепу – смотреть-то нечем.

– Как? – поразился Рыжий. – Совсем глаза выжгло?

– Не знаю, может, только веки прижарило, может, и совсем.

Синец вздохнул, словно смущаясь таких подробностей.

– Не разглядел в смысле?

– Разглядеть-то разглядел. Только не помню.

Опять этот бесхитростный взгляд с пугающим оловянным отливом.

– Стресс, наверно, – подсказал Рыжий, чтобы нарушить молчание. – Тяжело вспоминать, мозг и защищается…

– При чем тут мозг? Ни к чему, вот и не помню.

– Ты сам решаешь, что надо помнить, а что забыть?

– Ничего я не решаю, само так.

– Но ведь что-то же помнишь, мне вот рассказал…

– Что вспомнил, то и рассказал. А чего не помню – значит, не надо. Зачем все-то помнить? И так знаю, что тот мир – дерьмо сплошное.

– Что, весь мир так прямо и дерьмо? – Лучше бы не спорить, запоздало подумал Рыжий, у этого – точно с что-то головой. Но задели слова о том мире, где стонали, болели оторванные корешки. – Ведь и ты оттуда.

– Оттуда, – кивнул Синец. – Только тут из дерьма и вынырнул, едва отмылся, чего ж опять в нем ковыряться, вспоминать? Я бы все забыл, напрочь, да, видно, нельзя.

– Но ведь было же там что-то хорошее? Близкий кто-то?

– Пес разве, так пристрелил я его.

– А как сюда-то попал, помнишь?

– Ушел оттуда.

– Прямо из кочегарки? Страшно стало, сбежать хотел?

– От тюрьмы-то? Чего ее бояться – ну посидел бы. Радости мало, конечно, так не первый, не последний. Бегать уж больно хлопотно, проще отсидеть. Да я об этом не думал, не до того. Тошно мне вдруг стало, так тошно – мочи нет. Тонна уже снаружи где-то воет, а я за трубу схватился, мотает, крючит меня, блюю – а не блюется, только вонь изнутри прет, будто перебродившую парашу проглотил. Давлюсь, давлюсь – все без толку, а остановиться не могу. И уже кажется, все вокруг вонь и дерьмо, и я в этой жизни, как в сортире, тону, так ее наглотался, что и от себя тошно. Себя-то не выблюешь. Оторвался кое-как от трубы и пошел.

– И скорую не вызвал?

– Я же говорю, тошно было. Иду, давлюсь на ходу, то на забор натыкаюсь, то на кусты какие-то. В глазах темень – или ночь уже? Где бреду, не соображаю, вроде лесок… за деревьями вода отблеснула, – пруд, что ли, обошел? В брюхе бурлит, возится, будто клубок змеиный, то и дело выворачивает меня, а вывернуть не может. Другой раз так скрючит – с ног валишься; и остановиться нельзя, на карачках ползешь, пока не встанешь; пока идешь, полегче вроде. Под конец всякое понятие потерял – ползу ли, иду… не остановиться б только.

– Сколько ж ты шел?

– Кто его знает. Вроде все ночь была... Пока не очнулся.

– Здесь, в становье?

– Неподалеку. Вдруг светло стало, или глаза открыл… Гляжу, день уже вовсю, сверху солнышко с листвой играет, и вокруг березки – сияние сплошное. Я стою, за березку держусь, и дрожь в руках утихает… вот совсем прошла. И не тошнит. И вонь изнутри не прет, хотя в ноздрях еще застряло малость, ни вкуса поганого во рту – только слюна,

сладкая, как березовый сок. Смотрю, место вроде знакомое, а вспомнить не могу. Тут синица как зазвенит – весело, радостно, будто здоровается. Я головой кручу, никак не угляжу – в глазах от солнышка рябит, листва плещется. И хорошо мне от солнышка, от ветерка, от голоса птичьего. А подпою, что ли. Когда я последний-то раз по-синичьи свистел – мальчишкой еще. А как получится. Свищу, она отвечает. Я опять – а она тут как тут, рядом уже. Заругалась, застрекотала, что обманули ее, упорхнула.

А я место узнал, синица подсказала. Как же – я же мальчишкой сюда ходил птиц ловить. Точно – вон та береза раздвоенная; я в развилку западок ставил, сам вон за теми кустами хоронился. Только когда это было. Рощу давно спилили на дрова, там теперь поселок для ВИПов – забор, охрана на въезде. Нету уже той рощи. *Там* нету. А *тут* есть. Тогда и дошло: значит, и меня *там* больше нет. Убыл.

– Может, просто похожее место оказалось?

– Да не в месте дело, во мне. Главное, что я ощутил – нет меня прошлого, другой я *тут*. Будто и не глотал всю жизнь, не давился дерьмом. И так мне славно, так легко, что не верится: куда ж оно делось-то? Глаза опустил: а вон же, то-то запашок чудился, вон оно, в траве, под ногами, – выблевал все же...

– Что выблевал? – внутренне содрогаясь, промямлил Рыжий. – Ведь не дерьмо же… не буквально?..

– А не помню. Не залюбуешься, надо быть... Дерну надрал, веток накидал, чтоб не видеть. Земля управит. Так вот и пришел… – Синец прервался и стал оглядываться по сторонам, будто пытаясь вспомнить, зачем здесь оказался.

– А дальше что? Людей пошел искать?

– Зачем мне люди? Жить пошел. – Он двинулся в сторону, приглядываясь под ноги, будто что-то обронил в траве. – А люди… – продолжал бормотать, – что – люди?.. Птички вот – люблю с ними… посвистеть можно... покормить… А и люди – ничего, пусть... Нужны ж зачем-то… все нужны…

– И рейдеры тоже нужны? – зацепился Рыжий.

– Все нужны, раз уж есть… Мы – им, они – нам.

– Мы им – понятно. Они-то нам зачем?

– Для бодрости, может. Вот ты же взбодрился.

– Это там, на вырубе? Шутка такая? – надулся Рыжий. – А вы тут – трупы на опоры вешаете – тоже для бодрости? Или птичек покормить? А погоди-ка… – закралась догадка. – Так это ты придумал – про опоры?

– А я не думаю. Я слушаю только.

Рыжий вдруг физически ощутил на себе бесхитростный оловянный взгляд, хотя Синец на него не смотрел.

– Что слушаешь?

– Всё. Тебя вот.

Синец присел, пошарил рукой в траве. Прислушался и аккуратно, с корешками, вытянул какой-то стебелек. Поодаль – другой. Постепенно набрался пучок из разных травок; названий Рыжий не знал.

– Лечебный сбор? – спросил он. – От чего помогает?

Синец с некоторым недоумением осмотрел свою добычу.

– От чего?.. Видно будет.

– Как это? Универсальный, что ли… широкого спектра?

Синец не ответил, опять оглядывался по сторонам, будто искал подсказки.

– Ага… – Двинулся вдоль ложбинки, Рыжий последовал за ним.

Под матерой, свесившей космы до самой земли березой маячил в бурьяне длинный белесый валун, похожий на выпирающую из воды тюленью спину. Верхняя часть валуна была гладкой и почти светилась на солнце. Синец положил свои травки на камень, разворошил.

Он выглядел довольным собой, и Рыжий спросил:

– Впрок заготовляешь? А вдруг дождик пойдет? Или ветром раздует?

– Дождик так дождик – значит, на пользу ей. А ветер – не, не раздует. Не зря же я ее брал – сама позвала. Дождется.

– Чего дождется?

– Пока понадобится.

«Дождется», «понадобится»… Рыжий ощутил смутное беспокойство.

– А ты уже знаешь – когда понадобится? Что случится, с кем?

– Да зачем мне знать? Что надо – само случится. Мое дело слушать.

– Что слушать?

– Да все. Вот травка позвала – собрал. Камень на солнышке мигнул – я ее на камень. Чего мне еще знать-то? Все – оно и есть все, само все знает. Что нужно, скажет – только слушай да делай.

– А если не услышишь?

– Так я тоже это всё, – удивился Синец. – Как же мне не слышать?

Он широко развел руки, словно предъявляя Рыжему весь окружающий мир в качестве доказательства:

– Я во всем, всё – во мне.

– Что-то больно просто, – проворчал Рыжий. – Только слушай это твое *всё* да живи по подсказке, и думать не надо.

– Как же без подсказки? Вот ты все думаешь, мозгуешь что-то – у своей головы, у себя самого подсказки спрашиваешь. Выходит – ты для себя *всё*. Только узенькое твое *всё*, махонькое больно, оттого и подсказки его глупенькие. И жить по ним нерадостно – что ни шаг, то в сторону, а то и вовсе боком выходит. Да нет у тебя других-то подсказчиков… Выпал ты из *всего*, вот и не слышишь. А возвращаться боязно.

– Ишь как выстроил, – нахохлился Рыжий, – боязно, не боязно… Только не выпадал я ниоткуда. Не было такого.

– Все выпадали.

– Не помню, – уперся Рыжий. – Если только в прошлой жизни… – съязвил со смешком. Но смешок прозвучал растерянно, повис на губах: вспомнился гул и ветер, и полет во тьме, и то ощущение, что это уже было когда-то, еще до него… до его жизни?

Он смешался и умолк. Будто наткнулся на что-то холодное и отдернул руку.

Синец смотрел своим терпеливым, бесхитростным взглядом, ожидая вопросов. Но Рыжий уже тяготился разговором, соображал, как поделикатнее расстаться.

Синец зевнул, потянулся:

– Подремать, что ли…

Он улегся в бурьян, поерзал спиной по-собачьи, уминая стебли, и вытянулся вдоль валуна, привалившись к каменному боку.

– Вредно же на земле, – не утерпел Рыжий. – Застудиться можно.

– Чего это? Место доброе, крепкое... люблю тут. Ложись-ка за компанию.

– Спасибо, не хочется. Прогуляюсь лучше, ногу вот поразминаю…

– Ну, ну. Только не пройдет нога.

– Почему? Полегчало же – вот, хожу.

– Полегчать-то полегчало, а совсем не пройдет. Эта хворь не здешняя, здесь не лечится. Так и будет точить.

– Как понять «не здешняя»?

– Так и понять. Откуда ты взялся, оттуда и хворь.

– Из того мира, что ли? Да нет, это я из электрички прыгнул – связку и потянул. Здесь уже.

– Так прыгнул, значит.

– Хочешь сказать, я в момент прыжка связку потянул? Когда еще там был? – Рыжий подумал. – Ну, может, и так – оттолкнулся неудачно… Да какая разница? Сам-то я тут, и хворь моя тоже.

– Ты и сейчас еще там. Одной ногой прыгнул, а другой там увяз. – Синец сладко прижмурился, предвкушая приятные сны,

– Да вот же нога-то, вот она! – Рыжий притопнул, злясь уже и на Синца с его головоломками, и на себя со своими вопросами. Лодыжка откликнулась, у него перехватило дыхание.

– А сам-то ты где?.. – невнятно пробормотал Синец, засыпая. – Решать как-то…

Рыжий шатнулся к валуну, привалился задом, пережидая боль.

Синец спал.

Боль в лодыжке утихла, но Рыжий оставался сидеть. Камень был теплым и дарил ощущение надежности.

Но дело было не в ноге и не камне. Дело было в словах, слетевших с сонных губ Синца.

Синец спал на спине, ветерок колыхал над ним березовые пряди. Солнечные пятна бродили по его лицу, и в закрытых глазах по-прежнему мерещились оловянные блики, словно от подложенной под веки фольги.

Полоумный целитель, не знающий названий трав.

Социопат с пробитой башкой.

Юродивый, слышащий *всё*.

Интересно, подумал Рыжий, он и во сне слышит это свое *всё*? И меня тоже?

И тебя, конечно, ответил бы Синец. Или ответил?

Чушь, оборвал себя Рыжий, это ты сам себя накручиваешь, додумываешь за него. Не может он слышать мои мысли.

Могу, ответил бы Синец. Ты для меня такое же *всё*. А я для тебя нет. И ты меня не слышишь.

А вот ты и попался, уличил Рыжий. Раз не слышу, то и диалога быть не может. Я сам его выдумал. И не лезь, и без тебя в мыслях путаница.

И вообще, пора вставать, сказал себе Рыжий, чего он тут ждет.

Но оставался сидеть.

Временами чудились какие-то шорохи в лесу, невнятные звуки – то ли голоса незнакомых ему птиц, то ли искаженная расстоянием и дыханием чащи человеческая речь. Возможно, неподалеку бродят другие обитатели становья… Рыжий не был уверен, что хочет встречаться с ними сейчас. Каждое новое знакомство приносило больше вопросов, чем ответов.

Что надо – само случится – так сказал Синец? Ну-ну…

Продолжал вслушиваться.

За трепетом листвы, совсем рядом, почудилось какое-то движение… приближение?

Он затаил дыхание. Вспомнилась мучительная гримаса Лучезара, когда тот слушал…

рейдеры

Рыжий мгновенно вспотел. Вскочил с камня, закрутил головой – бежать, затаиться?..

– Что вы, что вы, сидите, не затрудняйтесь! – приковал его к месту журчащий голосок. – Излишняя галантность в наших обстоятельствах.

Женщина стояла в тени, на опушке, и, щурясь от солнца, Рыжий не сразу разглядел ее силуэт, постепенно проступавший на фоне леса. На ней был просвечивающий балахончик, едва достающий до бедер, под которым угадывалась какая-то тряпичная мелочь. Рыжий сообразил, что это купальное платье.

– Не хотела вас беспокоить, но… – задумчиво улыбаясь, она двинулась в его сторону, утопая в траве обтрепанными пляжными босоножками.

– Никакого беспокойства… Напротив… – пробормотал Рыжий. К нему и в прошлом мире нечасто обращались на «вы». – Гуляете?

– Гуляю? – кажется, ее удивило это слово.

Теперь он видел, что женщина не так молода, как показалось поначалу, и ее улыбка адресована не ему. Да и не улыбка это была, а застывшее отражение какого-то внутреннего усилия. И шла она вовсе не к нему, а мимо, по каким-то своим делам.

– В смысле… далеко собрались?

– К воде. – Она задержалась, принимая разговор. – Я каждый день иду к воде.

Ее взгляд временами прорывался сквозь пелену светской доброжелательности – застывшей душевной судорогой, зажатой в кулак тоской.

– На пляж? – Рыжий старался не пялиться на ее одеяние.

– Пляжи мне ни к чему. Мне нужна глубина.

– Тут где-то близко река, озеро?

– Есть река, но она не годится.

– Мелковата? – кивнул Рыжий.

– Нет, вполне глубокая, с омутами. Но по ней я уже плыла – прежде чем оказаться здесь.

– Так вы просто переплыли реку и…

Он не договорил, но она поняла его.

– Вам это вряд ли подойдет. И я не входила реку, я из нее вышла. А входила я в озеро.

– Озеро?

– Светлояр, слышали, наверное?

– Это где град Китеж затонул? Там еще на Ивана Купалу через костер прыгают, голыми купаются… – Рыжий смешался под ее взглядом, – …и всякое такое.

– Бесов тешат? – Женщина улыбнулась улыбкой старшей сестры.

– Ну, это язычники типа... А верующие вокруг озера на коленках ползают и грехи в нем смывают. Там еще колокола звонят под водой – ну, смысле… некоторые слышат.

– Я слышала. Правда, не столько колокола…

– А что же?

– Сначала в ушах позванивало – как бывает под водой, на глубине. Пожалуй, можно принять и за колокола… Но потом – чем глубже, тем яснее – нет, не колокола. Это вообще не звук – в буквальном смысле. Ты его слышишь, но не ушами. Он звучит только в тебе – и еще в том

месте, где возник. Он как бы разорван надвое, вроде обрывков струны, которые тянутся друг к другу. И ты – один обрывок – стремишься навстречу другому – дальше, вглубь, глубже самого дна…

– Глубже дна? – эхом повторил Рыжий.

– В том-то все и дело... Надо уйти как можно глубже, пока еще удается удержать в легких перегоревший воздух и не вдохнуть воду, пока руки и ноги подчиняются командам мозга. Пока тело не взбунтовалось, не рванулось назад, на поверхность – дышать, жить…

– Так вы хотели… утонуть?

– Утопиться? Нет, такой целью я не задавалась, хотя... – женщина пожала плечами. – Я шла на зов.

– Пути?

– Нет, человека. А вам уже заморочили голову? – улыбнулась она своей мучительной улыбкой. – Впрочем, не подумайте, не имею ничего против этих… воззрений. Но, боюсь, для меня они слишком сложны. Путь, бремя выбора, ответственность за каждый свой шаг… Должно быть, я по-женски легкомысленна и эмоциональна и чрезмерно полагаюсь на свой внутренний компас. Но он указывает мне цель – я иду к ней, и мне этого довольно.

– Так вас позвал человек? Со дна озера?

– Хотите спросить – жив ли он? Я видела тело при опознании.

– Простите...

– Ничего. Хотя в тот момент действительно... Эта сморщенная, готовая отслоиться кожа… Не знаю, как я смогла... Но теперь-то я знаю, что это случилось *там*. Слава богу, тот мир не единственный.

– Тот человек утонул? На Светлояре?

– На Светлоярском озере не тонут, во всяком случае, так говорят. Нет, он утонул в океане на подводной охоте. Это случилось далеко, на островах, ранним утром, когда я еще спала в отеле. Что-то с редуктором – скачок давления, баротравма легких. Он стал задыхаться, сбрасывать баллоны, но грузы не дали ему всплыть.

– И теперь он зовет вас? Но почему – Светлояр?

– Не знаю, может быть, потому что оно святое. Впрочем, он не сразу позвал меня туда. Нет, даже не так – я не сразу поняла, откуда зов. Поначалу он был смутным, неопределенным… И это было связано с водой.

Я лежала в ванне, одна в пустой квартире, одна в мире. Я и хотела быть одна. Нет, я не пряталась от людей, выходила по необходимости, просто теперь никто мне не был нужен. И вдруг попробовала не дышать. Погрузилась с головой в воду и терпела, сколько смогла. Наверное, не слишком долго, я никогда не увлекалась нырянием. Не дышать казалось уже невозможно, но я уперлась в стенки ванны и твердила себе: еще секунду, еще полсекунды… Не знаю, зачем я это делала – возможно, хотела испытать то, что испытал он. Допустим, что так… Терпела, терпела… Тело рванулось из воды, и, уже вцепившись в бортик ванны, хрипя и откашливаясь, я поняла, что в последний момент меня коснулось какое-то необычное ощущение... и ускользнуло. Я не успела пережить его до конца – словно что-то упустила, что-то важное. Как если бы вправду нырнула на глубину, и на дне отблеснуло, какая-то драгоценность… и не успела схватить, не хватило дыхания.

Отдышавшись, я повторила попытку. Она получилась еще более мучительной: на этот раз дыхание кончилось раньше, легкие пылали

и рвались из грудной клетки, тело сотрясали судороги, перед глазами разлилась чернота. Я поняла, что близка к обмороку и сейчас утону в своей ванне. Я пережила настоящий ужас – никогда такого не испытывала. Это был животный, телесный ужас, но именно сквозь него и пробилось это ощущение. Оно было как укол света, пролившегося через щель в темном занавесе, – острый, слепящий. Я поняла, что перетерпи я еще чуть-чуть – и смогу не дышать. Это будет легко и совсем не страшно. Как легко и не страшно ему. Надо только перебороть тело, его дремучий инстинкт, толкающий меня из воды наверх, к воздуху. А мне надо наоборот – вниз, в глубину, как можно глубже. Из последних сил, борясь с судорогами, с растворяющей меня чернотой, я попыталась – и уперлась в дно ванны…

На этот раз я все же хлебнула воды. Но, свесившись через бортик, давясь кашлем и рвотой, я осознала, что я уже не та. Да, я все еще одна – но это не окончательно. Мне есть к кому идти, надо лишь найти дорогу – туда, в глубину.

Разумеется, искать я начала оттуда, где я его потеряла. В моем новом положении я оказалась крайне ограничена в финансах, поездка на острова вовсе их подорвала. И не оправдала ожиданий: там я ничего не услышала. Дальнейшие поиски пришлось ограничить местностью проживания; слава богу, наступило лето, и мало ли в наших краях рек и озер. Не стану утомлять вас перечислением водоемов и описанием погружений. Скажу лишь, что они также не принесли результата. То ощущение не повторялось, я ни разу не услышала зова и не испытала ничего, кроме ужаса. Он был непреодолим и как пробку выталкивал меня на поверхность. Не скажу, что это воодушевляло, накатывали приступы сомнений, я спасалась от них в ванне, повторяя свой первый опыт с задержкой дыхания. Там ощущение приходило безотказно, и с каждым разом становилось все острее, доводя меня до исступления, я билась о дно ванны до синяков… хотя что там могло быть, кроме сливных труб? Я жила с навязчивой мыслью, что теряю время, делаю что-то не то, не так… или схожу с ума.

Про Светлояр я подумала, услышав случайно из новостей о предстоящей ночи на Ивана Купалу. Меня как током ударило: древнее празднество – можно ли выбрать момент символичнее для попытки соединиться с любимым? И место… Странно, что я не подумала об этом озере раньше, – возможно, потому что предпочитала для своих погружений безлюдные места, а может, потому что его еще называют Святым, а мои устремления… Не то чтобы я искала смерти, но она ведь и не исключалась и со стороны могла выглядеть самоубийством. Я не слишком религиозна, но какие-то запреты закладываются в нас еще до рождения, на уровне инстинкта, их не так просто перешагнуть.

И теперь я попробовала молиться, объяснить Господу, что я не бегу от жизни, от его дара, – я лишь хочу разделить его с человеком, без которого этот дар мне не нужен… и ощутила себя жалкой пенсионеркой, заискивающей перед торговкой на базаре. Мне стало противно своей фальши, своего лукавства. Господи, прости, повторяла я раз за разом, мне ничего не надо – просто прости… Мне действительно впервые было так стыдно.

Я приехала на Светлояр к полуночи. Стоянка была забита машинами, я оставила свою на обочине и пошла к озеру. Я нарочно надела длинный сарафан, чтобы не выделяться, под него – купальное платье – да, вот это самое. Мне казалось, что если что-то такое случится – ну,

вы понимаете… Плавать в сарафане неудобно, а мне все же хотелось бы, чтобы на моем теле, если все же его найдут, оказалось чуть больше материи, чем просто купальник.

Было почти совсем темно, в воздухе плыл тихий колокольный перезвон. Он отозвался у меня в сердце; я вдруг поверила, что приехала не зря. Крестный ход уже начался, и небольшое, полукилометровое озеро опоясывал медленно струящийся ручеек огоньков; я встроилась в общее шествие. Почти все шли с зажженными свечами в руках, многие женщины и девушки были в венках из полевых цветов. Я не озаботилась заранее ни тем ни другим и, наверное, выделялась среди остальных, но никто не проявил ко мне заметного интереса. Шествие совершалось в молчании. Время от времени несколько человек сходили с мощенной досками дорожки, огибающей озеро, к берегу, и девушки пускали по воде венки с горящими свечами. Выбрав момент, я тоже отделилась от безмолвной процессии и, пробравшись сквозь прибрежные кусты, вышла к озеру. Сняла сарафан, выждала, пока череда огней за кустами станет пореже, тихо вошла в воду. Босоножки я сбросила уже в воде, чтобы не наступить на что-нибудь неприятное, и поплыла, стремясь удалиться как можно дальше от берега.

Я выплыла на середину и остановилась. Над озером по-прежнему звучал колокольный перезвон. Надо мной висели звезды. Вокруг по берегам текла вереница дрожащих огоньков, от нее отделялись все новые светящиеся точки венков и скользили по черной воде россыпью негаснущих искр. В этом мгновении чудилось нечто прощальное. Свет и тьма вели свою предвечную игру, смысл которой не разглядеть с земли. Но я, висящая между небом и бездной, была уже не на земле.

Я подумала, что могла бы сейчас помолиться. Просто так, искренне, в благодарность за эти нежданно подаренные мне минуты хрупкой гармонии, за свое смирение и решимость. Да, решимость. И не стала ждать. Я набрала воздуха и нырнула.

Тьма сомкнулась надо мной, но я была готова к этому и сразу пошла вниз, на глубину. И услышала тот звук, тот самый, похожий на колокола… но я знала, что это не колокола, те звонили там, наверху, но здесь звучали не они. Это был зов. Меня обдало холодом. Я знала, что озеро подпитывается донными ключами, и все же перепад температуры был слишком резким. Чем глубже я уходила, тем враждебнее становился этот холод. Мелькнула обрывочная мысль о чанах с кипящей и ледяной водой из какой-то сказки, дарящих молодость… очевидно, по ассоциации с тем сказочным действом, еще длящимся на оставленной мною земле. Но холод убивал меня, сдавил череп стальным обручем, обгладывал руки и ноги, лишая их чувствительности, сердце готово было взорваться от напряжения. Мысли утратили связность, вся воля уходили на то, чтобы с каждым гребком опуститься как можно глубже в этот в холод и мрак. Я слышала зов, и только он имел значение. Но где-то на краю сознания пробивался страх, что у меня опять не получится, – ведь там, на поверхности, я хотела, могла помолиться и не сделала этого. И сейчас погибну из-за своей поспешности и гордыни, погибну, так и не соединив обрывки струны, не придя на зов. Я стала молиться. Под водой – можете себе представить? С готовыми лопнуть легкими, зная, что через секунду вдохну и захлебнусь… Но я молилась – без слов, всем своим существом, и при этом зарывалась все глубже в ледяную бездну. В какой-то момент показалось, что я вморожена в лед и мои онемевшие конечности скребут по нему, пытаясь раздвинуть…

или это были судороги. Все ощущения померкли, я исчезла, единственное, что от меня осталось, – это молитва. Но она была уже не моя, я слышала ее как бы со стороны. И одновременно – ответ, отклик на нее. И зов – он тоже был. Всё слилось воедино, в один голос… Мы все... понимаете?

– Все… – эхом повторил Рыжий. Они помолчали, и он осторожно спросил: – Так кому вы молились? Богу или…

– …Или человеку? – опять эта улыбка-усилие. – Не знаю. Я правда не знаю. Может, потому и попала сюда… Но это ведь не конец, верно?

Женщина запрокинула лицо к солнцу и зажмурилась, будто вслушиваясь. Ее тело просвечивало сквозь невесомую ткань, кулачки сжались.

– А что было потом?

Она вернулась к нему взглядом, покрасневшими глазами.

– А потом был свет – он упал сверху, и я вынырнула прямо на солнце. И вышла на берег реки. И увидела свои босоножки – да, вот эти самые. Они плавучие, и их прибило течением к зарослям осоки. Поискала вокруг сарафан, но его не было. Вода сохранила лишь то, в чем приняла меня, а сарафан я сняла на берегу, там он и остался. Я как-то сразу поняла это – про *здесь* и *там*. *Там* – меня больше нет. И его тоже нет. Так, может, *здесь* – то самое место, где мы есть оба? Я очень надеялась на это. Но ошиблась. Я поняла это, когда набрела на становье и пожила тут.

– Почему вы так решили?

– Здесь все как-то не окончательно – вы не чувствуете? Все, как бы это сказать… ушли, но не пришли. Вроде бы куда-то стремятся, возможно даже, духовно растут – по крайней мере надеются… а на самом деле перебирают ногами на месте. И ждут. Как на промежуточной станции – придет нужный поезд и заберет.

– Куда? На следующую станцию? А потом – на следующую?

– Не знаю. Наверное, уйти – еще не означает, что непременно куда-то придешь. Или что тебе там понравится... Но мне не важно – куда, мне нужно – к нему.

– Но почему вы уверены, здесь его нет? Становье – не весь этот мир.

– Я по-прежнему слышу зов. Значит, я нырнула недостаточно глубоко, и мне предстоит еще одна попытка. – Женщина пожала плечами. – Или не одна.

– Этот зов опять связан с водой?

– Пойдемте, я вам покажу.

Они пересекли поляну и спустились в овражек к роднику.

– Это здесь, – сказала она. – Боюсь показаться вам странной – хотя вряд ли это слово имеет смысл в нашей ситуации… Но я слышу.

– Отсюда? – поразился Рыжий. – Но тут…

– Мелковато, хотите сказать? Да, но это пока. Ложе родника растет. Еще месяц назад здесь было глубины на пол-ладони, а сейчас – видите? – Женщина наклонилась и погрузила кисть в прозрачную лужицу.

Поверхность воды поколебалась, и в ней отразилось ее лицо. Будто сотканное заново из дробящихся бликов, оно показалось Рыжему внезапно молодым и прекрасным, слишком прекрасным для земной женщины. И непостижимо, пугающе далеким.

– Его хотели облагородить, сделать желоб, выложить дно камешками… Но я попросила оставить все как есть. Не мешать ему расти. А мне – ждать. Что еще остается?

Рыжий молчал, смотрел, не в силах сморгнуть щемящий морок.

Бесплодна и горька наука дальних странствий,
Сегодня, как вчера, до гробовой доски…

– произнесла женщина, не поднимая головы. – Помните эти строки?

…Все наше же лицо встречает нас в пространстве:
оазис ужаса в песчаности тоски…

Скажите, в моем лице есть что-то похожее на ужас? – Она подняла на него глаза, и Рыжий оторвал взгляд от воды.

– Что вы! – смутился. – Напротив!..

И подумал: видит ли она свое отражение таким же, как видел он?

– Вот и я не чувствую никакого ужаса. Возможно, я просто еще не дошла до него – настоящего. Либо – порой приходят такие мысли… – она пожала плечами

– Какие мысли?

– *До гробовой доски,* понимаете? Может, в этом все дело? – до, а не после… Что если ужас уже позади?

– Хотите сказать, что вы…

– Уже умерла? Может быть... Не знаю наверняка, но почему нет?

– Потому что вы тут, передо мной, живая!

– Да, как будто так. Но вдруг это не та, *не моя* жизнь? А моя настоящая, истинная жизнь осталась там? Что если я ошиблась, погналась за несбыточным, перешагнула – и вот ужас уже миновал, и остается одна тоска, понимаете? – сухая, зыбучая, как песок… Тут и ужас покажется оазисом – да только он уже позади, все позади… Я твержу себе, что подобные мысли – слабость, но они приходят. В такие минуты кажется: лучше бы остаться мертвой там, чем быть неживой здесь…

Она замолчала, ее губы стыли в мучительной полуулыбке.

– Вы очень его… любите? – беспомощно спросил Рыжий.

Она не ответила, словно ждала других слов. Словно он мог подсказать, мог знать.

– Вот ваш оазис, – он перевел взгляд на родник, и тот глянул в ответ темным слезным зрачком, в котором тонули солнечные лучи. – Он растет. Надо просто ждать.

– Ждать, – кивнула она.

– Вы еще нырнете. Глубже дна.

– Ждать... – повторила женщина. – А вы – тоже ждете?

– Я? – Вопрос застал его врасплох. – Да, наверное... Знать бы только, чего! – выпалил с внезапной горечью. – Все тут чего-то слышат – путь, зов. Один я ничего не слышу! Мне-то чего ждать? Поезда до следующей станции? Не хочу я на следующую – я назад хочу! Как мне туда попасть, кто мне скажет?

– Но почему вы не допускаете, что поезда могут ходить и в обратном направлении? Возможно, вы еще вернетесь на предыдущую.

– Когда, как?

– Этого я знать не могу. В конце концов, поезд – это поступок, действие. Ваше действие, Елисей.

Действие. Они все меня словно подталкивают на что-то, подумал Рыжий, – Илия, Синец, теперь вот эта… ныряльщица.

– Как вас зовут, простите?

– Инна. Занятно, да? Тут в моде «говорящие» имена, многие нарочно выбирают что-нибудь этакое пафосное, а мне и выбирать не надо – куда

уж ближе к воде. Никогда этому значения не придавала, а тут поневоле задумаешься… ничего себе совпадение, да? И не знаешь, пугаться или радоваться. Может, и правда – путь?

Она присела у родника и стала выбирать листья и стебли со дна.

Разговор угас. Рыжий постоял в нерешительности и побрел через поляну назад.

Синца на месте не увидел: словно и не было его, и трава под валуном не примята.

Перед будкой его ждали трое, обернулись разом. Двое были в потрепанных костюмах, один из них пожилой, рослый с интеллигентной значительностью в лице, второй – помоложе, мелкий и сутулый, с цепкими глазками, застывшими в недоверчивом прищуре. Третий – лет сорока, в глухом комбинезоне, как у сантехников в рекламных роликах, только линялом и обшарпанном, кудлатые волосы припорошены древесной трухой.

Незнакомцы молчали, присматриваясь. Вход в лачужку был загорожен, Рыжий остановился – не заползать же между их ногами.

– Вы ко мне? – спросил, закипая.

– К тебе, Лис, – словно очнулся тот, что в комбинезоне.

– Тут такое дело…– он потянулся рукой к шее Рыжего, тот откачнулся. – Можешь показать?

– Чего еще? – Рыжий еще отодвинулся, невольно оглаживая воротник.

– Во-во, то самое. Ты не думай, мы не это… Ты верующий?

– Стоп, – вскинул руку рослый. – Коллега торопится. Предлагаю по порядку. Кстати, какое обращение предпочитаете? Елисей? Или подобрали уже что-то новенькое – в свете здешних веяний?

– Ничего я не подбирал, – буркнул Рыжий.

– Что ж, разумно. Насколько могу судить, свое значение – «богом спасаемый» – ваше имя оправдало неоднократно. Вряд ли стоит пренебрегать таким покровительством.

– А вы кто?

– Это Игнатий, – рослый кивнул на своего спутника в комбинезоне. – Сразу поясню: имя здешнее, по одной из версий означает «нерожденный». Довольно точно отвечает обстоятельствам… или его пониманию обстоятельств.

– Нерожденный – это в каком смысле?

– В метафорическом, – сказал второй, мелкий, молчавший до сих пор. Похоже, он щурился просто от близорукости. – Все мы тут метафоры.

– То есть – ненастоящие, что ли? – не понял Рыжий.

Мелкий лишь пожал плечами.

– Разумеется, – ответил за него рослый.

– Откуда вы знаете?

– Ниоткуда. Я здесь вообще ничего не знаю. Не ведаю. Позвольте представиться – Невем. – Рослый наклонил голову. Несмотря на затертый пиджак и брюки, забывшие о стрелках, он выглядел и говорил внушительно. – А это – Нем. Поэт.

– Нем – значит немой?

– В метафорическом смысле.

– Нем, Невем… Вы что, сговорились, что ли? Для смеха?

– Номинализация скорее – наиболее актуальных функций. Он – поэт, который теперь не поэт, онемел. Я – узнал, что ничего не знаю.

– Профессор он, – махнул рукой Игнатий. – Философию преподавал, чего только не знает… вот имя мне подсказал.

– А ты почему – «нерожденный»?

– Потому что не хочу. Родишься *здесь* – все равно что умер *там*. Я может, еще, выживу, выроюсь…

– Чтобы выжить, – Невем воздел указательный палец, – выживальщику желательно не родиться. Чем не метафора?

– Так ты выживальщик? – заинтересовался Рыжий. – Откуда же ты хочешь вырыться? Что случилось-то?

– Завалило меня, под землей, – сказал Игнатий. – Когда ход рыл. Из погреба.

– Куда ход?

– На тот свет, – вставил Невем. – А попал на этот. Опять метафора. Но пусть уж по порядку. – Он взглянул на небо. – Время есть, присядем.

Все трое привычно расположились прямо на земле, Рыжий, помедлив, тоже.

– Короче... – Игнатий взъерошил волосы, собираясь с мыслями. – Жил я себе жил, как все, пока не понял – вот-вот начнется. Кризис за кризисом, заварушки по всему глобусу… Рано или поздно кто-то кнопку нажмет, спасаться надо, пока не поздно. А как спасаться, где? Ясно, что не в городе. Городам первым и достанется. А кто и уцелеет – не позавидуешь: ни воды, ни еды, ни света, ни власти – все как домино посыпется. Радиация кругом, эпидемии да всеобщее озверение. Я радиоактивные трупы жрать не хочу и кормом быть не собираюсь. Выход один: подальше от города, от людей.

– Это как, в пещеру, что ли?

– В пещере сам озвереешь, а я хотел человеком остаться. Значит, и условия жизни надо сохранить человеческие, и обеспечить максимальную независимость от всех этих благ цивилизации, которой все равно не останется. Чем-то, конечно, придется поступиться, но не самым необходимым. Главное – полная автономия. Прикинул я и так и этак, литературу пошерстил… Если с умом взяться, задача решаемая.

Купил пустующий домик в деревне, дешевле только даром: деревенька почти вымершая, до трассы пятнадцать километров да по трассе до города без малого сотня. Как раз то, что надо: как из города голодные из города начнут по окрестностям шарить – сюда нескоро доберутся. Им далеко забираться не с руки будет, большинству-то надо за день-другой обернуться и хоть чем-то семью накормить. Бензин быстро кончится, а на велосипеде с голодухи много не накрутишь, еще и сам больше съешь, чем добудешь. А когда уже до массовой миграции дойдет – толпы беженцев с детишками да пожитками хлынут по основным магистралям. Они сами уязвимы для бандитов, не так опасны и от трассы далеко не пойдут, разве небольшими группками по два-три человека, а это уже не так страшно. Так что удаленность – пассивная защита. Опять же лес рядом…

Игнатий сел поудобнее. Он увлекался своим рассказом, тема доставлял ему удовольствие.

– …а лес – это и с дровами проблемы не будет, и подкормка какая-никакая при случае. Экология там хорошая, ни заводов в округе, ни могильников химических, ничего такого. Нет, я все продумал... Короче, стал запасаться. Инструмент – только такой, чтобы годами служил и кроме рук ничего не требовал. Топор, ножи, лопаты, вилы… Никаких тебе газовых плит, электрочайников или там бензопилы – чтобы ни от

горючки, ни от запчастей не зависеть. Вода – из колодца: к скважине насос или помпа нужны, рано или поздно сломаются, а ведро на цепи – вечно. Кастрюли-сковородки – только из нержавейки. В общем, упор на вещи, которые не нуждаются ни в ремонте, ни в восполнении. Но и без расходных материалов тоже ведь совсем-то не обойдешься. Вот соль, например, – хочешь не хочешь, надо припасать, без нее никак не прожить, а взять будет негде. Или лекарства, или гвозди те же – куда без них в хозяйстве… да хоть веревки возьми. Ну, я посчитал и по списку – двести кило гвоздей разных, соли тонну…

– Тонну соли? – поразился Рыжий. – Это на сколько же лет?

– А ты чего хотел? Человеку в год пару кило – это по самому минимуму. А нас с женой двое, да дети пойдут, а там и внуки, глядишь, – о них же тоже думать надо. Так, что еще? Ага, лекарства. Йод, перекись, парацетамол, – начал загибать пальцы Игнатий, – марганцовка, спирт, само собой, антибиотики широкого спектра… И про хирургию забыть нельзя – вдруг там рану зашить или пулю извлечь. Значит, скальпель со сменными лезвиями, зажимы, иглы шовные. А зубы заболят? Не плоскогубцами же рвать – специальные щипцы нужны.

– А ты и зубы рвать умеешь?

– Я книжки медицинские припас. Заболит, и не захочешь – научишься.

– Давай к сути, – вздохнул профессор. Он лег на спину и, заложив руки под голову, глядел в небо. Ясно было, что они с Немом слышали эту историю не один раз.

– А я к чему? Сам говорил – по порядку... Главное, конечно, вопрос питания. Его запасами не решишь. Ну затаришься тушенкой да крупой на год, ну на два, да хоть на пять – а дальше что? Магазины откроются? Нет, тут задачка не год-другой пересидеть, – тут, брат на поколения. Рано ли, поздно – любые припасы кончатся, если не воспроизводить. А кому производить, кроме тебя? Я, как заселился, с этого и начал: картошку посадил, капусту, лук-морковь, чеснок, прочее там по мелочи. Топинамбур – этот больше на подкормку живности, хотя и человеку сгодится. Без мяса ведь тоже нельзя, да и молоко не помешает. Под это дело я коз завел – милое дело: тут тебе и мясо, и молоко, а всех забот – привязал к колышку на выпасе да не забывай место менять, как траву объедят. Зимой только сена надо, а то и веток нарубил – проживут. И с курами проблем нет – им один курятник и нужен, пока снег не лег, сами пасутся, только зимой подкормить. Нет, без цивилизации жить можно…

– И сколько ты прожил? – поинтересовался Рыжий. – На самообеспечении?

– Два года, считай. Все свое – даже хлеба не покупал, нарочно, чтобы отвыкнуть. Ни чая, ни кофе. У нас в офисе все без конца кофе глотали, ну и я тоже. Без чашки не мог рабочий день начать, до вечера к автомату раз десять сбегаешь. А здесь уже и забыл про него. Свежий воздух, физическая нагрузка, еда без химии – и никаких тебе допингов не надо. Хозяйство свое – лучше всяких стимуляторов мобилизует. Крутишься с утра до вечера – это сделать, то не упустить, тут предусмотреть, там подготовить… После города тяжело, конечно, но ничего, свыкся. Лучше заранее, потом поздно будет привыкать. Спешить надо, времени-то мало остается. Телевизора у меня нет, но от новостей куда спрячешься. В Интернет что ни сунешься – где переворот, где конфликт назревает, где уже воюют…

– Так ты компьютер оставил все же?

– Оставил пока, и радио тоже. На всякий случай – вдруг оповещение успеют передать, если, конечно, будет кому оповещать. А комп для заработка: я айтишником был, а как в деревне поселился, на фриланс ушел. Пока деньги чего-то стоят, надо пользоваться, в хозяйство вкладывать да припасаться. Про лекарства да инструменты я сказал, а сколько еще такого, чего сам не сделаешь? Мыло, например, – сейчас копейки стоит, а после где его возьмешь? А обувь, спички, кирпич, – опять взялся перечислять Игнатий, – туалетная бумага, веревки, карабинчики, нитки-булавки…

– …патроны, – не утерпел Рыжий. – Патроны, стволы – тоже припас? Рано или поздно до твоего хозяйства все равно доберутся. Не горожане, так соседи голодные.

– И патроны, – кивнул Игнатий. – Только ведь и они со временем кончатся. Значит, бери шире, тут тебе – и запас пороха, и гильзы, и пулелейка, и капсюли, масло ружейное… Ну и пара стволов: «Сайга» и двустволка в доме. Но это так, на первый случай, мелочь отпугнуть. Дом не крепость, серьезной осады не выдержит. Окружат да спалят ночью. А то из гранатомета шарахнут. Нет уж, тут главное – вовремя живыми уйти. И хозяйство целее будет.

– Да какое хозяйство, бандюки же все раскурочат.

– Не успеют, их сюрприз будет ждать. А там и я вернусь: привет, гости дорогие.

– Так вот зачем тебе ход – план Б типа? Уйти, чтобы вернуться? А снаружи небось схрон? А в нем?

– Что-нибудь из армейского, что удастся добыть… А схрон нужен заранее – пока не грянуло, боевое оружие дома держать не с руки, еще под статью загремишь. Это газовую ловушку можно как-то под бытовую химию замаскировать, хранить частями. А с оружием дело тонкое, добыть его да не вляпаться непросто, я еще только примерялся, подходы искал… А пока взялся аварийный выход копать. Там меня и завалило.

– Напрочь? – поежился Рыжий. – Жуть.

– А… – Игнатий махнул рукой, лицо его враз померкло, помертвело. – Но так надо было, сам виноват. Меня перед этим озарение посетило, а я не внял…

Он вдруг перекрестился.

– Ход я узкий делал – лишь бы проползти. Так быстрее, да и если много земли таскать на поверхность, заметно будет, а это мне ни к чему. Грунт вроде хорошо держался, потом, думаю, расширю малость да укреплю по возможности. Уже метров пять прокопал: наковыряю саперной лопаткой, земли в мешок нагребу и – задним ходом, как червяк. В погребе землю высыплю – прилично уже накопилось – и назад. Жутковато под землей, в тесноте, душно, потно… Нет-нет да прислушаешься – это ты скребешься или грунт ползет… Мысли всякие лезут, но терплю, бодрюсь. Кроты вон всю жизнь ходы роют, у них даже фонарика налобного нет, – и ничего, не жалуются. Вот и ты рой да меньше думай... Рою. И тут вдруг мысль: а я ведь не из погреба, я из этой жизни подземный ход копаю. И сейчас, и вообще…

Игнатий покрутил в воздухе рукой, подбирая слова.

– Дом, хозяйство, припасы – все это ведь не для того, чтобы сейчас жить, а на будущее. То есть как бы аварийный выход себе готовлю: из этой жизни – в другую. А на эту я, выходит, совсем забил? А что, она такая плохая была, что я ее вот так хороню? Да нет, жил вроде непло-

хо, работа нравилась, и деньжата водились, и с женой хорошо жили, радостно… детишек собирались завести, да пока не сложилось. И там, под землей, меня осенило – а не оттого ли не сложилось, что я в другую жизнь собрался? А она по-своему, по-женски – за прежнюю держалась? В деревню-то со мной не поехала, все на работу ссылалась, сколько я ни втолковывал, что моих денег нам хватит, а в хозяйстве от нее пользы больше, чем от ее зарплаты. Про пенсию и думать смешно, когда государства не станет – какие пенсии? Деньги на растопку только и сгодятся. Ну хочешь, тоже на удаленку устрою? Нет, тянула, причины находила. Приедет иногда на выходной, кивает, хвалит, но все реже приезжала. Ждала, что одумаюсь? Может, меня и вправду куда-то не туда качнуло? Вон люди вокруг живут себе, как птички божьи, я к концу света готовлюсь... Но я же не слепой, я же вижу, что мир к черту катится!

Ковыряю лопаткой, а мысли точат.

Я же не виноват, что они слепые, в сегодняшний день вцепились и боятся глаза поднять, в будущее глянуть – вот и лишают себя этого будущего. А я не хочу лишаться, я строю это будущее, и может, не для себя только, да… Глядишь, ко мне же и прибегут – кто выживет, конечно, немногие, единички. И что? Если подобру – приму, накормлю, к хозяйству приставлю. А как иначе – работай, кормись. Лишних рук тут не будет, дел на всех хватит. Глядишь, коммуна со временем наберется, охрану усилим, расширимся – разумно, по мере сил. Может, объединимся с кем-то – не один же я такой предусмотрительный, должны быть еще! Объединимся, укрепимся – а там и что-то вроде государства получится... Может, так и цивилизация возродится, и к новому миру пойдет благодаря таким, как я…

Наковыряю, отволоку мешок, опять в нору. А мысли точат. Злые какие-то, будто уже и не мои.

Так ты, выходит, не о себе заботишься, род человеческий спасаешь. Вроде Ноя, значит, а хозяйство твое – ковчег. Цивилизация, новый мир, говоришь. Да их, может, сотни были, этих цивилизаций, от них что ни год, то там, то здесь какие-нибудь руины находят, – и все этими руинами кончились. А не потому ли, что так всегда и получается – одни слепые, боятся глаза поднять, живут навстречу гибели, другие, вроде тебя, – поодиночке спасаются.

К новому миру, говоришь? А может, ты просто этого мира боишься – и жить в нем боишься, и умереть вместе с ним. Вот и мечтаешь сбежать, вот и роешь себе нору… Может, вам, таким, не бросать, не предавать этот мир, а спасать его надо? Людям глаза открывать, эту жизнь потихоньку менять – выправлять да отстраивать. Всем вместе спасать и спасаться.

Да откуда это – как будто не с собой говорю. Словно голос чей-то в голове.

А ну тебя, говорю этому голосу. Спасешься с ними. С кем ни поговори – все всё понимают: ох да ах, куда мир катится! – а отойдешь, и опять живут – глаза в землю, ну чистое стадо: нашел травку – съел, а вон там посочней да погуще – туда перебежал. Так стадом и на убой… Мне с ними не по пути. Если весь мир рехнулся, я ему не компания. Спасусь – молодец, может, еще и спасу кого-то, а погибну – так хоть не по собственной дури, не со сложенными лапками.

Остановись, подумай, – твердит голос.

А пошел ты, говорю. Нора – ладно, пускай нора. Зато моя нора. Вон уже сколько прокопал… некогда мне думать.

Лопаткой на корешок наткнулся, рубанул посильнее – посыпалось. Я назад, дергаюсь, вязну... сыпется и сыпется, придавило. Только головой и могу шевельнуть. Фонарик на лбу горит, перед глазами еще полость осталась – рука засыпана, лезвие лопатки торчит, на нем то обрубок корешка, не то какой-то косточки… Все, хана, вот так же и мои косточки тут останутся. Не отпустил меня этот мир. Господи, страшно-то как!.. Не смерти уже – такой вот смерти! Насколько еще воздуха хватит? Господи, скорей бы!.. А сверху сыпется и сыпется, до губ дошло, земля на зубах скрипит, нос забит, чуть дышит... И фонарик светит. Я зажмурился – все равно под веками светло, не спрячешься… Гляжу, не могу не глядеть…– Игнатий заговорил медленно, словно вглядываясь в видение. – И чудится – будто выход открылся, и свет уже не от фонаря – оттуда свет, тихий, ясный… Только на нем разводы какие-то – кости скрещенные? решетка? Господи, плачу, пусти туда, за эту решетку, на свет, чтобы только не здесь мне… ты же можешь! Ну хоть глаза закрой, чтоб не видеть! Он и закрыл.

– Да уж, – кашлянул Рыжий, – чего только не примерещится… в такой ситуации. Не дай бог…

– Не примерещилось мне, – оборвал Игнатий. – я вправду видел. Только не решетка это была – крест.

Замолчал, закрестился.

– И как здесь-то оказался? – осторожно подтолкнул Рыжий.

– Просто оказался, и все. Сижу вроде на дне оврага какого-то, по пояс в земле. И мысль в голове крутится: ну вот… ну вот… Что «ну вот»? А, это тот же голос, что мне в норе мерещился...

Осмотрелся: точно – овраг. Но не тот, куда я ход копал. Тот помельче был и весь кустарником зарос. А этот глубокий, склоны крутые, над ними сосны торчат, здоровенные… И я в куче свежей земли сижу. Склон, видать, осыпался, и меня оползнем на белый свет вывезло. С прибытием типа…

– Время, – Невем постучал по запястью, на котором не было часов.

– Да, – Игнатий поглядел на небо, вскочил. – Пошли, Лис.

– Куда это?

– Да недалеко, сам увидишь... лучше увидеть. Пошли, а то солнце зайдет. – Он опять стал нервным и суетливым просителем.

Сразу углубились в чащу. Игнатий шел впереди, резко огибая стволы и прорывая кустарник. Остальные приотстали, и, когда вязкий смешанный лес вдруг уступил место просторному и чистому березняку, Рыжий не сразу различил его силуэт. Игнатий ждал их на опушке сияющей рощи, на фоне закатного пламени, и казалось, земля обрывалась за его спиной. Вся его фигура выражала нетерпение.

Игнатий опустился на колени перед каким-то пнем.

– Молится, что ли? – проворчал Рыжий. – Как в церкви…

– Пока еще нет, – усмехнулся Невем. – Он еще не воздвиг свой храм. Но близко к тому.

– Храм?

– Он строитель, это главное, что нужно понимать. Был строителем и остается.

– Он творец, – поправил Нем, и в его тоне прозвучал отголосок застарелого спора.

– Это все равно, – отмахнулся Невем. – Творец, строитель… Важно, что строил он раньше не то, что следовало. Собственно, это он и хотел объяснить.

– А теперь? – спросил Рыжий. – Теперь знает?

– Вряд ли это подходящее слово, поскольку подразумевает опору хотя бы на какие-то критерии истины. Скорее верит. Не думаю, что…

– Неважно, что думаешь ты, – угрюмо перебил Нем. – Важно его ощущение, чувство веры. Без веры истины быть не может. Да и не нужна она, без веры-то.

Невем снисходительно отмолчался, а Рыжий спросил:

– Без веры – это в Бога в смысле?

– В кого же еще?

– Ну мало ли, кто-то же и в дьявола.

– Дьяволу поклоняются. А в Бога – веруют. Чуешь разницу?

– А ты веруешь?

– Если бы! Эх, сподобиться бы, как Игнатий – тогда и жить можно… Нет, слаб… – махнул рукой Нем.

Уточнять Рыжий постеснялся; они уже подходили.

Игнатий ждал. Он стоял на коленях и глядел на них поверх толстого березового пня. Странно, успел заметить Рыжий, – верхушка пня, где должен быть срез или слом, была тоже прикрыта берестой. Когда они подошли, Игнатий положил ладони на пень с двух сторон и потянул вверх. Кора сползла, обнажив древесину, снялась, как футляр, и он отставил ее в сторону.

То, что увидел Рыжий, походило на заготовку, вырезанную из комля. В ней угадывались очертания церкви. К деревянному кубику, словно взятому от детского конструктора, только не такому ровному, лепилась паперть в три узеньких ступеньки с символическим портиком, ведущим в голую стену без признаков дверей.

Все молчали, ждали реакции Рыжего. Он не знал какой.

– Без окон, без дверей... – брякнул в замешательстве. А что еще тут скажешь?

Невем саркастически кашлянул.

– Да будет! – с горячностью заверил Игнатий. – Все будет! Не главное сейчас. Ты гляди, гляди… Чего не хватает?

– Ну, дорезать надо…

– Да дорежу, сказал же! Ты главное гляди, вот здесь – чего надо? – В нетерпении ткнул пальцем. – Давай, давай, пока солнце… свет нужен…

На покатой крыше торчали четыре столбика с обозначенными навершиями куполов. Пятый, в центре, был крупнее других и смотрелся почти законченным.

– Крест? – сообразил Рыжий. И оглянулся в растерянности.

На него смотрели, ждали.

– Ну нет, – сказал он. – Вы чего это, в самом деле…

Все молчали. Игнатий подрагивал губами, подбирая и теряя слова.

– Да ладно вам… Меня в нем крестили, бабушкин еще… Бандиты в электричке не заметили, а вы… обыскивали, что ли?

– Синец видел, когда лечил. А мы не бандиты, – буркнул Нем.

– Нам нужнее, – кивнул Невем с серьезной миной.

– И маленький он, – продолжал цепляться Рыжий, – простенький, без узора, невидный совсем…

Крестик и вправду был скромный, без распятия, вообще без рельефа и надписей; Рыжий ничего в этом и не понимал, и крестик носил не особо задумываясь, просто вроде как свой и снять непривычно. Да и единственное его золотишко, пустячок, а греет.

– А ничего, хорошо даже, – зачастил-закивал Игнатий. – Гладкий бликует лучше… и чистить легко, и вообще… – он искал, что еще сказать, губы подергивались вхолостую. Он протянул к Рыжему руку ладонью вверх, и глаза у него были как у настырного нищего.

– Да вы серьезно, что ли? – опять оглянулся Рыжий. Нем и Невем молчали, и каждая секунда молчания словно отодвигала их от него.

– Ну ладно, – поддался Рыжий. – Если только…

«На время» – едва не слетело с языка. Но на «на время» – дают попользоваться. Вещицу, игрушку. Игрушку он носил на себе всю жизнь? Споткнулся об эту мысль, внезапно и впервые. «На время» – это умалит, унизит и крестик, и его самого. Похоже на отступничество. От *веры*? Так он – *верует*?

– Ладно... – Потащил шнурок через голову, подержал крестик на ладони. Он был маленький и теплый (*чьим* теплом?). Протянул Игнатию, *отрывая* от себя, *насовсем*. Иначе нет смысла, нет жертвы. Нет веры. (А теперь есть?)

– Гайтан оставь, – сказал Игнатий.

Узелок за много лет спекся в тугой комок, не поддавался ни ногтям, ни зубам.

– Давай я… – Игнатий просто отъединил колечко вместе со шнурком и вернул Рыжему.

До сих пор Игнатий торопился, а тут замер, с крестиком на ладони, словно решаясь или боясь что-то забыть. Оглянулся на закат, переложил крестик с правой ладони на левую, закрестился. Повернулся к пню, стал на колени, опять замер, шепча что-то.

Взяв крестик двумя руками, словно хрупкое насекомое за крылышки, вставил основанием в невидимую прорезь в вершинке главного купола. Медленно, будто крестик и впрямь был живым и мог улететь, отнял руки.

Все молчали, и слышно было, как выдохнул Игнатий.

– Блестит… – Он осторожно поднялся. – Давайте сюда, отсюда лучше… – Все невольно сместились. – Вот – горит…

Гаснущий закат красил игрушечную церквушку нежно-малиновым, отчего дерево казалось живым и теплым. Но тень уже прибывала – ощутима физически, как смещение минутной стрелки по циферблату, – тень затопляла ее, как вода. И чем выше она поднималась, выдавливая кверху живое тепло, тем жарче разгорался крестик на фоне помутневший листвы – слепящая искра, капля пылающей крови, набухающая над половодьем тьмы.

Нестерпимо было видеть, как сорвется, канет…

Рыжий опустил глаза.

Срез пня вокруг церквушки был бугристый, в кляксах теней, – тут явно обошлось без пилы или даже топора, одним ножом. От края пня шли два тонких гребня; они сходились под прямым углом, но не смыкались, оставляя что-то вроде прохода в ограде, обращенного к храму.

– А это что?

– А?.. – Игнатий оторвал взгляд от креста, заморгал подслеповато. – Это? Погост.

– Я думал, дорога… – Рыжий отчего-то поежился.

– Это и есть дорога.

– Куда?

– Ну ты даешь. Кто ж знает… Отсюда.

– В смысле дальше, – поправил Нем. – Не отсюда, а дальше, вперед.

– Не нам знать, – отверг Игнатий. – Кому вперед, кому – назад… За себя говори.

Рыжий отошел от пня, выглянул с опушки. Сразу за рощей земля убегала из-под ног крутым скатом, переходящим в обрывы и осыпи. Внизу ползла извилистая речка, за ней тянулись дикие поля с оврагами и перелесками, невысокими холмами, – до самого заката. Закат угасал, его лучи уже не пробивали листву, отражались от нее в высь, в огрузшее, венозной синью набрякшее небо.

– Аминь, – донесся бодрый голос профессора, и Рыжий понял, что крест погас. – Что ж, пора и нам.

– Идите, – отозвался Игнатий. – Я останусь.

– Рассвета будешь ждать?

– Луны. При луне хочу видеть.

– Сомнительно, – вздохнул Невем. – Свету от нее… не полнолуние даже. Да и облака вон, гляди.

– Уж сколько будет.

Возвращались в становье втроем.

– Чего он там разглядит? – спросил Рыжий, когда уже отошли и Игнатий бы не услышал. – Луна же с востока взойдет, за рощей, ее и не увидишь за деревьями.

– Свет всегда есть, – мрачно изрек Нем. – Не каждому виден.

– Да какой же это свет? – чего-то доискивался Рыжий. – Ну, Солнце – еще понятно, оно источник и прочее там. Но Луна не своим светом светит, так – блик ловит… Блик от блика – чего на него глядеть?

– Луна – как крест на куполе, что над всей Земли высится. Чтобы знали, что свет и ночью горит, не угас. Да и Солнце, если подумать, – никакой не источник. Кто-то же его зажег – своим светом…

– Так это что-то вроде светового телеграфа получается? Этот, как его… с зеркалами?

– Гелиограф, – подсказал Невем.

– Вот-вот, – подхватил Нем. – Все вокруг – зеркала, само по себе ничто не светит. Не живет. Не существует. Вся Вселенная, весь божий мир – это послание, гелиограмма...

– Только прочитать не можем, – остудил Невем. – И связь, похоже, односторонняя. Обратно не достучаться.

– Откуда ты знаешь? – глухо спросил Нем. – Ты не можешь знать. Ни ты, ни я. Не готовы мы.

– А Игнатий? – спросил Рыжий.

– Уверовал он. Проникся, – бросил Нем и опять умолк.

Он шел впереди, не выбирая тропы, Рыжий с профессором – следом. Лес онемел в сумерках, хруст случайной ветки под ногой, казалось, разносился по всей округе

– Понял, что по-честному надо, – вдруг с ожесточением заговорил Нем. – Что не надо ему вперед. Рано, не заслужил – *там* еще не отработано. Вернуться хочет. Вот погост и вырезал.

– Погост? – растерялся Рыжий. – Так он… умирать собрался? Чтобы *там* воскреснуть?

– Ну да. Храм, погост – это как прошение вроде, молитва рукотворная.

– Да зачем же умирать, если он тут «нерожденный» как бы? Сам же такое имя взял.

– Имя – это слово. К слову дело нужно. Все страдал – крестик бы ему, освященный. У нас-то здесь как на грех – ни у кого. А тут и ты со своим – одно к одному, знак. Он и утвердился.

– Так он потому остался?! Да вы что, мужики… – Рыжий остановился. – Он там… вешается, что ли? Бежим!

– Ну, ну, – придержал его Нем. – Не будет он вешаться, грех это. Да и вообще…

– Не по-божески, – подтвердил Невем. – Не смиренно. Все равно как Всевышнего перед фактом ставить: я, мол, себя убью, а ты за меня разруливай, верни, куда мне надо. Нет уж, взмолился – теперь уповай, яви кротость агнца.

– На что уповай?

– Может, сук на голову упадет, может, молния ударит или сердце во сне остановится. По воле божьей.

– Не ерничай, – напрягся Нем.

– А если не дождется? – не мог успокоиться Рыжий.

– Тоже вариант, – кивнул профессор. – Прошение рассмотрено, резолюция: оставить без удовлетворения. А может, и вовсе не дошло до инстанции, прошение-то… Только он об этом не узнает. Так и будет ждать до скончания века. Своего, по крайней мере.

– А если все же с ним что-то такое… он вправду назад попадет? Возможно такое, а?

– Все возможно… теоретически, – пропыхтел Невем, выдираясь из густого орешника на ближайший прогал. – Исходя из допущения о наличии некоего всемогущего субъекта…

Он с театральным смирением воздел руки к бледному кусочку неба в темном жерле крон.

Нем угрюмо глядел на него. И вдруг усмехнулся – с беспокойством, с сочувствием, даже, пожалуй, с нежностью.

– Так и будет, – согнал улыбку с губ. – Вернется Игнатий. Верует он.

– Ему надо – он и верует, – вздохнул Невем.

– А вы? – вырвалось у Рыжего. – Вам – не надо? Вы не хотите вернуться?

– А должны хотеть?

– Ну как же – вы же не сами сюда… не по своей воле?

– Как знать, – пожал плечами профессор. – Бывают устремления, в которых человек себе не признается. Живешь себе обычной жизнью, все его устраивает, лишь внутри кольнет иногда, что как-то все не так, что могло бы как-то иначе.

– Ну, наверное… Только что – иначе?

– Все – мысли, чувства, тело, желания... Ну, кольнуло и прошло. Но не ушло совсем, возвращается иногда – то чаще, то реже. И постепенно прорастает в человеке ощущение, что живет он как в паутине, все, что ни есть вокруг, да и в нем самом, расплывчато, недопонято, недотянуто – оценки, цели, поступки. Что вся жизнь – не та, не там, а могла быть другая, полновесная, сильная, точная. Где? – сквозь паутину не видно. Рвануться бы из нее… – профессор наставил палец на Рыжего, – …куда?

– К свету? – поддался Рыжий.

– Именно! – рассмеялся профессор. – Что и требовалось доказать. Подавленные желания перестают в психоз. Я, конечно, не психиатр, и симптоматика в моем изложении звучит дилетантски, но, полагаю, суть схвачена верно.

– Психоз? В смысле мы – сумасшедшие? – изумился Рыжий.

– А это уж кому как нравится, по личному усмотрению. Экзистенциальный выбор, так сказать.

Рыжий не мог понять, шутит профессор или говорит серьезно.

– Да не слушай его, – махнул рукой Нем, – а то и вправду свихнешься. Главное, мы здесь – ну, значит, здесь. Прими и живи дальше.

– Да понял я, понял. Но как мы здесь оказались-то?

– Должны были, вот и оказались.

– Должны? Почему? Это что – наказание? Или… дар?

– Ни то ни другое, – отрезал Нем. – Бог не наказывает, только отвернуться может. Сами себя наказываем. А подарков не заслужили мы. Назидание это, урок.

– Добрая розга – чем не назидание? – вздохнул Невем. – Однако застоялись.

Опять шли в сгустившемся сумраке, Рыжий держался за Немом, прикрывая лицо от веток. Когда лес поредел, поравнялись, и он спросил:

– А вы-то как здесь оказались?

Ему не спешили отвечать.

– Или это секрет? Я не то спросил?

– Не знаю, – сказал наконец Невем. – Я же предупреждал: *тут* я вообще ничего не знаю. Зато у Нема есть версия: из бани.

– Как это?

– Самым прозаическим образом – никакой тебе мистики, ни грозных знамений, ни откровений, ни страстных порывов духа. Из бани – и прямо сюда, вот и вся его история.

– Наша история, – холодно уточнил Нем. – Одна она у нас.

– Так вы вместе... парились? – догадался Рыжий. – В смысле – и *раньше* дружили? И что случилось-то?

– Угорели. Свет в бане от бензинового генератора, он его в предбаннике включенным оставил.

– Всегда оставлял, – отмахнулся профессор, – сам знаешь. Дверь же открываем.

– Парились от души, – не отреагировал Нем. – Да еще приняли перед этим, пока топили… Жару нагнали невтерпеж, щелочку в предбанник пришлось приоткрыли. Он первый вышел, не по себе ему стало. Ну, возраст, думаю, я-то помоложе… Еще похлестался, чую, перебор что-то, – в ушах стучит, голову давит и дышится как-то... С полка слезаю – ноги не держат. В предбанник вывалился – дымина, не продохнуть, он на полу лежит, а генератор молотит, и дверь закрыта. Ветром, что ли, захлопнуло. Я через него ползу – он скользкий, в блевоте, и сам блюю, но – к двери... и все.

– Всегда ее открывал, – повторил Невем. – И кирпич подкладывал, он там нарочно припасен.

– Может, неплотно подложил, – посочувствовал Рыжий. – Случайно, мало ли…

– Да ладно, – махнул рукой поэт. – Чего теперь, оба хороши. Нечего пить перед парилкой. Перебрали, чего там, в пылу полемики.

– О чем спорили-то?

– О судьбах человечества – о чем еще спорить поэту с философом? Невем новую науку придумал – историю будущего.

– Ну, ну, не передергивай, я говорил не так, – профессор с облегчением подключился к новой теме. – И какая там полемика – обычный треп под рюмку. Хочется же иногда хотя бы мыслью вспорхнуть, вырваться из паутины... Я и пошутил, что единственная история,

которую стоит преподавать, начиная с детского сада, – это история будущего. Поскольку прошлая история – мертвое академическое знание, в практическом плане бесполезное, учит лишь тому, что никаких уроков из нее человечество не выносит. Прошлое – далеко, оно уже случилось и потому не пугает. Единственный способ уберечь людей от ошибок – сунуть под нос ужасы, которые ожидают впереди, нависают над ними, над их детьми – конкретные, неотвратимые. Это послужит хорошим пинком, заставит начать действовать уже сейчас, отложив мелкие сиюминутные делишки и распри перед лицом глобальных угроз. Ужас перед будущим – единственный способ вырвать человечество из спячки.

– И кто ее напишет – эту историю будущего?

– Вот вопрос! Хорошо бы, конечно, с натуры, глазами очевидца, так сказать. Но что толку мечтать о несбыточном... – тон профессора показался Рыжему уклончивым. – Тут нужны не туманные прогнозы и не фантазии футурологов, этих всегда в избытке, их никто не принимают всерьез, – а ученые, да что там – целая научная школа, которая даст человечеству четкий сценарий его грядущего самоубийства. С регулярным уточнением сроков – по годам, по месяцам! Мощная пропагандистская поддержка, с максимальной конкретикой и наглядностью всех ужасов апокалипсиса, во всех его чудовищных проявлениях – только так можно продолбить защитную скорлупу обывателя. Ну, и так далее… Игра ума, разумеется. Впрочем, Нем и не особенно спорил, в чем-то даже согласился.

– Я о другом говорил, – возразил Нем. – История – вообще не наука, а лишь набор интерпретаций, и ученая братия тасует их и складывает в нужную мозаику, в зависимости от политической конъюнктуры. Не говоря уж о том, что масса исторических фактов попросту замалчивается, поскольку не укладываются в накатанные пропагандистские мифы.

– Типичный дилетант, начитавшийся Фоменко, – хмыкнул профессор.

– Единственное, что очевидно, – золотых времен не было никогда. И поэзия, этот больной нерв человечества, всегда болела об этом. Она сама – болезнь несовершенства этого мира. Как еще назвать стремление выразить то, чего не в состоянии постигнуть сам, это вечное неутоленное вожделение? Но если человечество к чему-то движется – к гибели или просветлению, к хаосу или гармонии… – Нем перевел дыхание, улыбнулся странной улыбкой: – Дайте хоть одним глазком заглянуть в финал этой чертовой истории, ну хоть чуть ближе – откуда хотя бы угадывается тень этой бездны, отблик преисподней. Или – престола Господня. Хоть краем уха, хоть отголосок уловить того последнего звука – горнего ли гимна, рыка ли сатанинского, Слова, которому быть в конце. Услышать, внять…

Нем прочистил горло и умолк.

– А ты, – после паузы спросил Рыжий, – почему стихи писать перестал?

– Не слышу ничего. Молчание одно. Silentium... Видно, рано еще, далеко.

– А *там* слышал?

– Думал, что слышу. Потом понял – не то слышу. Себя только.

Они вышли к становью, пересекли поляну и остановились у мертвого кострища. Молчали, но не расходились.

– Понятно… – протянул Рыжий. – Получается, потому вас и кинуло – по вашему желанию, вперед.

Профессор рассмеялся.

– Да ничего не получается! Я же говорю – это версия Нема, попросту плод фантазии. Аргументы? Ну, например: если мы перенесены сюда

неведомой силой из бани прямо из бани, то оба должны быть голыми. Между тем на нас та же одежда, которую мы сняли в сгоревшем, по всей видимости, предбаннике.

– Закоснелый рационалист, – уязвил Нем, – втискиваешь непознанное в привычные схемы. Тут сто причин может быть…

– И все, конечно, для нас непостижимы. А у меня одна, самая простенькая. Мозг перегружен, непрестанно конструируя несуществующий мир, и попросту упускает мелкие детали.

– Но ты-то не упустил эту деталь! Или у тебя два мозга?

– Так где же мы, по-вашему? – пресек перепалку Рыжий. – В несуществующем мире? Все?

– Не знаю, сколько повторять, – *тут* я ничего не знаю. Как не знаю и где находится это самое *тут*. Мой прошлый опыт и знания в данный момент бесполезны. Но есть предположение, которое вполне меня устраивает своей приземленной ординарностью. Я сплю.

– Спите? Где?

– Простейшее объяснение: после бани и доброй порции «Столичной» меня разморило, и я прикорнул на диване в дачном домике. Но уж никак не на полу в предбаннике, в собственной блевоте, – нахохлился профессор, – такого со мной не бывает. Разве что водка оказалась паленой... Тогда возможны интоксикация, бред. Да, в конце концов, при чем тут баня? Воспоминания здесь могут оказаться таким же миражом, как и все окружающее. Меня сбила машина на переходе – чем не объяснение? Я попал в реанимацию, наколот препаратами, галлюцинирую…

– Но тогда почему вы отвергаете версию Нема? Отравиться вы могли и угарным газом.

– Да потому что я не мог подсунуть кирпич кое-как! Я образованный человек и прекрасно понимаю, чем это грозит. Я вообще ничего не делаю кое-как!

– Ты ни при чем, – проговорил поэт. – Порыв ветра. Шквал. Помнится, гроза надвигалась.

– И ветер ни при чем! Этого просто не было. Дверь не могла закрыться. Иначе придется признать мы оба – покойники.

– Как это? – не понял Рыжий.

– Нем говорит, что потерял сознание раньше, чем дополз до двери. Получается – дверь закрыта, генератор продолжает работать, концентрация отравы растет... Что тут объяснять? Мы покойники, однозначно!

Профессор перевел дух.

– А между тем мы, хм… по крайней мере я – существуем. Хотя бы в моем воображении. Поймите же оба наконец: мозг человека способен связать любые факты в достаточно ловкую конструкцию, но это не значит, что они связаны в реальности.

– То есть вся эта история – фантазия Нема, а сам Нем, как и все здесь присутствующие, – плод уже вашей фантазии?

– Вполне вероятно.

– Тогда его версия событий, – старался не запутаться Рыжий, – это ваша версия, продукт вашего воображения? И вы же ее отрицаете…

– А что мне остается? – удивился профессор. – Мой мозг функционирует, он сконструировал целый мир, довольно любопытный, населил занимательными персонажами и играет со мной – как же мне устраниться? Приходится подыгрывать, хочу я того или нет… а скорее все-таки хочу, по крайней мере пока – иначе давно бы его отключил.

– Отключили? Мозг? Вы о самоубийстве?

– А как еще можно прекратить весь этот цирк? Вопрос лишь в том, сработает ли это в принципе? Проверять придется опытным путем… – Профессор в раздражении дернул плечами.

– …И в случае неудачи ты боишься оказаться дураком, – докончил за него Нем. – Хотя дураком ты окажешься при любом исходе. Дураком и трусом.

– Это перед кем же? Перед призраками, созданными собственным воображением? Как-нибудь переживу.

– Действительно, кого тут стесняться... – Нем говорил с нарастающей болью. – Не это тебя останавливает. А я скажу что. Я, призрачное порождение твоего воспаленного мозга, имею право сказать от твоего имени. Ты испуган, раздавлен, ты лелеешь мысль о самоубийстве, как последний патрон, прибереженный для себя. Но ты боишься, что *здесь* это не сработает, патрон окажется холостым. И ты лишишься последней надежды сбежать и будешь обречен вечно блуждать в лабиринте своих галлюцинаций, сходя с ума внутри собственного безумия. Безысходность, полная, бесконечная, – вот что тебя страшит.

– Ах, как красочно! Безумец, сходящий с ума, – то есть сумасшедший в квадрате, еще и бессмертный к тому же. Не зря ты был поэтом. Хотя это ближе к сценарию какого-нибудь дешевого ужастика... Сейчас по сюжету укажешь мне путь к спасению.

– Ты сам его знаешь. Надо перестать притворяться спящим и открыть глаза. Принять этот мир, принять действительность наконец.

– Признать галлюцинации реальностью? Бред – нормой? Нет уж, увольте, я не настолько потерял самоуважение. Я ученый, в конце концов. И то, что я приноровился жить в несуществующем мире, еще не значит, что я него поверил.

Нем безнадежно махнул рукой.

– А в Бога вы верите? – вдруг спросил Рыжий.

Профессор помолчал, поднял глаза к луне, дрейфующей в облаках.

– Не здесь, – обронил он. – Спокойной ночи.

Нем и Рыжий остались вдвоем.

– Он не сказал «нет», – заметил Рыжий. – Но и не ответил.

– Ему придется.

– Похоже, он скажет «нет».

– Отрицание – тоже вера. «Да» и «нет» – две стороны одного. Между ними – он нигде. Никто. Собственная галлюцинация. *Там* он мог всю жизнь уклоняться от выбора, подменяя его накоплением знаний, *здесь* это не пройдет. Ему придется выбрать.

– Но он выберет «нет», – повторил Рыжий. – Выберет самоубийство, со временем – это его слова… Ты уверен, что это не сработает?

– Я сказал – может не сработать. Видишь ли, – поэт неопределенно повел рукой, – здесь еще никто не умирал.

– Как это? Но Лучезар рассказывал, как вы трупы на опоры вешали. Да и я же...

– Рейдеры не в счет, – качнул головой Нем.

– Почему?

– Вероятно, это их мир, он их порождает, он же и убивает. Я о тех, кто в становье. Никто из нас, *прибывших*, не умирал. Увечья, болезни – все это случалось, но…

– То есть… хочешь сказать – здесь мы бессмертны?

– Не поручусь. Но пока что так... Может, до срока.

Он повернулся уходить.

– Постой…

– Да? – обернулся Нем.

– А кто-нибудь уже… пытался?

– Покончить с собой? – Поэт помедлил с ответом. – Невем не будет первым. Но зачем ему знать? Шанс у каждого свой.

Он подождал еще, но Рыжий больше не спрашивал.

Ночь он спал плохо, мелькали лица, чудились громовые раскаты, но, когда просыпался, было тихо и лиц вспомнить не мог. Ныла нога. Лежал в темноте не шевелясь, с одной и той же навязчивой мыслью. Раз или два принимался накрапывать дождь. Он вновь убегал в забытье и вновь просыпался в испарине страха. Что это за мир, где ты не волен даже умереть? Или Нем ошибается, он не знает наверняка не может знать... за других, по крайней мере. Ты хочешь проверить? Не хочу, но если это правда…

Он никогда не хотел умереть, не думал о смерти, разве что иногда, смутно, – как о чем-то бесконечно далеком и необязательном. «Когда ты вырастешь, ученые придумают что-нибудь, и смерти не будет», – кто-то сказал ему в детстве – мать? бабушка? – та уже не дожила...

Ей повезло?

Душило осознание тупика, разум бился ужом, придавленный глыбой мысли о бессмертии. Затаившемуся в ночи, в жалкой сырой лачужке, она вдруг показалась ему чудовищной. Вечный плен, и не сбежать – от этого мира, от жизни, от себя… Стиснуть зубы и скулить, сходя с ума… скулить вечно...

Вечные муки… бабушка говорила – так это о них? Крестик, крестик – от нее… Крестик спасал, ограждал, а он сам снял его… отказался, отступился!..

Нет, не отступился – пожертвовал на храм! Ближнему во спасение... В смерти?..

Пытался вспомнить молитву, лишь два слова приходили на ум, и болела нога, и Рыжий углублялся, заползал в эту боль, как в щель; *Господи, помилуй, Господи, помилуй...*

Сам-то веришь?

– …А?

Нем склонился у входа в лачужку, за ним маячили ноги профессора.

– Игнатий? – затряс головой Рыжий. Под утро он все же забылся, без чувств и видений, и теперь медленно возвращался. – С ним что-то?..

– Увидим.

День занимался тусклый, бессолнечный. Опять они шли по лесу, и потревоженная листва кропила одежду остатками ночного дождя. Когда вошли в березняк, воздух посветлел, и в прогале между стволов на краю рощи Рыжий увидел кусочек чистого неба. Прогал выглядел шире, чем вчера, деревья раздвинулись и наклонились в сторону косогора, пня с вырезанной на нем церквушкой на месте не было. Не было и самого места.

Они остановились на краю обрыва, выкусанном свежим оползнем. Расщепленный надвое ствол старой березы свисал до середины кручи, держась на корнях, от него потягивало дымком.

– Крепко тряхнуло, – констатировал профессор. – Вообще-то молния в березу не бьет. Ну, или крайне редко…

– Редко, да метко, – буркнул поэт.

– По-твоему – неслучайно?

– А по-твоему? Погляди вокруг: дождик едва попрыскал, гроза далеко стороной прошла. А молния, как нарочно, именно сюда ударила, дотянулась за несколько километров. Что, дерева поближе не нашлось?

– Божья милость, значит, – вздохнул профессор. – Помнится, был такой святой, Артемий Веркольский, погибший от молнии. Правда, от роду ему было двенадцать лет – в таком возрасте много не нагрешишь… Но темные сельчане все равно сочли это божьим наказанием, забросали хворостом и оставили его неотпетым в лесу. Где тело и пролежало лет тридцать, что ли… пока чудеса не начались. Глядишь, и мы дождемся.

– Где он? – Рыжий в каком-то отупении смотрел на массивную осыпь внизу. Полузасыпанные деревья вздымали из груды свежей земли изломанные сучья; солнце выпуталось из облаков, и было видно, как играют на ветерке еще живые блестящие листья. – Там?

Его придержали за локти, как вчера в лесу, на всякий случай. Он не противился.

– Его нет, – мягко сказал Нем.

– Где нет?

– С нами. Он ушел.

– Вернулся?

– Возможно. Или ушел вперед.

– А если… – Рыжий все смотрел вниз. – Если…

Он вырвался и прыгнул.

Он прыгнул вдоль кромки обрыва, целя на отлогий выступ внизу, чтобы притормозить и оттолкнуться, сменив направление, и таким образом, петляя и гася скорость, одолеть весь спуск, избежав неуправляемого падения. Грунт осыпался под ногами, и, пытаясь не упасть, Рыжий поехал вниз, тормозя подошвами, но инерция бросила его на четвереньки, сбила на бок, и он покатился, срываясь с уступа на уступ, кувыркаясь и прикрывая голову руками.

Синец появился, когда Рыжий пришел в себя, покропил ему ссадины травяной водичкой из бутылки.

– Ну и ладно, зарастет…

Размотал повязку на щиколотке. (Рыжий не помнил, как знакомая тряпка опять оказалась на его ноге, как он сам оказался в лачужке – принесли без сознания?) Синец осмотрел его ногу и решил, что повязка больше не нужна.

– Дальше без толку. Там лечи. – Вытряхнул из еще влажной тряпки травяной комок и повесил ее на входе, зацепив за ржавый гвоздь. Присел на корточки.

– Где «там»?

– Куда прыгал.

Рыжий подумал.

– А куда я, по-твоему, прыгал?

– За Игнатием, куда ж еще.

Рыжий еще подумал.

– А где он?

– А где надо ему.

– Но ты знаешь, где?

– Не мое дело знать, – пожал плечами Синец. – Позовет – услышу. Не зовет – ни к чему, значит. Ни ему, ни мне. Вообще никому.

– Позовет… Так он живой, думаешь?

– Может, и живой где-нито.

– Но тогда под завалом его нет, что ли? Так получается.
– Может, и нет.
– А если все же он… ну, тело его, – там?
– Может, и там.
– Не искали? Так и бросили?
Синец смотрел терпеливо своими с оловянным отливом глазами.
– Чего ж мертвого выкапывать да закапывать. Из земли пришел, в землю ушел. И церковка над ним, все чин по чину.
– Нашли ее? Уцелела?
– Чего ей сделается. Пень последним свалился, не засыпало. Подправили только, чтоб ровно. Запорошилась – ничего, веточкой обмахнули…
Помолчали.
– Все равно как-то не так всё, – пробормотал Рыжий.
Но Синец уже поднялся, водил глазами по сторонам. Вытянул руку, на ладонь ему села пчела.
– Синец… – Рыжий высунулся из лачужки.
Тот смотрел на пчелу, будто слушал.
Пчела снялась с ладони и полетела. Синец двинулся следом:
– Ну, веди, веди…
– Синец! – с тоской позвал Рыжий.
– Ой? – Тот приобернулся, не отрывая глаз от пчелы.
– Ведь и я мог – как Игнатий… С такой-то высоты… И разбиться, и на сук напороться…
– Да запросто.
– И не поломался даже. Почему так… повезло?
– Не допрыгнул, значит, – в нетерпении переступил Синец. – В коленках слаб. Или прыгал не туда… Ну, где там твоя травка? – Пустился догонять пчелу.

Рыжий заполз в свою палатку.
Не допрыгнул, камешком перекатывалось в голове. *Не туда*.
А если бы допрыгнул – то что?
Куда ты прыгал?
И себе-то боишься ответить…
Он помнил ощущение, которое испытал в то мгновение, долю мгновения, когда он оттолкнулся ногой от кромки и полетел. Словно он уже летел так однажды – не в этой жизни, не в жизни вообще. Жизнь наступила потом – когда он родился.
И это же чувство он пережил, когда выпрыгнул из электрички, из прежней жизни… И оказался здесь.
Так ты хотел прыгнуть в другую жизнь? Из этой, нынешней?
Я не думал об этом, не успел. Меня что-то толкнуло…
Ты надеялся прыгнуть *назад*. На предыдущую станцию. Но мог оказаться где угодно и еще дальше от той жизни, куда смертельно хочешь вернуться.
Мог. Но мог и вернуться.
Как Игнатий? Но кто сказал, что он вернулся?
Не знаю… Но это был шанс… я попытался.
Но ты здесь. Не допрыгнул. Слаб в коленках? Или все же прыгал не туда? Которое из предположений Синца верно?
Вспоминай, вспоминай…
Все в точку, сдался Рыжий. И то и другое. Я струсил в последний момент. И в итоге прыгнул не туда.
Ему не хотелось, но он помнил.

То дежавю, то чувство зависания между двух жизней, было лишь первым ощущением, вместившимся в миг полета. Уже оттолкнувшись от кромки и захлебнувшись страхом и ветром, краешком сознания он отметил, что нога в последний момент подправила траекторию прыжка, направив ее не прямо вперед, а вбок – параллельно срезу обрыва, на тот небольшой выступ (когда, как он успел его заметить?), который давал надежду пригасить скорость и не сорваться в безудержное падение.

Инстинкт самосохранения, рефлексы? Не виляй, уличил себя Рыжий с неожиданной злостью. Кто дал волю инстинктам и рефлексам? Нет, это ты сам… самосохранился.

И было еще одно, добивал свое эго Рыжий. У тебя мелькнула мысль помочь Игнатию или хотя бы убедиться, что это невозможно. Но хотел ли ты этого в действительности? Для этого требовалось сойти вниз живым и невредимым, а уж никак не таким безрассудным способом. Нет, эта мыслишка была самообманом, жалкой попыткой замаскировать свой истинный мотив благородным порывом, придать себе храбрости. Ты еще и эгоист.

Синец прав, все в точку. И в коленках слаб, и прыгал не туда.

А если бы – туда? Если бы не вмешался инстинкт, который ты клянешь, и ты прыгнул не вбок, а прямо? И разбился насмерть?

Не принял же ты всерьез фантазии Нема о бессмертии *прибывших*. Одно дело терзать себя воображаемыми ужасами вечной жизни и совсем другое – рискнуть своей драгоценной башкой, положившись на чужие домыслы. Уж в чем в чем, а в подобной лихости тебя не заподозришь.

Ну да, я трус, я слабак, заскрипел зубами Рыжий. Ну покаялся, а что толку? Один страх толкнул меня *отсюда*, но другой тут же ухватил за шкирку и вернул обратно. И что дальше? Оба страха по-прежнему тут как тут, потешаются, тянут каждый к себе. Который из них страшнее? Важнее? Правдивее?

А выбирай любой. Хочешь – оставайся, проверяй гипотезу «вечной жизни», заранее сходя с ума – да ты уже начал.

А то прыгни еще разок – вдруг получится?

Самоубийство, кстати, грех...

Раннее солнце сочилось в боковые щели лачужки. Блики наливались яркостью, крались по стене, соскальзывали на лицо, и Рыжий отворачивался. В полдень солнце нависало над входом и грело его разутые ноги. Под вечер солнечные пятна взбирались на противоположную стену, медленно отползали и гасли.

Третий, а может, четвертый, а может, пятый день Рыжий лежал в лачужке, уставясь на кочующие блики, задремывая и вновь выпадая из забытья. Лодыжка почти не болела. Он знал, что может ходить, но куда, зачем?

Мысли больше не докучали – возникали, отползали и гасли, как вечерние блики. Он мог подолгу следить за плутающими по ветхим доскам муравьями. За колыханием тряпки с его ноги, повешенной на входе Синцом, за тончайшими переливами тьмы в под невидимым ходом луны.

Время запуталось в днях и ночах, кружило, как вода в сонном омуте.

С ним говорили – кто днем, кто ночью.

Обрывки разговоров всплывали и меркли в памяти, как верхушки водорослей, колеблемых течением.

Он не пытался вспомнить последовательность этих посещений, да и сами разговоры казались подслушанными, словно он и не участвовал

в них, не задавал мучительных вопросов, а был лишь отстраненным свидетелем.

– ...Лучезар, а ты боялся умереть… ну, там, на вырубе?
– Кто ж не боится?
– Ну, может, тоже хотел – чтоб отсюда, куда-нибудь дальше, в другую жизнь?
– Зачем мне другая жизнь? Она меня лучше не сделает.
– Ну, вдруг тебе там лучше будет.
– Э, нет! – ворчал Лучезар. – Опять от ума, лукавство все. Надо, чтоб не мне лучше – чтоб я лучше стал. Тогда и жизнь от меня получшает. А то что ж, тут не понравилось – сразу в другую, ишь ты… ждали тебя там! Нет, смерть еще заслужить надо.
– Но ведь ты в прошлой жизни – сам ее не хотел, готов был умереть.
– А дурак был. Как ты, хоть и Лис.
– А теперь хотел бы в нее вернуться?
– Пустое это. Нет мне назад пути.
– Откуда ты знаешь?
– Чую.

Он чует, вяло думал Рыжий поворачиваясь на другой бок. Синец слышит, Игнатий – верит. Невем знает… что ничего не знает. А я не слышу, не верю, не знаю…

– ...Все ты понял, – это Илия. – Только не так надо, не наобум.
– А как?
Илия молчал.
Или его не было.
Кто был?

Неважно, думал Рыжий, увязая в полузабытьи. Все были, кого он знал… и не знал? не помнил?.. из беспорядочной вереницы, в которой мелькали и лица, неразличимые – кто в темноте, кто против солнца…

Сочувствия никто не выражал. Будто ничего особенного в его поступке не видели. Будто сами через это прошли.

И направлялись посетители словно не к нему, а куда-то по своим делам и мимоходом, раз уж оказались рядом с лачужкой, откидывали тряпку на входе.

Тряпка давно высохла и оживала на ветерке, отпугивая мух…

По делам… каким делам? Куда они направлялись? Все?

Теперь ему казалось, что шли они один за другим, подряд, и ни один не прошел мимо.

Словно хотели напутствовать его или проститься…

Мысли мерцали, пригасая и вновь разгораясь, перемигивались, как светодиоды в елочной гирлянде в замедленном режиме. Выключить их совсем он не мог.

…Кто был?
Была Надежда.

– Почему я вижу всех ясно? Раньше временами ты казалась прозрачной, и не только ты... Я уже – как вы?
– Ты хочешь быть таким?

– Не знаю... Все же нет… Вы – не люди?

– Конечно, нет! – Смех Невема?

Да, профессор тоже здесь…

– Мы существуем лишь в твоей голове. Наши образы и размываются временами в твоем восприятии, потому что требуют постоянного усилия и мозг не выдерживает… Стоит тебе переключиться на другие мысли, и мы перестаем существовать. Твой мозг подает тебе это в виде картинки, будто мы уходим. Сам рассуди: зачем же нам есть, пить, спать? Нас нет.

– А я для вас, уходя, – тоже перестаю существовать? Вы все – друг для друга?

– Точно так же.

– Это правда? – к Надежде, она еще здесь.

– Это его правда.

– А есть одна, общая?

– Есть – пока идем к ней.

– Но мы же здесь никуда не идем. Мы все ждем.

– Это нас ждут.

– Кто? Путь? Бог? Чего он ждет?

– Когда будем готовы.

– Но ведь вы уже и так – не едите, не пьете. И я никого не видел вас спящими…

– Это лишь очередная степень свободы. Но чтобы двинуться дальше, этого мало.

– Чего же вам не хватает?

– Кому смирения, кому решимости... я не могу знать всего. Но, думаю, каждый должен разглядеть это в себе сам.

– А если не сможет разглядеть? Не захочет? Так и останется здесь навечно?

– Возможно. Или его подтолкнут…

– Но это же мучение какое-то…– Рыжий искал какое-то слово, – маета…– Слово брезжило со дна памяти, смутно связанное с бабушкой, с крестиком. – Мыканье…

– Мытарства? – оживился профессор. – Истязание душ бесами на пути к престолу Господню… отличный штрих к картине несуществующего! Следовательно, рейдеры – осовремененная интерпретация бесов. Таким образом, мы сами принесли в себе.

– Так мы – души?

– Мне ближе термин «галлюцинации». Но в любом случае и те и другие бесплотны... Что ж, аналогия с мытарствами не хуже любой другой – особенно если принять, что каждый из присутствующих сам себе бес. Поэт должен оценить.

– Перестань, – сказал Нем, и Рыжий не удивился, что поэт тоже здесь.

А Надежда исчезла.

– Признаю, признаю, – поднял руки профессор, – аналогия неполная. Для кого-то здесь вполне уже рай. Взять того же Синца…

– Перестань, – повторил Нем. – В раю не запасают кровохлебку.

– Что это? – не понял Рыжий.

– Трава. Синец собирает ее. Ему указала пчела. Он и название не знал, Невем сказал.

– И от чего эта трава?

– Сильное кровоостанавливающее.

То ли он ворочался, метался в полусне, а может, лачужка сама потихоньку расползалась по швам вместе с его сознанием, – прямо над его головой, между лоскутом рубероида и куском шифера, образовалась щель. Рыжий не замечал ее раньше.

В щели застряла звезда.

Чем дольше он смотрел на нее, тем ярче она становилась.

У него заслезились глаза, он зажмурился, но продолжал видеть ее. Казалось, она приближается.

Когда он открыл глаза, она была на расстоянии вытянутой руки. Слепящая искра, мерцая и набухая, протискивалась через щель внутрь лачужки. Крестообразные лучи пульсировали, раздирая полотнище тьмы, разжимая силящиеся сомкнуться веки Рыжего, втискиваясь в глазные яблоки, в мозг.

В голове его раскрылся огромный зрачок, и свет бил уже не в мозг Рыжего, а изнутри его, во все стороны. Тьмы не осталось, только свет.

Сознание взорвалось. Он закричал, рванулся, ударился головой.

Оглушенный и напуганный, с колотящимся сердцем, он лежал в темноте ничком, зажав глаза ладонями.

Потом лежал ненавидя себя.

Рывком перевернулся на спину.

Звезды не было. Только гаснущие блестки и холодок в глазах, будто в них дотаивали осколки льда.

Он погасил ее сам. Струсил опять – как струсил тогда, в последний момент, прыгая с обрыва. Не выдержал света.

Он смотрел в щель, в небо – мутное марево в неровном разрыве тьмы.

Звезда просто сместилась, ушла за край щели. Он подвигал головой вправо-влево, меняя угол обзора. Ушла.

Вот-вот начнет светать.

Он приподнялся на локтях, сдвигаясь к выходу. Взвизгнула лодыжка, умоляя затаиться в своей лачужке, в темноте и покое, замереть, задремать... Вставая, зажмурился от боли; под веками полыхнуло. Поначалу он различил только луну – матовый поплавок на застывшей поверхности тьмы.

Сотни раз в своей жизни Рыжий видел ночное небо, чаще не замечая, иногда – замечая и даже проникаясь (красиво, ага), – и тут же забывая, как симпатичный рисунок на обоях. Каждый сам по себе, они с небом не нуждались друг в друге.

И вот Рыжий пришел к нему, потому что не смог не прийти, выполз из тесной своей конуры, из давящего бреда – к небу. И не увидел звезд.

Луна следила за ним, как глаз наблюдателя, который бросил его на самое дно, в самую глубокую впадину в океане мрака ради какого-то чудовищного, непостижимого человеческому разуму эксперимента. И он долго и беззаботно тонул, прежде чем обнаружил себя на этом дне, жалкого и ничтожного, бессильного подняться к поверхности.

И вот очнулся – один, во вселенской пустоте, в полной ясности и безысходности, от которой сейчас остановится сердце.

Хотелось завыть на эту луну.

Он продолжал смотреть.

Хотелось забиться в свою конуру и никогда не выползать. Не сознавать, не чувствовать.

Не быть.

Он смотрел.

Они появились – едва различимые блестки; не исчезали, проступали все отчетливее.

Он искал свою, но возникали все новые, тут и там, усеивая небо. Разгорались россыпями, роняя вниз тонкие призрачные нити. Нити колыхались над землей, как стебли подводных растений, сплетались в светящиеся пряди, затем закружились – будто кто-то огромный сверху макнул пальцем во тьму и закрутил ее воронкой – и свились в единый жгут. Он походил на канат, сброшенный с поверхности ночи к самым глазам Рыжего. Мелькнула безумная мысль ухватиться, забраться... Но наверху, в полночной бездне, набрякла сияющая капля. Он узнал ее. Она скатилась вниз и выжгла ему глаза, и пролилась прямо в сердце.

Он искал и не находил себя.

Не было ничего. Кто-то одним движением стер всю Вселенную, как рисунок с классной доски мокрой тряпкой, забыв лишь случайную крупинку мела – дотлевающий уголек сгоревшей звезды. Гаснущая искорка в сердце – единственное, что осталось от тела, от всех ощущений, что еще удерживало агонизирующее сознание на краю небытия. И Рыжий цеплялся за этот край – всеми силами животной тоски, смертными спазмами воли, немой исступленной мольбы..

господипомилуйгосподипомилуй

Это были единственные слова, других слов не осталось во вселенной; он повторял и повторял их, не давая искре угаснуть. Он был как одинокий пловец в океане, свалившийся с плота и успевший ухватиться за тонкую рыболовную леску. Эти слова были натянутой леской, грозящей вот-вот оборваться. Он твердил их сквозь немоту, страшась прерваться и потерять их, и с ними – еще один миг существования и проблеск надежды, что он не одинок, что есть еще кто-то – тот, кто дал ему эти слова и повторяет их сейчас вместе с ним, помогая не сбиться.

Рыжий не знал, кто этот второй, не мог отделить его молитву от своей, лишь угадывал ее внутри собственной, и его переполняло чувство слезного умиления и детского упования на эту неведомую милосердную силу. Он тянулся прильнуть, ощутить ее во всей полноте и несомненности, слиться ней – и страшился отвлечься от молитвы, страшился обмануться и вновь остаться один, в безмирной пустоте, без слов и надежды.

господипомилуйгосподипомилуй

Искра жила, крепла; уже не искра – брезжащий огонек в сердце, мерцающий ровно, в такт дыханию молитвы.

господипомилуй…

Он прервался – внезапно для себя, на одно мгновение. Убедиться, услышать голос... Ужаснулся своему безмолвию, гордыне, безумию!.. Сердце пропустило удар, замерло. Но молитва не пресеклась, длилась без его участия.

– Не оставляй меня! – взмолился Рыжий.

я никогда не оставляю (услышал? подумал?). *оставляют меня*

Ответ не был облечен в слова, но был растворен в молитве, в неисчислимости смыслов, сплетённых в единую гармонию, которую Рыжий не мог охватить в целом, выхватывал лишь свое, спасительное, одну ноту, звучавшую ему.

Молитва жила сама по себе, словно рождалась не от них, а они от нее – и жили в ее жизни, дышали ее дыханием.

– Кто ты? – воззвал Рыжий. – Бог? Странник?

меня называют и так. я тот, кто в сердце

– Где ты? Почему я не вижу тебя?

я тот, кто в сердце, а ты ищешь вокруг. смотри в сердце

Рыжий смотрел.

Огонек креп, наливался жаром – мерцающий бутон во тьме, готовый брызнуть пламенем. Бутон раскрылся огненным цветком, лепестками жгучего света. Их было четыре; они раздвинулись, как шипы, в сердце Рыжего, и он впервые ощутил телесную боль.

Сердце трепыхалось, как рыба, заглотившая блесну. Он сам трепыхался на этой блесне, пойманный за сердце, над бездной небытия, и крестовидные шипы вонзались все глубже, и боль от них была опорой сознания, корнем его существа. И чем сильнее становилась боль, тем острее он ощущал себя живым и одновременно – нарастающий страх перед искушением избавить себя от страданий: дать себе сорваться, исторгнуть из сердца крестовидное жало – вместе с болью, с жизнью.

– Поддержи меня!.. Отврати, дай руку…

я не могу. я лишь указываю дорогу

– Так кто же ты? – тянулся Рыжий, борясь и изнемогая. – Странник?

я – ты грядущий

– Дай мне увидеть тебя… себя…

ты не готов. принять грядущее – крест тебе не по силам

– Мне не по силам настоящее! Я должен увидеть – зачем, ради чего?..

Он ждал, страстно.

Молитва струилась через его сознание, приходя ниоткуда, утекая в никуда. В ней не было ответа. Она казалась неполной, словно в гармонии бесчисленного хора он искал и не мог различить единственного нужного голоса. Своего?

– Господи помилуй… – спохватился Рыжий, заполняя неполноту. – Снизойди… Смилуйся!.. Яви!.. – открывались слова полузнакомые, древние, теплые.

И:

претерпи

(Сам ли сказал, толкнул себя на казнь?)

воссияй

Шипы не вмещались в сердце, прорастали в плоть, распирали тело чудовищно раздавшимся остовом, распиная в пустоте.

прострадай

Он висел на кресте, простертом в бесконечность. К лицу его придвигались звезды, открывались миры, и Рыжий кормил их своим сердцем, утоляя космическую животворную муку, превозмогая встречные волны скорби и отвержения.

Но сердца не хватило, отчаяние затопило его, и молитву заглушил нарастающий гул, переходящий в исступленный, невыносимый вой. Он вобрал в себя вселенский стон и ужас бесчисленных душ, всевечной чередой бредущих от рождения к смерти. В этом хоре Рыжий различил и свой вопль.

– За что?.. Зачем эта вечная мука?

она не вечна. смотри в сердце

Рыжий смотрел. Сердце, огненный комок, горело не его огнем, содрогалось не его содроганиями, болело не его болью.

Рыжий припадал, льнул к этой соборной боли, убегая от своей малой. Но та была еще страшнее.

не вечна. ты умрешь

– Значит, мы оба умрем? Ведь ты – это я…

я не только ты. я в каждом, и каждый во мне

– Так погибель – мне одному? Отпусти меня! – возопил Рыжий с креста вселенского. – Я боюсь умирать!

смерть не вечна

– Отпусти! Я боюсь жить!..

жизнь не вечна

– Боюсь... воскреснуть – на муку горшую!..

ты не все еще видел. не досягнувший корня – лишь глаза опалит

– Все равно верни!.. – бился на кресте Рыжий. – Слепым, убогим – лишь бы там, на земле! Взмилуйся! Избави! Сведи с креста!..

Уловил, чуть слышное, как вздох:

сойди

(Сам ли себе попустил, толкнул на бегство?)

Всей силой отчаяния, стыда, ужаса рванулся с распятия, с пылающего остова, оставляя клочья – плоти? души? – на кресте.

Все померкло, и донеслось, не отсюда уже:

и ты бежишь меня

И Рыжий бежал, не видя куда, спотыкаясь и падая, и вновь поднимаясь, и оборвалась под ногами твердь; и сорвался с кручи, и покатился вниз, прикрывая голову руками.

Отзвук далекого грома проник в сознание. Рыжий открыл глаза, отвел рукой скребущие по лицу ветки.

Он и ночью узнал это место. Зачем он здесь?

Вспомнил, как бежал, не разбирая дороги, сквозь стыд и ужас, и одна лишь мысль металась в помутненном мозгу: если это не совсем еще помешательство, то лучше окончательное безумие, лишь бы спрятаться от вины, от понимания совершенного…

Что же он сотворил?

бежишь меня

От кого он бежал, кого бросил?.. Себя?.. Странника?..

меня называют и так

А еще…

Молчи! Не поминай!..

Бежал, бежал… зачастил он мыслями, заслоняясь от *имени*. Куда бежал?.. а куда ноги несли… Вот прибежал… случайно.

А вот не случайно, не случайно! Крестик! – осенило Рыжего, уцепился за эту догадку. Да, да, крестик! – заклинал от подступающего отчаяния. Он же здесь, только найти... Зачем? Надо, и все. Не зря же сюда…

Не обращая внимания на боль от ушибов и ссадин, на привычно ноющую лодыжку, переваливаясь через присыпанные землей стволы, увязая в пружинящих ветвях, Рыжий с полчаса исследовал осыпь под обрывом. Редкие облака не мешали луне, и пень с церковкой он нашел. После обвала его водрузили на кое-как нагребенный бугорок, но тот расползся от очередного дождя, и пень с игрушечным храмом покосился.

Креста на церковке не было.

В состоянии тихого ошеломления Рыжий выправил пень, заново нагреб и утоптал земляной холмик, обмел веткой маковки, сдул песок. Еще раз провел рукой по главному куполу, нащупал щербинку. Креста не было.

Он – там…

Догадка была ослепительной и не нуждалась в каком-то рациональном подкреплении.

остался там… в клочьях души…

Стиснув зубы, Рыжий запрокинул голову к звездам.

Звездам было все равно. Их негреющий свет коснулся его лица, отстраняя безучастной ладонью. Рыжий упал на колени перед пнем, ткнулся лбом в холодную землю, впуская в себя вину. Выдохнул *имя*.

Ничто не отозвалось, ни вдали, ни в сердце.

V. Оттуда

Вдали временами погромыхивало, раз или два начинал шуршать дождь и замирал в кронах, не достигнув земли. Выбравшись из кустарника на лунную прогалину, Рыжий присел передохнуть. Помассировал лодыжку. Пока терпимо, дойдет. Осталось немного. А дальше что?

Опять начался дождь, на этот раз сильнее, и Рыжий углубился в чащу. Он не знал, зачем идет к становью, просто тело, ушибленное, саднящее, несло его в потемках, с пустотой в душе, единственной дорогой. К таким же неприкаянным? Он не до конца понимал это слово, но в его грозной безысходности мерещилась какая-то отчаянная надежда хотя бы на общую с остальными, не одинокую свою участь.

Грозовой разряд прозвучал как треск фейерверка. Он повторился опять и опять, не вблизи, приглушенный шумом дождя. Протиснувшись через заросли, Рыжий заскользил по скату внезапно открывшейся ложбины. Боль в лодыжке бросила его на четвереньки, и некоторое время он пережидал. Здесь было не так темно, как в чаще, место казалось смутно знакомым; похоже, он вышел к устью оврага, ведущего к становью. Хромая, двинулся дальше, чувствуя, как намокает под дождем и липнет к коже пропахшая потом одежда.

Дождь то слабел, то переходил в ливень, под ногами захлюпало, на дне оврага копилась вода, но Рыжий не мог идти быстрее. Раз или два он увязал в грудах размокшей земли, осыпавшейся со склона. За очередным поворотом на дне оврага маячило бледное пятно; в потемках оно походило ствол старой березы. Подойдя, он узнал Инну.

Она лежала ничком, одна рука согнута в локте, вторая вытянута вперед, словно она ползла и замерла. Ее тело белело сквозь намокший балахончик и казалось совсем голым. Рыжий отодвинул с ее шеи прилипшие волосы, попробовал нащупать пульс. Ему почудился едва уловимый запах (духов, растений?) – почудился и растворился в дожде. Волосы Инны были влажные и холодные, кожа начала остывать. Пульса он не уловил.

Пошатываясь, он стоял над телом, не пытаясь ничего понять, просто принимая к сведению: тех, к кому он шел, стало меньше, его пустота расширилась.

Он отступил на шаг, чтобы обогнуть тело, и провалился ногой в лужу, глубокую и топкую. Вот куда она ползла перед тем, как умереть. Родник поднялся из своего переполненного ложа и подступил к лицу Инны. Кончики волос уже колыхались в воде, и, если дождь не остановится, будет идти и идти, возможно, она совершит свое окончательное погружение. Пусть дождь идет вечно, подумал Рыжий.

И он будет идти и идти под дождем… куда? Он не знал. Может быть, вечно…

Скользя по земле и траве, он выбрался из оврага и двинулся к становью. Дождь не останавливался, но как будто ослабел и шелестел на одной монотонный ноте, как бесконечный выдох. Сквозь водянистое марево Рыжий различил разбросанные по поляне неясные черные пятна. Их было много, они походили на груды земли или на продолговатые валуны, а может, на копящиеся лужи – в потемках он не мог разглядеть, но ему показалось, что одно пятно смещается и сливается с другим. При его приближении пятно вновь разделилось, Рыжий успел различить распрямившийся человеческий силуэт и ослеп от света, ударившего в лицо.

Это было настолько неожиданно, что отупение безысходности вмиг слетело с него. То сухое потрескивание, принятое им за грозовые разряды и напоминавшее звук фейерверка, остывающее тело Инны, темные пятна, беспорядочно разбросанные по поляне, – все это разом связалось воедино. Это не пятна.

Сердце зашлось от животного страха перед тысячью угроз этого мира, от которого он отделен лишь жалкой пленкой кожи.

И ближайшей угрозой был этот человек с фонарем.

Рыжий застыл и зажмурился.

– Явился… – проронил Илия. Он говорил с усилием, будто сдерживая ярость, но что-то безнадежное звучало в голосе, что казалось опаснее любой угрозы.

Свет соскользнул с лица, и Рыжий открыл глаза. Фонарь тлел тусклым пятном на мокрой траве – батарейка издыхала на глазах. Илия спешно обшаривал чье-то неподвижное тело. Левое предплечье лежащего было обмотано какой-то тряпкой, перекинутой через шею наподобие фиксирующей повязки. В другой руке был пистолет, но Илия не потрудился его вынуть; выбросил на траву зажигалку, пустой и снаряженный магазины, несколько патронов россыпью, половинку шоколадки в смятой фольге, шариковую ручку, еще какую-то мелочь.

Что-то буркнув, перевернул тело, чтобы добраться до заднего кармана. По телу пробежала дрожь. Илия вынул из подергивающейся руки пистолет, приставил лежащему меж лопаток и нажал на спуск. Раздался щелчок. Фонарь совсем погас, но глаза Рыжего уже притерпелись к потемкам, и он смотрел в оцепенении, как Илия поднимает с земли снаряженный магазин, заменяет пустой, передергивает затвор. Тело опять содрогнулось, на этот раз сильнее.

Задний карман оказался дырявым.

– Что ты ищешь? – отважился подать голос Рыжий.

– Что-нибудь – пластырь, шприц… До утра продержаться… До света, блин! – хохотнул Илия и взялся за левый бок, придержав смех. Он был без куртки, темная клякса на мокрой футболке проступала из-под ладони.

– Ты ранен? Рейдеры?..

– Рейдеры, рейдеры… – Илия выпрямился, переводя дыхание. – А ты где был?

Он смотрел ему в лицо, Рыжий смотрел на его руку с пистолетом. Рука была опущена.

– Что молчишь? – Рука качнулась, или качнулся Илия.

– У Странника! – выпалил Рыжий, пряча от себя, страшась произнести *имя*. Затараторил, сбиваясь и повторяясь, боясь, что Илия прервет,

рассмеется. Но тот не перебивал. Дослушав, молчал. Кровавый язычок сползал по ребрам.

– Надо остановить… – не выдержал Рыжий. – Приложить чего-нибудь... Синец тут?.. – И, осекшись, договорил упавшим голосом: – Он траву собирал… кровохлебку.

– Тут, – Илия ответил с запозданием, словно выходя из задумчивости. – Все тут.

– А Надежда? – вдруг сообразил Рыжий.

– И Надежда. Нас только нет. Идем.

Рыжий двинулся за ним. Дождь тянул бесконечную заунывную ноту, холод промокшей одежды растекался по телу. Илия в своей майке дождя, казалось, не замечал, лишь походка его была скованной; одна рука на боку, другая, опущенная, – с пистолетом. Его заметно кренило влево, он спохватывался и выпрямлялся. Наверное, Рыжий смог бы вырвать у него пистолет, напав сзади, но эта мысль была стылой, как дождь, от которого немели руки и коченело в груди.

Они пересекли поляну, оставляя по сторонам разбросанные по ней продолговатые черные пятна, похожие на лежачие валуны. Их было много, больше чем обитателей становья, известных Рыжему. Но ни одно из них не оказалось слишком близко, и Рыжий не вглядывался, уставясь в маячившую впереди спину Илии, пока тот не остановился:

– Давай ты.

Рана мешает ему наклониться или присесть, подумал Рыжий. И он не уверен, что сможет встать.

Рыжий склонился к лежащему навзничь телу. Он не смотрел в лицо мертвеца, но, судя по по отсутствию верхних пуговиц, это был Синец. Рыжий зашарил по карманам, надеясь не наткнуться на кровь. Отвлекал странный запах (тления? так быстро? но неприятным он не казался… похож на тот, что Рыжий ощутил у тела Инны). В боковом кармане спецовки нашелся размякший травяной ком.

– Вот! – вскочил. – Пластырь бы еще или скотч – примотать…

– Скотч, – задумчиво повторил Илия и наклонился, упершись руками в колени. Пистолет он не выпускал. – Вон там, – мотнул головой в сторону.

– Что?

– Автомат.

– Автомат?.. Зачем?

– Принеси.

Рыжий повернулся на одеревеневших ногах. Поодаль проступал силуэт еще одного тела.

– Не вижу… темно.

– Десять шагов. Найдешь.

Скрюченная кисть мертвеца стыла на траве рядом с выроненным пистолетом. Автомат валялся тут же, словно рейдера добили из него в упор и бросили.

Рыжий взял его за цевье. Он подумал, что если передернуть затвор, Илия услышит. Или автомат уже на боевом взводе – но магазин пуст. Эти мысли не несли ничего, кроме смирения.

Он перехватил автомат, стараясь не попасть пальцем в спусковую скобу, нащупал спаренные магазины, стянутые скотчем.

Илия ждал в прежней позе, кровавое пятно на боку свисало к поясу и терялось на темном фоне брюк.

– Отдирай, – сказал он.

Рыжий пытался зацепить конец обмотки. Ногти скользили.

– Погоди-ка... – Илия забрал автомат и, отщелкнув магазины, бросил его на землю. – Зубами, – велел он и, сопя, задрал футболку.

Рыжему удалось закусить край скотча. Трескучая лента оказалась короче, чем он ожидал, и не липла на мокрое тело. Рыжий разорвал майку Илии и стянул концы узлом, прижав клок травы к ране. Трава быстро пропиталась кровью и слиплась в комок.

– Глянь, может, у него еще есть? – процедил Илия.

Рыжий склонился к телу Синца и опять уловил запах – тонкий, странно тоскливый и радостный одновременно. Это точно не был запах тлена.

Он коснулся одежды: ткань спецовки подалась под его пальцами и пропустила их. И вновь сомкнулась, когда Рыжий отдернул руку и отскочил.

– Ну, чего там? – повернул голову Илия.

– Он…

– Что?

– Я не… – Рыжий в ошеломлении тер пальцы, стараясь изгнать из них ощущение от прикосновения – чужое, знобящее. Он боялся смотреть на тело.

Но Илия смотрел, и Рыжий оглянулся.

Силуэт мертвеца бледнел, все контрастнее проступая на темной траве. Тело, словно вылепленное из тумана, наливалось изнутри тихим брезжащим светом. Свет пробивался сквозь кожу сквозь одежду, обозначая ее складки и детали. В размытом пятне лица все отчетливее проступали черты целителя, и Рыжий внутренне сжался, ожидая встретить взгляд мертвеца.

Движение рядом вывело его из оцепенения: Илия уходил. Его походка была дерганой и шаткой, рука с пистолетом моталась не в такт, нарушая равновесие, но видно было, что он побежал бы, если б мог бежать. В смятении Рыжий устремился следом, но через пару шагов оглянулся, будто остановленный взглядом в спину.

Ясное, подсвеченное сиянием лицо Синца было обращено к тучам. Ноздри шевельнулись, вбирая воздух, дрогнули веки и глаза распахнулись навстречу дождю; Рыжий видел, как искрятся в них дробящиеся капли. Взгляд Синца был устремлен ввысь, будто искал просвет в завесе ночного неба. Глаза отсверкнули, как если бы в них отразилось солнце еще не наступившего, грядущего дня, и образ целителя начал размываться, утрачивая телесность, стал прозрачным, совсем исчез. Остался лишь свет в форме человеческого тела; Рыжий успел различить примятые стебельки травы – теперь они вздрагивали под ударами капель, силясь распрямиться. В ноздри плеснул запах. Он напоминал аромат распускающихся тополей после майской грозы, только стократ сильнее – пьянящий, сбивающий дыхание, как порыв ветра, срывающий тебя с земли.

Сияние погасло, оставив дождь, холод, ночь.

Какое-то время в глазах еще брезжил призрачный человеческий силуэт, проекция света на темном экране ненастного мира. Но и он померк.

Рыжий повернулся и побрел за Илией. Он уже потерял его из виду, но знал, где искать.

Боковым зрением он отмечал всполохи, расцветающие и гаснущие на месте темных пятен, принятых им раньше за камни. Рыжий знал,

что если оглянется, то не увидит уже ничего, и лишь ловил обрывки невыразимо манящего, светлого, печального запаха, что долетали то с одной, то с другой стороны и сразу угасали, словно брел он между невидимых клумб, засаженных внезапно расцветающими и тут же увядающими растениями.

Запах то казался мучительно знакомым, родным, то непостижимо нездешним, неземным, а то и не запахом вовсе – бесплотным дуновением, от которого в сердце занималась теплая дрожь и хотелось и счастливо заплакать, хотелось вдыхать и вдыхать… и не хватало, обрывалось.

Еще один рейдер лежал в двух метрах от входа в лачужку.

Надежду Рыжий не застал – лишь уходящее сияние. Илия притулился сбоку, вытянув руку, как бы желая обнять призрачный силуэт и боясь прикоснуться. Ладонь подрагивала на весу – все темнее и темнее, как над гаснущим костром.

Погасло. Шуршал дождь.

– Залезай, – наконец подал голос Илия.

Рыжий заполз в будку, стараясь не задеть его.

– Ну вот, – проговорил Илия. – Отсияли.

Рыжий молчал, не знал, что сказать. Внутри еще таяли остатки аромата, заглушаемые запахом мокрой одежды, пота и крови.

– Теперь проще. – Илия закряхтел, протискивая руку в карман джинсов.

– Что проще?

– А всё. – Он нащупал что-то в кармане, сунул в рот, хрупнул зубами.

– Таблетка, что ли? – спросил Рыжий. – Откуда?

– Нашел-таки у одного.

– А вдруг отрава?

– Стал бы он отраву с собой таскать. Берег, как беспризорник огрызок шоколадки. Вон, фольги накрутил… – Илия пошуршал пальцами и щелчком отправил за порог невидимый комок. – Видно, не все еще склады разграбили.

– Стимулятор, что ли, какой?

– Уж точно не аспирин. Сейчас поймем.

Они помолчали.

– Ну как, действует? – не вытерпел Рыжий.

– Бодрит маленько… Жаль, одна всего, до утра берег.

– Почему до утра?

– Могилу копать. Думал по-людски ее – в землю, при свете. А до утра дожить надо, да чтоб руки шевелились, вот и берег – хоть какая-то подпорка. А теперь, видишь, ничего и не надо – ни могилы, ни утра, ни крововхлебки твоей… Все просто.

– Да что просто?

– Ладно, помолчи.

Дождь ослабел и едва накрапывал. Рыжий слушал дыхание Илии. Кажется, оно становилось ровнее.

– Ушел дух, – пошевелился Илия.

– Какой дух? – встрепенулся Рыжий. – А, ты про запах…

– Запах – это от нас с тобой. Вонь попросту. А то – дух! – голос Илии изменился, в нем позванивала свежая сила.

– В смысле – святости? – попытался подыграть Рыжий. Он помнил про пистолет Илии и гадал, что за таблетку тот выпил и куда смотрит ствол в темноте.

– Святости? Хм… – Илия оказался не готов к этой мысли. – А что, говорят же, что мощи святых через благоухание являют присутствие Духа… Только мощей-то вот не осталось. – Подумал еще. – Значит, они им еще понадобятся – тела.

– Где? В святости?

– Святости, не святость… Я не знаю, что это такое. Куда они уходят… такие? Сколько им еще идти – до святости или до чего там, дойдут ли? Не спросишь, далеко ушли.

Напряжение в его голосе спало, появилась добродушная расслабленность.

– А нам теперь что же? – спросил Рыжий.

– И нам пора.

– Куда? За ними? За святостью?..

– Может, и за святостью. Кому как. Главное, чтоб отсюда.

– Ты про путь, что ли?

– Про все... про все…

Илия откинулся на спину, замолчал. Его дыхание стало совсем тихим.

Рыжий боялся, что Илия уснет и случайно выстрелит в темноте. Или умрет, а он не заметит, и будет сидеть рядом с мертвым.

– Давай перевяжем еще, – сказал он. – Потуже…

Он протянул руку в темноте, Илия встретил ее своей. В его руке был пистолет.

Рыжий медленно отстранился.

– А если нет никакого пути? – спросил он.

– Должен быть. Странник не зря всех позвал – кроме нас с тобой.

– Позвал? Куда?

– В дорогу, надо понимать.

– Да что тут было-то?

– Что было? – Илия подумал. – Если б я знал… Надежда в твоей будке сидела, ладонь на лбу держала. Ты метался, бредил, бормотал что-то. Потом затих вроде. А она все сидит, руку не убирает, шепчет что-то, а ты вроде как отвечаешь – мне снаружи не разобрать… Долго, стемнело уже. Я у входа потоптался, курточку на землю постелил, к жерди прислонился. Задремал, видно. Это они тут не спят, не едят, вообще не поймешь, чем живут, а мы-то с тобой – отсталые… Очнулся – стемнело, дождик накрапывает. И Надежда уходит, на середине поляны уже. Куда ты – окликнул. Молчит, не слышит. И в разных концах становья остальные возникают, как тени, тянутся к кострищу. Ну, я понял – Странник позвал. Когда еще их всех сразу увидишь. Так и раньше бывало: сбредутся молча и стоят, молчат. Что-то вроде проповеди, только без слов и без пастыря. Но это со стороны, они-то его и слышат, и видят – встанут в кружок, внимают. Потом расходятся. Вот и в этот раз… – Илия помолчал. – Надежда уходила, уходила, я вслед смотрел. Уже почти дошла, силуэт размылся в потемках, и остальные к кострищу стянулись – не разглядишь, где кто. Ну, общайтесь, думаю, раз вам дождь нипочем, а я пока Лиса потесню, чего мокнуть. Заполз в твою в конуру. Только тебя в ней не было. Я и решил, что ты тоже там, со всеми. Не услышал, как ты уходил… Ладно, мне места больше. Прилег, дерюжка еще теплая была… может, опять задремал. Потом затрещало, я сперва подумал – гроза. Только кричат почему?.. И когда выглянул из будки, молния полыхнула, я и увидел, что все уже кончено. Рейдеров трое было. Один, с автоматом, шел сюда, к будке; за спиной у него посверкивали огоньки –

двое других шарили по поляне с фонарями, добивали. Что-то кричали друг дружке, взвинченные стрельбой, кровью, грозой.

Тот, что шел к будке, остановился шагов за двадцать и стал вглядываться. Я вжался в дальний угол. Он положил фонарь в траву и отсоединил магазин, чтобы сменить на свежий. Я выдавил фанеру в задней стенке, умудрившись не обрушить всю будку, и выбрался наружу с другого конца. Дождь, выкрики, раскаты грома заглушили возню. Когда рейдер сунул ствол в будку, я оказался рядом. Он успел крикнуть, но у тех двоих были пистолеты, а у меня АК с полным магазином. И они не догадались потушить фонари. Задели, правда, но терпимо. Я Надежду нашел, отнес в будку...

Илия помолчал, потом сказал:

– Вот и все, Лис.

Словно дочитал ребенку положенную сказку перед сном и захлопнул книжку.

Темнота снаружи стала пожиже, приближался рассвет. Дыхание Илии было едва различимым в шорохе дождя.

– Так, выходит, Странник их нарочно собрал? – спросил Рыжий. – То есть знал про рейдеров и позвал – на расстрел?

– В дорогу он их позвал. Отбыли тут свое, дальше пора.

– А сам-то? – не слышал Рыжий, в нем поднимались бессилие и злость. – Сам он там был? Его-то убили? Ты точно не разглядел?

– Я его ни разу не видел, – усмехнулся в потемках Илия. – Только и знаю от них, от прибывших. Они искали – потому и оказались тут. С ними он и мог говорить, с каждым по готовности его, на его языке. Лучезару – про дырки в сыре. Нему – про гимны небесные. Синцу – про зовы божьи, тайные, в каждой былинке скрытые. Профессор и тот через отрицание свое, от себя таясь, веры искал, откровения… Инна – наособицу, а тоже на проповеди ходила. Не знаю, что ей, может – про любовь вечную. Каждый в нем находил – чтоб дальше идти… А я ничего не искал, за Надеждой шел, не мог ее одну отпустить. Большего мне не надо. Он со мной и не общался – видно, сказать-то нечего.

– Да кто же он, этот Странник? – выплеснулось у Рыжего, как гной из нарыва.

– А ты не догадываешься? Ты-то *его* видел.

Да, сказал себе Рыжий.

Нет, сказал он себе, этого не может быть.

Потому что, если это так, эта ночь никогда не кончится, даже если он переживет ее. Она растянется на всю его жизнь.

– Я сбежал, – произнес вслух. – Я его предал.

– Ты?!. – Илия булькнул болезненным смехом. – Кто ты такой, чтобы предать *его*! Отступник Лис!.. Уморил!..

Поперхнулся, выталкивая последний смешок. Отдышавшись, сказал как о чем-то решенном:

– Ты вернешься.

– Куда?

– Назад. И к *нему* тоже.

– Откуда ты знаешь? – спросил Рыжий, и опять подумал про эту ночь, которая не отпустит его никогда.

– Да оттуда, что ты *его* видел, призвал *он* тебя. Призвать призвал, но с собой не взял вместе с другими. Но и от рейдеров отвел, погибнуть не дал. Значит, рано тебе дальше, не готов ты за *ним* идти. И здесь делать больше нечего. Так что назад пора, пожить еще придется.

– Готов, не готов… Да зачем я здесь оказался? Зачем я *ему* – неготовый? Таких, как я…

– А с чего ты решил, что ты один такой. Откуда нам знать, сколько у него таких становий, в скольких мирах? Сколько таких, как ты или тот же Божен, не готовых, в них заскочили да и назад вернулись? Много званых, да мало избранных – не *его* ли слова… И живут. Кто вспомнить боится, кто в сомнениях мечется, созревает до поры, а кто путь ищет – тот, земной, что на земле не кончается. Я вот все гадаю: тот *светлый*, что Надежде в бреду являлся и под машиной погиб, – кто он был? Адепт? Посланник? Или…

Илия помолчал. Вернулся:

– Вот и тебе, думаю, *он* показать хотел, что есть еще что-то, помимо прочего… – запнулся, подбирая слово, – человеческого. А уж зачем – *сам* тебе скажет, когда-нибудь. А пока – назад тебе надо.

– Да как же мне – назад?

Илия не ответил.

– Постой… – похолодел Рыжий, – так ты потому опять Божена упомянул? Который в болоте сгинул?

– Не нашли его, – вяло отозвался Илия.

– Хочешь, чтобы и меня не нашли?

– А кому тебя искать. Кончилось становье. Будешь тут один куковать?

– Почему один? А ты? Тебя-то *он* почему здесь оставил?

– Почему да почему. Тебя вот встретить, – хмыкнул Илия. – Чтоб не заскучал тут… с рейдерами.

– Выходит, *он* тебя и под пули подставил?

– Ничего, быстрей догоню.

– Догонишь?..

– Ладно, устал я с тобой… Руку дай. Держи вот, – в ладонь Рыжего влипло мелкое, ребристое. – С церквушки вашей снял, все хотел тебе отдать, да случая не было. Может, потому и жив еще… Теперь тебе нужнее.

Крестик был в крови, как и пальцы Илии.

Дождь припустил опять, громыхнуло.

– Все, разбегаться пора. Таблетка кончается. Да, вот еще… Никакой я не Илия. Это я тут наслушался всего поначалу, вот и почудилось, будто с мягким знаком жидковато как-то. А Илия, мол, куда как возвышенно, опять же и вопрос в нем, смыслы тайные... Надежда вот не меняла, у нее имя вечное. А я купился как мальчишка. Только глупости всё, нет у меня никаких вопросов, и смыслы мне не нужны. Просто Илья – так и запомни.

Порыв ветра просквозил будку от входа до дыры в задней стенке, забросив внутрь пригоршню брызг.

– Ну, все, иди.

Илья с кряхтением сел, задев стенку, лачужка содрогнулась.

– Иди, – сказал он изменившимся голосом. – Пока с собой не забрал.

– Куда? – опешил Рыжий.

– Беги! – просипел Илия и выстрелил. В темноте полыхнуло, Рыжего выбросило из будки точно пружиной.

Дождь и ветер облепили его. Оглохший и ослепший, он прополз несколько шагов на четвереньках. Стал подниматься, и тут опять полыхнуло, сквозь рябь в глазах, – везде и страшно. Земля вздрогнула, удар грома пробил глухоту, Рыжего качнуло шквалом, и он побежал через поляну к лесу. Добежав до опушки, наткнулся в потемках на дерево, сполз по стволу

Сладкое бессилие охватило его, маня забытьем, младенческой безмятежной отрешенностью, защитой от страха и боли, от мира, от себя. Не вставать, не шевелиться, не открывать глаза. Пусть бушует где-то гроза, пусть скулит чья-то лодыжка и саднят ободранные о кору руки, пусть гремит гром, за которым не различить звук выстрела. Не ждать, не слышать, не помнить. Утонуть в забытьи, раствориться, исчезнуть и, может быть, очнуться в детской коляске, оттого что качнулась слишком резко – ее перекатывают через порог, туда, где теплые запахи и родные голоса, и впереди только хорошее…

Он очнулся от боли в лодыжке, с трудом заставил подняться застывшее тело. Крестик выскользнул из разжатого кулака; сердце захолонуло – мог не заметить, потерять... Распутал сбереженный шнурок, наживил колечко, заправил крестик под майку. Перекрестился, впервые в жизни, кажется. Еще раз на всякий случай. И еще – для надежности, чтоб три раза. Выглянул с опушки.

Над становьем всходило солнце, в рассветном тумане пятнами проступали трупы рейнджеров – два за кострищем, неподалеку друг от друга, третий – на другой стороне поляны, у самой лачужки. Они остались здесь, подумал Рыжий, в своем мире. Скоро начнут вонять. Но его здесь не будет. Не должно быть.

Внутренность лачужки скрывала тень, и Рыжий долго вслушивался, пытаясь вспомнить, уловил ли он звук выстрела в раскатах грома.

Хотел верить, что выстрел был – еще один, последний. Что Илья не лежит там, внутри, еще живой и беспомощный, истекая остатками крови. Не содрогается в агонии. Не застыл в посмертном окоченении и по глазам его не ползают муравьи.

Потому что он не сможет помочь ему. Не сможет добить. Даже похоронить не сможет.

Ильи там нет.

Отсиял.

Ушел за Надеждой.

Он выломал палку из тонкой березки, чтобы опираться при ходьбе. Отдирая ветки, подумал, что палка длинновата, хотел укоротить и оставил. Это шест. Он пойдет по трясине.

Дорогу к болоту он помнил смутно, но знал примерное направление и что это где-то недалеко. С палкой идти было не так больно, ходьба согревала. Бодрили всплески солнца над головой и собственная дерзость, бесповоротность выбора.

Нога потихоньку разошлась и не болела почти, словно рада была скорей попасть вместе с хозяином в правильное место. Добрый знак, обнадеживался Рыжий. *Там лечи* – не зря Синец говорил. Илья вон тоже… Долго ж ты запрягал, ну ничего, теперь уж точно, да, точно... Его подталкивало нетерпение; даже прибавил ходу, чтобы не растерять заряд решимости.

Обходя толстую, в лохмотьях лишайника валежину, зацепился взглядом за надломленную ветку, вдавленную в лесную подстилку. Слом был свежий. Да и саму валежину он вроде бы видел. А вот и след от палки… Для сравнения ковырнул рядом влажный еще опад.

Он был здесь. Он идет назад.

Нога обманула его, поразился Рыжий. Прикинулась здоровой и уводила обратно, к становью. Вот тебе и добрый знак.

Ты сам рад обманываться, обозлился на себя. Не болит – и разнежился. Думаешь, раз ты решил, так теперь все само собой как по маслу – без страха, без боли… По гладенькой дорожке… А страх-то никуда не делся, в тебе сидит, затаился поглубже и рулит втихую. Ага, по гладенькой дорожке…

Рыжий развернулся и пошел по своему следу, но быстро его потерял. Отпечатки подошв не держались на плотной подстилке, а отметины от палки приходилось искать нагнувшись, и все равно они были обманчивы. Он попытался хотя бы приблизительно представить, в какой стороне становье, и двинулся в противоположном направлении, стараясь не отклоняться.

Через пять минут он брел, через десять уже ковылял.

Поехали, поехали… по гладенькой дорожке… – неотвязно вертелось в мозгу. Это из детства, бабушка качала внучонка на ноге, припевая... Кажется, болел тогда…

Через двадцать минут он едва тащился, с передышками, пытаясь переступать только палкой и здоровой ногой.

По гладенькой дорожке…

(Шаг ногой, шаг палкой. Больную ногу тихонечко…)

По камешкам, по камешкам… (Сейчас он повернет и пойдет назад. Куда стремится нога. Где она не болит.) *По камешкам…*

Как там дальше?

По ухабам, по ухабам… по оврагам…

Нет, не так… ты пропустил…

По кочкам... по кочкам…

Вот и они.

Он увидел их в просвете орешника. Протиснулся через кустарник.

Да, то самое место. Вот здесь они сидели с Ильей – трухлявый пенек, поваленный ствол рядом. Ветка, которой Илия отмахивался от комаров; листья на ней пожухли.

Что дальше?

Рыжий уставился на травяные бугорки с торчащими зелеными ершиками, разбросанные по тихой темной глади. В прошлый раз здесь были просто отдельные лужи, теперь они расползлись, соединяясь проливами; вода поднялась после ночного ливня. К лесной свежести примешивался застойно-гнилостный запах, и Рыжий опять подумал про трупы рейдеров. Он к ним не вернется, ни к мертвым, ни к живым.

Может, поискать обход? С больной ногой? Не зная, в какую сторону идти и как далеко тянется болото? А тут метров двадцать всего-то – вон он, лес, на той стороне...

А главное, здесь прошел Божен. Пришел сюда и ушел отсюда. Илья прямо об этого не утверждал, но не зря же таскал сюда Рыжего, не за орехами. И потом на эту сторону Божен точно пришел через болото. Значит, перебраться можно.

Солнце поднялось над деревьями, согревая и раскрашивая мир. Зеленые островки, разбросанные по тихой воде, цвели в его лучах, напоминая таинственный архипелаг в океане. Рыжий видел в интернете такой снимок, сделанный с самолета где-то в теплых морях.

От этого воспоминания заныло в груди – сейчас он очнется от этого безмятежного солнечного кошмара и обнаружит себя дома, в расшатанном кресле перед компьютером, сидя в котором, он тысячи раз гулял по свету, без риска переживая самые драматические приключения… Он почти поверил в это и посмеялся над собой.

Он ничего не знал о болотах, но ясно, что надо идти по кочкам. Их много, они недалеко друг от друга и выглядят вполне надежными. Они и должны быть надежными, раз Божен тащил по ним велосипед. И почти дотащил – когда шел сюда, и на обратном пути с собой прихватил, не бросил. Видимо, решил, что надо лишь миновать опасное место, где он первый раз ухнул, а дальше кочки выдержат, проверено. Знать бы еще, где оно, это место…

Рыжий судорожно вздохнул, собирая всю свою решимость. Попробовал ступить на правую ногу. То ли он притерпелся к боли, то ли нога отдохнула и как будто слушалась. Болела, конечно, ну, боли, боли – не пожалею.

Все чего-то ждал. Не забыл ли чего? Смешно. Что он тут может забыть, кроме березовой палки. Присесть на дорожку? Бабушка всегда напоминала, провожая их на юг, к морю… Не стоит – придется вставать. Она еще крестила их на дорогу.

Перекрестился, потревожив вьющихся у лица комаров. (Не кусают, и черт с ними, лишь бы в глаза не лезли… прости, Господи.) Еще и еще, для верности.

Ну, хватит тянуть.

Тыча перед собой палкой, Рыжий выбрался на мысок; мертвая слежавшаяся трава пружинила под ногами, здесь, у воды, влажно почавкивала.

До ближайшей кочки он мог бы почти дошагнуть, порезче оттолкнувшись. Но приземляться придется на больную ногу, готовься... Рыжий вдавил шест до упора в мягкую почву, ухватился покрепче и оттолкнулся руками и левой ногой. Правая лодыжка взвыла под тяжестью тела, но он уже стоял на обеих ногах, утопая по щиколотку в шуршащей травяной подушке.

Вот и технология, подбодрил себя, пережидая пик боль. Да не так уж и больно, просто надо не спеша, с оглядкой. Осторожно подтянул к себе палку.

Следующий пролет шире, метра два, но и кочка поосновательнее, выглядит вполне гостеприимно. Далековато все же. Если положить шест на обе кочки, по длине как раз, и держась за него… Ни за что. Он и купаться мог только в прозрачном море или в бассейне, его в речку-то не загонишь – там сплошные коряги да железяки и не видно ни черта. А уж здесь-то… Он не знает, что за хрень таится под слоем тихой черной воды, и знать не хочет.

Рыжий опустил шест в воду в направлении прыжка, нащупывая упор в основании кочки, на которой стоял. Продавив вязкую массу, палка уткнулась во что-то твердое. Какая-нибудь коряга или затопленный ствол, подумал он. Или камень. Или грунт. Или что тут вообще под ногами, хрен его знает. Не соскользнула бы. Проверить, надавив как следует, он не мог, держа шест на вытянутых руках. Пошатал из стороны в сторону, вроде не ерзает.

Взялся повыше, оттолкнулся, повис. Шест замедлился, описывая дугу, что-то хрупнуло, палка содрогнулась и просела, пробивая опору; ее повело вбок. Мгновение Рыжий был уверен, что плюхнется в болото, но палка, заглубившись, вновь уткнулась во что-то твердое и, довершая траекторию, не отклонилась далеко; отчаянно изогнувшись и волоча за собой шлейф мошкары, он попал-таки ногами на кочку. Кое-как выпрямился, перехватываясь по шесту.

Он осторожно развернулся вокруг здоровой ноги; просевшая дерновина хлюпала, но держала. Сердце колотилось, руки дрожали. Ноги

тоже дрожали, особенно здоровая, работавшая за двоих. Надо вытащить шест. Эта чертова палка чуть его не угробила, но она его все.

Дальний конец шеста крепко засел в грунте, похоже, застрял между корягами и не поддавался. Расшатать его, стоя на кочке, не получилось, не хватала размаха, но Рыжий сумел провернуть его вокруг оси и наконец сдвинул с места. Тянулось с усилием, шест зацепил что-то и тащил из трясины, похоже, не корягу, что-то более компактное… Череп, пронзила дикая мысль. Рыжий вспомнил, как хрупнула под ним палка, протыкая невидимую опору.

череп Божена

Этого не может быть, он не пролежал столько… А ты знаешь, сколько он пролежал? Ну, не череп, так голова… Ерунда! Он затряс головой, распугивая комаров. Если даже и так, что теперь – пойдешь назад? Тяни давай.

Он испытал облегчение, когда неведомая помеха сорвалась, так и не появившись на глаза, и конец шеста показался над водой, облепленный жидкой тинистой массой.

Хорошо бы дать отдых ногам, но, стоя на кочке, не получится. И сесть невозможно. Надо идти дальше, пока есть силы передвигаться и терпеть боль. Самое опасное место он миновал *(в отличие от Божена?)*. Не думай об этом, не смей.

Рыжий поглядел вперед, оценивая оставшийся путь. Берег оказался ближе, чем он ожидал, – перед кромкой леса тянулась чистая, без подозрительных луж, полоса травы. Ему даже почудилось что-то вроде тропинки, ведущей от опушки к упавшей в болото лесине (хотя кому тут ходить, кроме лесных зверюшек...). Гнилой ствол с торчащими огрызками сучьев вдавался в болото притопленной вершиной, образуя подобие мостков. Это упрощало задачу.

Надо дойти вон до той засохшей сосенки, ее корневище выступает из воды, значит, опора надежная. Оттуда он переберется на это топлое дерево. Между ними, правда, здоровенная мочажина, метра три воды, и кочек подходящих вокруг не видно, не обойти, но он уже приноровился, перемахнет. Дерево хоть и гнилое, но не насквозь же, не развалится. Ну, просядет, не страшно, он будет держаться за сучья и выберется по стволу.

К сосенке Рыжий подобрался без происшествий, здесь кочки были натыканы чаще; когда бы не нога, он прошел бы по ним гуляючи, а так приходилось подпираться шестом.

Он ступил на кочку с сосенкой и, держась за сухой стволик, потянул за собой палку, увязшую в трясине. Стволик качнулся с пугающей легкостью, кочка под ногами накренилась и просела. Рыжий инстинктивно навалился на шест, выправляя крен, и кочка сдвинулась по воде в противоположную сторону. Он успел оттолкнуться от шеста, чтобы не рухнуть в трясину, и теперь до него было не дотянуться. Кочка вздрогнула, словно остановленная невидимым якорем, и начала погружаться; сосенка выпрямилась и качнулась в обратную сторону, и Рыжий ощутил, как вода заливает ноги и выворачивается из-под подошв хлипкий узелок корневища.

Притопленное дерево маячило на краю зрения, такое близкое в своей космической недостижимости, – Рыжий и не пытался, он смотрел в воду, в рябящую черную гладь. Она наклонилась ему навстречу, и на поверхность выпрыгнул солнечный блик. Он дробился, кипел, как шипучая таблетка, и не таял – разрастался, застилая обзор.

Это не Рыжий (он смотрел, завороженный, в сияющую бездну), кто-то другой за него отдал приказ телу, или тело само попыталось спастись – оттолкнулось от утлой опоры, стараясь скользнуть по воде плашмя как можно дальше, к дереву. Но толчок не удался, ноги соскользнули в какую-то вязкую жижу, потянув за собой туловище, и Рыжий провалился в черноту.

Он рванулся наверх, успел высунуть голову из воды и глотнуть воздуха. Ноги увязли глубже и потащили назад. Колотя руками, он наткнулся под водой на какую-то ветку, подтянулся и почти вытащил одну ногу из вязкого плена. Ветка сломалась, но подвернулась другая, целый сук, он вызволил-таки здоровую ногу и увяз ею снова, вытягивая вторую. Воздух в легких кончился, в панике Рыжий опять рванулся и, увязая глубже, ощутил под подошвой что-то жесткое и узкое. Наступив на него, вырвал из трясины одну ногу, потеряв при этом кроссовку и рассадив голень о какую-то корягу. Заваливаясь в воде вперед, ухватился на нее, скользкую, рогатую и неожиданно твердую, как железяка, облепленная тиной. Помогая руками, поставил на нее свободную ногу и, уже захлебываясь, выдернул из трясины вторую и вырвался на поверхность. Давясь и кашляя, забил руками, дробя черное зеркало, словно пытался взлететь с поджатыми по-птичьи ногами, и опять ухнул с головой. Темнота сомкнулось нал ним, оставив слабый брезжащий блик. Захлебываясь водой и рвотой, он бил руками, хватался на какие-то ветки, они ломались, и тьма поворачивалась, следя неотступным бледным оком, а он все хватался, тянулся на этот бедный негаснущий свет.

– ...Может, повернуть его?

– Хочешь рожу подпалить? Вон как раскочегарили – и ахнуть успеешь.

Живой, медленно докатилось до сознания Рыжего.

Он лежал на боку, лицом к опушке, и ощущал спиной жар и видел тень от себя и блики от костра на деревьях. Кажется, он уже видел эти деревья с болота, но теперь, в сумерках и лежа прямо под ними, не был уверен. Кто эти позади него? Спасители? Рейдеры? Перешел он болото или нет?

Во рту стоял вкус тины и рвоты, но лицо и руки были чистым, будто его окатили водой и обтерли. Одежда была влажной, лишь куртка на спине уже подсохла и прижигала кожу. И не было сил повернуться, подать голос – словно проглоченная черная жижа разлилась по всему телу, сковала свинцовой немощью.

– А может, повернем? Вон пар от спины идет.

– Лучше, чем рожа горелая. Видал таких? А я видал.

Голоса тревожили, бередили память, или не голоса – сказанное?..

– А спина пусть прогреется. И от простуды хорошо, и вообще. Припечет – скорей оклемается.

– Ну-ну, эскулап… Ладно, хоть головешки подвину.

Сзади поворошили в костре, жар ослаб.

– Долго он чего-то… – сказал первый голос. – Совсем дохлый будто, только что дышит.

– Ничего себе дохлый – в палку-то вцепился, еле вырвали.

– А с тех пор и лежит, не шелохнется.

– Это от страху.

– Чего от страху? Проснуться боится?

– Или не проснуться.

– А-а…

Что-то приближалось, шурша по траве и поскрипывая. Мягко звякнуло металлом о дерево.

– Ездит? – спросил первый голос. – Не убился в темноте-то?

– С фонариком нормально, – ответил кто-то третий. – От тины отмыл, руль выправил – везет как новенький. Жаль, насоса нет, камеры слабоваты. Да гайки подтянуть бы еще. А так хорошая машина. Но в хозяйстве бесполезная. Много ней не увезешь – так только, для покатушек.

– У тебя одно хозяйство на уме. Не все ж такие практичные, кому-то и покатушки – по молодости. Да и для здоровья опять же.

– Ага, вот он и лежит, оздоровился.

– А может, это и не его велосипед, – еще один голос, благозвучный, приятно расслабленный. – Может, хозяин в болоте лежит… Глотнете?

– Хватит мне… Ты это серьезно?

– Да не слушайте вы его, – сердито-усталый голос. – Это ученый юмор такой. Не привыкли еще? Я привык.

– А-а… Он со всеми так шутит?

– Со студентами особенно. А тем куда деваться.

– Дозированный юмор, – благозвучный голос на секунду прервался, сладко выдохнул, – освежает восприятие. Что, в свою очередь, помогает усвоить материал и трезво оценить факты. Вот в нашем случае – кто вам сказал, что он был один? Может, просто повезло ему – последний тонул, мы застали и успели вытащить, а остальные к тому времени уже…

– Ну и где твои факты? – уличил сердитый оппонент. – Полболота шестами истыкали, только велосипед и нашли.

– Разве тут все протычешь. Может, там дальше еще один труп. И еще один велосипед. Или не один.

– Нелогично!

– Ага, поэт взывает к логике…

– К ней самой. А логика говорит: один идиот на велосипеде – еще куда ни шло. Но чтоб двое или целая компания на велосипедах по болоту!..

– Идиотизм заразителен, – опять задержка дыхания, глоток, выдох. – Коллективный психоз, аберрация сознания…

– Ну да, у нас у всех аберрация, у тебя одного трезвый взгляд.

– Озноб пробирает от ваших шуток, – укорил женский голос. – Философ, о православии да о святынях книжки пишете, а тут ради красного словца…

– Каюсь, каюсь… Что поделаешь, одна из базовых черт русской ментальности, – к благодушию в голосе подмешались патетические нотки. – Во всем – через край! Наш путь, наш крест, наша энигма…

– Закрой уж фляжечку, – посоветовал оппонент, – пока не совсем через край.

– Меру знаем.

– Вот и ладно, а то утром грибов не разглядишь. Чайку вот заварим, да погуще…

За спиной Рыжего возникло движение, на деревья упала неясная тень.

– Не усну теперь, – пожаловался женский голос. – Думала подремать до света, а тут эти разговоры. Так и кажется, будто кто-то там, в трясине, на самом дне, лежит и зовет, зовет…

– Зовет?.. – рассеянно отозвалась другая женщина.

– Наверняка приснится. Еще во сне и в болото нырну, спасть полезу, чего доброго... А ты все переживаешь? Не ловит?

– Сигнал странный какой-то. То появится чуть живой, то совсем исчезнет… как с другой планеты.

– Ну и брось, только зря батарейку посадишь.

– Да как бросишь? Он думал, успеет, да эта чертова работа его, вечно что-нибудь непредвиденное… Место он примерно представляет, хотел с дороги позвонить, и тут нас догнать. Наверняка и подъехал уже, а где искать не знает. Вот и тычусь – вдруг прозвонимся…

– Утром выйдем на место, там ловит. Найдетесь. Побереги батарейку.

Рыжий лежал неподвижно, без сил и воли. Голоса проходили сквозь сердце, от них наворачивались слезы.

– Заварка поспела, – оповестил оппонент философа. – Кому чифирьку? Может, и парнишке горяченького, а, медицина? Или чего покрепче ему?

– И того и другого, – постановил второй голос. – Из фляжки и заварки чистой – пополам.

– Не круто?

– В самый раз будет.

– Ну, как скажешь.

– Да вы обалдели, мужики! Совсем еще мальчишка, нашли лекарство!

– Тихо, тихо, дамы. Вот и хорошо, что молодой. Пусть тряхнет его как следует, залежался, разнежился.

Рыжий услышал шаги и зажмурился.

– Прошу посторонних покинуть операционную!

– Не обварите там!.. Придержите крепче!

Кто-то присел напротив и взял его за подбородок, раздвигая челюсти. Кружка прижгла губы, во рту полыхнуло. Рыжий рванулся, но чужие руки стиснули голову, пламя пролилось в горло и хлынуло внутрь, выжигая черноту.

– …Просыпайся, пора.

Рыжий сел на хрустящих ветках, прикрытых полиэтиленовой пленкой. Занимался тусклый рассвет, в воздухе висела мелкая морось, дымился туман над болотом, дымился прогоревший костер. На обгорелой рогульке торчала кроссовка.

Человек в толстовке с капюшоном стоял у костра и давил палкой непогасшие угли.

– Водички хочешь? – выудил из кармана пластиковую бутылочку.

– Спасибо, – прошепелявил Рыжий, отпив. – Это вы меня спасли?

– Мы, мы. Ну-ка, – человек в толстовке потянул пленку из-под Рыжего; тот поневоле поднялся, стоял босиком.

Вокруг костра он не увидел никаких следов ночной компании: ни банок, ни пакетов, ни окурков. И этот человек был совсем без вещей, налегке, будто ехал мимо и вышел в лесок поразмяться, а рядом, на шоссе, стоит его машина.

Ошпаренные губы болели, язык и небо начали облезать, в ушах позванивало, но в целом, Рыжий чувствовал себя не так уж плохо. Одежда почти высохла, и нога пока не беспокоила. Правда, чесались руки и шея, накусанные комарами. Но главное, ушло то жуткое ощущение проглоченной болотной жижи, пропитавшей все тело черноты, одно воспоминание о котором тяготило, как неостывший еще ночной кошмар.

Может, и вправду пригрезилось – как эти ночные голоса…

Человек у костра был один.

– А вы… кто?

– Грибник.

Не называет имени, подумал Рыжий. Он не узнавал этого человека, но лицо его, ускользающее в рассветной хмари, в тенях капюшона, смутно кого-то напоминало, и неузнавание тревожило. Как если бы встретил кого-то через много лет и не мог вспомнить – виделись ли когда, друг это, враг? Рыжий поймал себя на том, что избегает заглядывать в это лицо, отводит глаза.

– Доедешь, – грибник качнул головой. Рыжий обернулся к увидел велосипед, укрытый от дождя под деревом. – Тут подальше, за мыском, просека. Заросла, но проедешь до грунтовки. А там и на трассу. Разберешься. Кроссовку не забудь. А босую ногу замотай, – вытянул из кармана какую-то тряпицу, сунул Рыжему, – а то педали с шипами. Ладно, пора мне.

– А вы куда?

– Своих догонять.

Значит, не пригрезилось.

– Вперед ушли. Забредут еще без меня… – Грибник накинул полиэтилен на плечи и шагнул с из-под деревьев. Дождик как будто повеселел, по прозрачной пленке заскользили, запрыгали влажные блики.

– Погодите! – решился Рыжий.

Грибник обернулся. Встающее из-за леса солнце плавило туманную хмарь, высвечивая его фигуру в ореоле искрящихся капель.

– Мы увидимся? Где вас найти?

– Меня чего искать, себя не теряй. Да спи меньше, – в его голосе пролилось скупое тепло. – Глядишь, свидимся еще.

Двинулся к болоту, миновал поваленное дерево, сошел с травянистой кромки.

Таким и запомнился: силуэт в жемчужном свечении дождя, шагающий напрямик, не выбирая дороги, не глядя под ноги, по черной рябящей глади.

VI. Здесь

Мир не изменился в его отсутствие, принял Рыжего буднично, словно и не заметил отлучки.

Грузовики и фуры не желали отвлекаться на подозрительного велосипедиста с замотанной в тряпку ступней, голосующего под дождем на обочине. Автобусы его тоже не замечали. Заметил патруль ДПС; велев снять колеса, мутного парня доставили вместе с велосипедом на стационарный пост, дали позвонить.

Отчим приехал на своем левиафане, перетер в сторонке с гаишниками. По пути в город Рыжий повторил ему облегченную версию: поехал за грибами, залез в болото, заблудился. Да, на велосипеде, а что? От перекуса в кафе Рыжий отказался, но в городе они заехали в обувной за новыми кроссовками и вполне мирно в дороге пообщались, так что отчим остался доволен и сунул деньжат.

Мать поохала, но Рыжий понимал, что его и хватиться-то не успели и эти ее переживания – задним числом. Она просто рада, что жизнь лишь чуть споткнулась и выправилась раньше, чем она успела испу-

гаться. Вот и с отчимом у сына как будто налаживается, вот же приехали вместе. А чего он, собственно, ждал? Если честно, и сам испытывал похожее чувство. Отчим сразу уехал на фирму, Мышка была в школе или на каких-то очередных курсах; визит не затянулся. Мать выгрузила на стол полхолодильника и пыталась оставить его ночевать, но Рыжий, приняв душ и пожевав без охоты бутерброд с какой-то рыбой, отбыл к себе на съемную квартиру.

В маршрутке испытал внезапный, жуткий, до головокружения, приступ голода – на ближайшей остановке мотнулся к киоску; одной рукой роняя сдачу, другой пихал в себя полусырую шаурму. Домой купил хлеба и колбасы с сыром, глотал, пока не вырвало. Потом, обессиленный, заснул.

Утром проснулся голодный, завтракать не решился, потащился в офис. Его даже толком не наказали за прогул, посмеялись над объяснительной (заблудился в лесу? ну-ну), урезали премию да подвалили работы. В обеденный перерыв съел в кафе напротив порцию пельменей, потом еще одну. Больше его не тошнило.

Первые дни прислушивался к себе; лодыжка не болела, припухлости как не бывало, на подошве еще не загладились ссадины от шипов на педали, но уже зарастали и не беспокоили при ходьбе. В организме все встало на свои места.

И в голове вроде тоже.

Он так же бездумно скользил по сети, забредал на привычные сайты, прощелкивал незадевающие новости – лишь затем, чтобы убедиться: мир не изменился в его отсутствие. Да и что в нем могло поменяться за три дня? Так же катится куда-то, стабильно-неуправляемый, привычно-тревожный и равнодушный к себе и к Рыжему. Нет, мир не изменился. Мир в норме.

Осознав это, Рыжий пришел к заключению, что сам он тоже не изменился. Бог с ним, с миром, ему бы здесь, в офисе, разгрести за день свою рутину, чтобы не сорвать график выпуска и не торчать тут до ночи.

Не сорвет. Он в норме.

И все будет в норме, если не задавать себе ненужных вопросов.

За пару недель он достаточно утвердился в этой мысли, и пора было выдернуть последнюю занозу. Велосипед. В день возвращения он остался в багажнике у отчима, и, хотя Рыжий не просил, тот сам завез его позже, закрепляя общение. Свернутый набок руль, колеса отдельно, велосипед торчал какое-то время в передней, хозяйка ворчала, пришлось забрать в комнату, теперь он маячил перед глазами – навязчивое напоминание, ненужный вопрос. Пора было расставаться. Он только не мог решить как.

Просто выбросить, оставить на улице или во дворе у мусорного бака? Виделось в этом что-то нечистое; наряду с тягостным чувством Рыжий испытывал к велосипеду нечто вроде сентиментальной благодарности – все же эта безответная железка спасла его.

Продать? Подарить? Тогда придется объяснять происхождение велосипеда. Правду не скажешь (в болоте нашел? серьезно? а больше там нет?), а при его бездарности по части вранья чего доброго и в сбыте краденого заподозрят. И если глубже, по совести, то и вправду откуда у него право распоряжаться чужим? Было бы удобнее считать велосипед ничейным, но как убедить себя в этом, не попытавшись найти хозяина. Хорошо бы имя Божена оказалось выдуманным. Но если он действительно отыщется – живой или…

Рыжий не знал, чего боялся больше.

С живым придется встречаться. И всколыхнется, взбаламутится в душе все то, что он хотел – и почти удалось уже – запереть в темном уголке памяти и не заходить никогда: пусть покрывается пылью, затягивается паутиной, порастает быльем… Если Божен жив, они замкнутся, как два проводка, дотянувшихся *оттуда*, и как знать, не обожжет ли вспышкой, удастся ли заживить ожог.

Если же Божен погиб…

Но в том-то и дело, что никто не может этого знать, кроме Рыжего. Здесь, в этом мире, Божен мог только пропасть без вести.

При этой мысли у Рыжего потели ладони, чудилась клонящаяся навстречу черная гладь и шершавая дрожь шеста, проседающего в трясину, рывком, с *костным* хрупом. Но чувство, которое он при этом испытывал, было не только страх. Была и тоска, будто глядел он вслед себе, уходящему.

В такие минуты он понимал, что все это самообман – нет, не забудется, не порастет быльем. На работе понимание отступало, и в конце дня он не спешил домой, охотно засиживался в офисе, разбавляя текучкой душевную муть. Но день кончался, близких друзей у него не было, посиделки вне офиса, с забавными пьянками и необременительными интрижками, не манили, как прежде, и он возвращался к себе. К себе другому.

У него появилось и крепло ощущение, что и наедине с собой он не может остаться один. Словно вместе с ним *оттуда* пришел еще кто-то и этот кто-то неотступно находится рядом, вслушивается в его разговоры, наблюдает поступки – молча, не осуждая. Просыпаясь ночью, Рыжий нащупывал на шнурке крестик и, зажав в кулаке, пытался молиться. Не знал, о чем попросить; Господи, помилуй, без всякой надежды шептал в темноту.

Однажды ночью решился: вбил в поисковик «кино массовка божен».

Он без труда нашарил Божена в соцсетях, три аккаунта. Имелся еще заброшенный блог – свалка из репостов и собственных пафосных рассуждений на тему кино, жизненного успеха, здорового питания, брендовых шмоток и духовного раскрепощения. Возможно, раньше что-то отсюда и привлекло бы внимание Рыжего, но не теперь, не теперь.

Пощелкал фотки Божена со съемок с его же пояснениями. Разведчик в белом маскхалате с ППШ наготове высматривает врага из-за сугроба. Вампир с грустными кругами у глаз в стайке прочей нечисти. Карманник с благородной осанкой, в костюме-тройке и канотье, с отсутствующим выражением на лице запускает пальцы в дамскую сумочку. Лохматый мужик в коленопреклоненной толпе, в расхристанной власянице, с перекошенной, будто на ветру, бороденкой, истово осеняет себя крестом... Во всех сценках Рыжему чудилась неубедительная трафаретность и фальшь, но, в конце концов, не народный артист, дадут мелькнуть в кадре на секунду-две, и ладно, кто тут разглядит.

Задержался на фотках в реале. Божен в компаниях: жарит шашлык, бренчит на гитаре, произносит тост, отжигает на танцполе с какими-то девицами… Без грима он нравился Рыжему еще меньше; удлиненные черты казались радражающе правильными, даже в улыбке Божена мерещились напускная задумчивость и томность с претензией на аристократизм. Рыжий встречал таких: мнят себя утонченными натурами, с ленивым видом изрекают банальности, а девчонки им в рот смотрят. Перед такими он тушевался и злился на себя.

Да тебе какая разница, подумал с досадой. Твое дело вернуть велосипед, и все. Ищешь повода не встречаться? Еще захочет ли он. Ни в блоге, ни в соцсетях он не появляется уже месяца полтора, всхлипы типа «Божка, ты где?» висят без ответа. Может, с ним что-то случилось? Ну, не в физическом плане, а… как с тобой.

Со мной ничего, сказал он себе. Не захочет – мне же проще.

Божен за компьютером. Божен на пробежке (он перед каждым снимком пробор наводит?). В спортзале. На велосипеде. На том самом. На этом.

Рыжий написал на все адреса. Три дня Божен молчал, на четвертый ответил.

Сентябрь расщедрился на прощальное тепло, все скамейки в сквере напротив Нижегородского кремля были заняты. У фонтана возилась стайка детишек под надзором стильных мамаш; струйный купол искрил на солнце, взбивая кисею тумана. Мелкий мальчишка с хохотом пулял из водяного пистолета, возбудив заполошный галдеж.

Рыжий устал ждать. Мороженое он уже съел и хотел еще, но не решался покинуть место на краю скамейки и тащиться с велосипедом к киоску. Теперь он догадывался, почему Божен назначил встречу в сквере на центральной площади города. Здесь Рыжего с его велосипедом легко узнать издали, и Божен он имел возможность присмотреться к нему со стороны, оставаясь незамеченным среди зелени и многолюдья.

Наверняка уже где-то тут, оценивает, колеблется, подумалось Рыжему. А как бы ты поступил на его месте, если тебя нашел кто-то *оттуда*, – упал в объятия? Ты и сам не сразу решился.

Все же пора его подтолкнуть. Рыжий поднялся, демонстративно огляделся и двинулся по аллее, ведя велосипед за руль. На выходе из сквера кто-то сзади похлопал велосипед по седлу: «Привет». Будто поздоровался не с Рыжим, а с велосипедом.

Божен оказался ниже, чем представлялось по снимкам, но все равно повыше Рыжего. Небесно-голубая рубашка, бриджи в светлую клетку. Черные зеркальные очки, золотая цепочка в распахе воротника.

– Елисей, значит? Тебя и там так звали?

– Там? Лис… – растерялся Рыжий.

– Ага, – кивнул Божен. – В самую масть. И необидно. Добренькие они там…

– Да ведь и ты не Божен, – кольнул Рыжий; он уже комплексовал перед этим хлыщом в мажорных шмотках. На заброшенные аккаунты заглядывали не одни доброжелатели, в давно нечищенных комментах стебались и над настоящим именем Борьки Жевакина.

– По паспорту да. Только важнее, как ты сам себя. Вот ты кто для себя? – Божен говорил он вальяжно, с обволакивающими интонациями; не зря, видать, с актерами терся.

– Какая разница, – не поддался Рыжий. – Бери велик, да и все.

– Ты что ж, думаешь, я за ним пришел?

– Так зачем?

– Затем же, зачем и ты. Убедиться.

– В чем?

– Что это не кончилось.

В очках Божена отражались лица и спины прохожих, улица позади Рыжего, ползущие через зебру машины. Но Рыжий видел лишь случайную

рябь, блики на черной безмолвной глади, вглубь которой взгляд его проникнуть не мог.

– Вот так, повезло, в общем… А ты? – Рыжий отхлебнул остывшего кофе; кажется, никогда он не говорил так долго.

Они сидели в летнем кафе с вынесенными на тротуар столиками. Велосипед стоял рядом, прислоненный к декоративной решетке ограждения. Божен приканчивал пятую чашку. Сидел в небрежной позе, приставив стул к столику боком и положив локоть на спинку.

– Ты-то как выбрался?

Божен разглядывал осадок в чашке. Усмехнулся чему-то своему.

– Крылья, говоришь? Запомнили…

Что-то в его тоне изменилось. Снял очки, снова надел. Он уже не первый раз снимал и тут же надевал их, и Рыжий успел заметить, какие тревожные, запавшие у него глаза. Сейчас Божен казался старше, чем на фотографиях: осунувшееся лицо, сухая вялая кожа. Щетина на щеках не выглядела стильной, скорее неряшливой, как и запущенная шевелюра со смутным намеком на пробор. И он ни разу не потянулся за расческой, подумалось Рыжему. И пальцы подрагивают.

– Шутил я тогда, хорохорился. Брякнул не думая, а вышло…

– Что вышло?

– А то… – Божен наклонился к Рыжему и прошептал: – Растут.

Рыжий замер, уставясь в его очки; казалось, из-за зеркальной ряби ему подмигнуло безумие. Хотел отстраниться, Божен придержал за руку.

– Вот ты зачем пришел? А я тебе скажу. Пресно тебе здесь. А там страшно было. Но теперь боишься, что чего-то там не уловил, проворонил. Хочешь забыть, да не можешь. И понять не можешь… А второго шанса не будет. И грызет… Вот и пришел ко мне, ведь я тоже там был, может, понял что-то... И как с этим жить… или забыть. И тебя научу… Так?

– Ну, были мысли, – пробормотал Рыжий, – всякие…

– Меня бы кто научил… Я их чувствую, понимаешь? – Божен повел плечами, будто озяб. – Сплю на боку, чтобы не помять. Как ни складывай, все равно торчат, выпирают. В дверь прохожу – поджимаюсь, боюсь косяк задеть. В магазине людей сторонюсь, на кассе бочком, бочком – скорее бы проскочить.

Точно, подумал Рыжий, пока они дошли до кафе, Божен странно маневрировал, словно старался разойтись с каждым встречным на максимальной дистанции, да и от Рыжего держался дальше, чем это нормально для двух человек идущих вместе. И на стуле вон в такой позе…

– Так ты потому боком сидишь? Спинка мешает?

– Все мешает. Массовки забросил, от всех прячусь, – там толкучка, колготня… а куда мне с этим! Тесно мне с ними…– Божен, отпустил, почти отбросил его руку. – С людьми тесно.

– Но я не вижу ничего, – сказал Рыжий. – А ты видишь?

– В том-то и дело, что нет. Во сне только… И никто не видит. И не чувствует никто. Задену кого в толпе или просто вплотную разминемся – меня как наждаком по коже, а он и не ощутил ничего, просто мимо прошел.

– Что, такие большие?

– Если расправить, то… – Божен развел ладони на полметра от плеч. – И растут, растут...

– А может, ты это… зациклился, что ли, – осторожно предположил Рыжий. – Ну, в смысле засело в голове, думаешь о них постоянно, вот и…

– …мерещится? Да если и так! Каждый день перед зеркалом кручусь – не появились ли? Нет, не вижу! И не знаю, радоваться мне или в психушку сдаваться… – Божен помолчал. – А вдруг увижу однажды – что тогда, а? Какие они будут – вот вопрос…

– В смысле?

– Ну… Как у ангелов на картинке – белые, или…

– У падших ангелов тоже крылья вроде… – вспомнил Рыжий и прикусил язык. Вспомнились слова Лучезара про клещей с крыльями. В своем рассказе Божену он опустил эту подробность.

– Ага, – ухмыльнулся Божен. – Черные.

– А во сне – какие видишь?

– Не помню, – сказал Божен, и Рыжий кивнул, слишком поспешно. – Не веришь?

– Ну почему, верю…

– А я в ангелы не собираюсь – ни в светлые, ни в черные! Что – без этого теперь никак? А посерединке нельзя – просто человеком?..

– Человек – это что-то… временное, – Рыжий сам не знал, с чего это сказал, и его обдало холодом от непреложности этой вечно потаенной и вдруг выскочившей мысли.

– А дальше, значит – либо ангел, либо бес из меня вылупится? Так, что ли?

– Ну, не знаю… как получится.

– У кого получится – у Бога?

– У тебя, наверное… с Божьей помощью... – добавил Рыжий без уверенности.

– А если не с Божьей? – наседал Божен. – А! – махнул рукой, словно перечеркнул ответ.

Оба замолчали.

– А как выбрался, говоришь… – Божен переменил тему. – Я как в угаре был, как во сне... этим и спасался. Не может же такого быть в нормальной жизни. Чесотка эта – клюкой скребешь, скребешь по спине – кажется, до хребта уже доскребся… И голод, голод… Они ж там не жрут – травки пожуют, и ладно, а то и вовсе не заморачиваются. Вот и мне: потерпи, мол, на зелени посиди, глядишь, и само расхочется. Да какой тут потерпи!.. На птичье гнездо набредешь или лягушку поймаешь – жрешь и думаешь, сейчас стошнит… но ведь во сне стошнить не может, верно? И погибнуть во сне нельзя... а оно бы и лучше, думаешь. Ну, не умереть, а исчезнуть что ли... куда-нибудь, *оттуда*.

В голове только и стучит – вырваться, вырваться! А как, в какую сторону идти? По трассе – деревни пожженные, разгромленные, рейдеры расклеванные на опорах... Да ладно трупы – а на живых нарвешься? Но и не ждать же, пока сами явятся… Ноги и принесли на это болото. Велосипед мой лежит – весь в тине, ободья потемнели, втулки – ржаветь, что ли, начал? что-то быстро очень... Но колеса крутятся. Будто ждал меня старый друг и вот дождался, зовет: поехали скорей, валим отсюда! Меня как прострелило: а что – как попал сюда, так же и обратно. А какие еще варианты? Гляжу – болото вроде и не страшное, воды почти невидно – так, лужицы, проходы широкие. Жара же стояла, оно и усохло. Пройду!

Поднимаю велосипед. Понимаю, что с ним опаснее, но это вроде как товарища бросить. Да и спас он меня однажды, вдруг опять?..

Божен посмотрел на велосипед.

– Он и весит-то десять кило, найнер на карбоне, давно такой хотел, да на новый не размахнешься, а тут с рук подвернулся удачно. Вот и покатался... В общем, увязли мы. В конце, у самого берега.

– Возле упавшего дерева? – спросил Рыжий. – Большое такое, старое…

– Не было там упавшего. – Божен подумал. – Стояло одно отдельно, да, здоровенное, я на него и шел. Может, потом упало…Ты-то после дождей шел, болото и вспухло, и дерево подмыло, наверно. В общем, шел я все по сухому, вроде, кочек держался, и тут дерн как бумага рвется, нога в жижу по щиколотку. Мне бы назад, тихонько, а я вперед – рядом же! – рванул сдуру – другая нога по колено… Короче, опять велик спас, – Божен махнул рукой. – Как упал плашкой, так и ушел в трясину, пока я по нему, как по гати, на кочку выбрался да ползком, ползком, к тому дереву… На берегу оглянулся, а там только вода, черная, как стекло – осколок на зеленом. Вот думаю… – Божен хмыкнул.

– Что? – встрепенулся Рыжий.

– А если б я вперед не рванул, а назад, тихонько… Так бы там и остался? Тебя бы вот встретил, бродили бы вместе… куда бы забрели?

– Жалеешь все же?

– А ты? Если честно?

– Не знаю, – ответил Рыжий. И неожиданно для себя повторил: – Не знаю… пока.

– Вот и я не знаю, – кивнул Божен. – Пока. Пока что? Гром не грянет? Крылья не отрастут? И куда мне с ними – в психушку сдаваться? С Откоса сигануть?

Наклонился к Рыжему, очками в глаза:

– Вот ты велосипед мне привел, потому что забыть хочешь – а он напоминает. Думаешь, сбыл его с рук – и как бы ничего и не было. Только мне он не нужен. Мне, – Божен шевельнул плечами, будто их оттягивали лямки рюкзака, – своего хватает. Я вот думаю, лучше бы ты его там назад в болото бросил – может, он еще кого бы спас… а ты вот притащил. Может, он и предназначен для это – спасать… – Божен перешел на горячечный шепот. – Только сперва заманить должен… Заманит опять и спасет, а? Вот кого только? Не меня, не меня.

– Ты серьезно, что ли?

– А, пошутил, – сказал Божен обычным голосом, садясь в прежнюю позу. – Короче, мне он не нужен. Накатался.

– И что с ним делать?

– А что хочешь. Продай, подари, выкинь. Не мой он больше. А вот что нам делать?

Они помолчали.

– Разбегаться – вот что, – ответил Божен на свой вопрос. – Ничем мы друг другу не поможем, только душу травить. Выбрались, и ладно. Каждый сам по себе

Он отвернулся, высматривая официанта.

– Постой, – остановил Рыжий, – может, мы не одни вернулись. И вообще они… были? Здесь, в этой жизни?

– Спасибо, подсказал. А то я не додумался.

– Искал? Нашел кого?

– Почти. Илью этого. Он самый приметный был, одна рожа чего стоит, и взгляд такой – только дырки сверлить. Сразу видно, какого поля ягода. Ну, я поспрашивал аккуратно – та еще фигура... Только последнее время не видели его. Вроде бы что-то с личной жизнью не сложилось, а может, в какие-то дела ввязался.

– И где ж он?

–То ли угрохали его, то ли в Испании пузо греет, то ли на Донбасс подался за Русский мир воевать... Слухи разные. Докапываться себе дороже, могут и нос прищемить – так, на всякий случай. На меня уж и так поглядывали: а тебе-то, мол, зачем? А и правда, думаю, – зачем? Ну нашел бы я его – и что? Он и послал бы меня – в лучшем случае. Вот ты меня нашел – легче стало? Бросил я это дело. И ты брось.

– Да хоть понять, где они все сейчас – там или здесь? Вдруг тоже вернулись?

– Тебе-то зачем знать! Если они тут – то тоже друг другу ни к чему, как мы с тобой. А если там – им же лучше. Они же сами отсюда ушли.

Да, в этом вся разница, подумал Рыжий. Они сами ушли. А он не хотел… А сейчас? И сейчас не хочет. Так чего же он ворошит? Зачем?

– …А если кто и вернулся, – твердил свое Божен, – что ж нам тут – общество создавать? Уставимся друг на друга и будем гадать да мусолить, вопросы задавать… А их задавай, не задавай – все равно никто не ответит. Все ответы там остались. А тут каждый сам по себе. Одно ясно: то, что случилось, – не кончилось. Готовиться надо.

– К чему?

Божен не ответил; зябко шевельнул, то ли просто пожал плечами.

– Все, разбегаемся. – Постучал чашкой по столу. – Заплатишь за безработного.

Они вместе покинули из кафе, и ни один не оглянулся на велосипед, прислоненный к декоративной решетке.

Держась рядом в потоке людей, вышли на площадь перед древним кремлем, вдоль дышащих теплом стен дошли до памятника Чкалову. Свернули на смотровую площадку, где стайка туристов щелкала мобильниками панораму Волги, сползающую по склону к реке восьмерку Чкаловской лестницы, космический силуэт собора на Стрелке.

В какой-то усталой отрешенности Рыжий смотрел правее, на восток, где дали безлюднее и не так заметно присутствие человека на земле. Взгляд отражался, как камешек, от водной глади и улетал за реку, на плоскую твердь, скользя по заволжским лугам, по темному ворсу неразличимых, угадываемых лесов, и дальше, за горизонт, занавешенный облачный дымкой...

где бредут они? по какой тверди – земной? небесной? куда?

Не разглядеть.

– Вот и я… – голос Божена заставил его очнуться. – Недолго уже…

Рыжий проследил его взгляд. В вышине, над слиянием рек, плыла, покачиваясь под апельсиновой кожуркой параплана, человеческая точка.

– Сигану вон с откоса, где покруче, а там… вверх ли, вниз…

– Зачем?

– Так растут же зачем-то – для чего ж еще? Все лучше, чем в психушку.

– Думаешь, не разобьешься – так их догонишь? – проговорил Рыжий. – Значит, сомневаешься все же, борьба в тебе идет.

– А в тебе не идет? – усмехнулся Божен.

Не дождался ответа. Кивнул на параплан:

– Представляешь, они там на протезах, а я – на своих!.. Уже ради этого...

Повернулся к Рыжему: черные провалы очков на усталом лице.

– Всё. Поболтали.

Несколько дней Рыжий избегал заглядывать в сводки происшествий. Потом сказал себе: глупо. Все равно узнает, сам или случайно. Что ж теперь, в интернет не ходить и телевизор не включать? Так и самому недолго до психушки.

Назло себе поискал инциденты с летунами. Последний произошел год назад: парапланерист взлетел с откоса и на него же упал, разбился насмерть. С тех пор ничего похожего в здешних краях не случалось. А когда случится (случится же, раз летают), так совсем необязательно с Боженом.

И вообще, при чем тут летуны? Может, эти крылья только у него в голове? Да наверняка! К тому же настоящий обрыв еще найти надо, тут в городской черте одни косогоры, скаты крутые, да, но не отвесные же. Ну разбежится Божен с горки, руками помашет и свалится, ну сломает себе что-нибудь, но не убьется же. Такая ерунда и в происшествия не попадет. Увезут в травму, и все. Или в психушку. Может, и к лучшему... То есть хорошего мало, конечно, но от тебя тут ничего не зависит.

А может, Божен прикалывается с этими крыльями? Заигрался там у себя в массовке, решил проверить на тебе свои актерские таланты. А ты и повелся.

Псих, не псих – в любом случае ты ему не нянька. В конце концов, он тебя просто послал, напомнил себе Рыжий, разжигая обиду.

Обида не разгоралась.

Божен решил сам по себе. Возможно, он и прав.

Но Рыжий для себя еще не решил. Не уверен.

И что дальше? Искать в сети безвестную Инну? Сантехника Алика? Смешно. Остальных он даже по именам не знает.

Профессор? В городе, как выяснилось, полсотни вузов и филиалов, он попробовал полазить по куцым полузаброшенным сайтам и плюнул.

Поэт Нем? Смешно.

Хотя… У литераторов вроде бы есть какая-то своя организация…

На местном писательском ресурсе нашелся список членов Союза с мутными портретиками: никого похожего на Нема. Но должны же его там знать, не могут же поэты совсем не общаться.

Старый деревянный домишко затаился в глубине квартала на задворках торгового центра. В коридоре с растрескавшимся линолеумом на двух дверях тосковали наклейки с надписью «аренда». Рыжий толкнулся в третью.

В крошечном кабинете за бэушным офисным столом, под портретом Пушкина, сидел пожилой атлет в синем костюме с металлическим отливом. Небрежным движением он сунул что-то в боковую тумбочку и прихлопнул дверцу. Сбоку стола притулился утомленного вида мужчина со шкиперской бородой, в потертом плаще и берете, с объемистым старомодным портфелем на коленях. При виде Рыжего он защелкнул

замки и сложил на портфеле руки. Рыжий уловил запах квашеной капусты и понял, что пришел некстати.

– Впервые к нам? Стихи? Проза? – Атлет вышел из-за стола, чтобы открыть форточку. В своем сияющем синем костюме и красном галстуке он походил на преуспевающего ведущего корпоративов.

– Где-то я тебя видел, – произнес шкипер медленным скрипучим голосом, доставая сигареты. – У меня на лито? Как звать, не припомню…

– Елисей, – растерялся Рыжий. – Какое лито?

– Литобъединение «Протока». Не был? Ну-ну… – шкипер утратил интерес к Рыжему и принялся курить, уставясь на Пушкина.

– Так что у вас? – поторопил атлет. – Рукопись? Оставляйте, запишем на рецензию. Фамилия?

– Да я, собственно, знакомого ищу… поэта.

– Какого поэта?

– Вот имя, понимаете… – зачастил Рыжий, чувствуя себя дураком. – Давно, с полгода как, наверное, вот и вылетело.

– На нашем сайте есть список членов организации с фотографиями.

– Смотрел, не нашел… Подумал, может, здесь его знают, раз он стихи пишет. Он такой сутулый, субтильный. И все щурится… Мы случайно познакомились...

– Где познакомились?

Действительно где, соображал Рыжий, не скажешь ведь: в лесу.

– Да… в бане, – вдруг брякнул. – С ним еще один был, профессор вроде, тоже книжки пишет.

– А! – проскрипел шкипер, кивнув Пушкину. – Ясно.

– Распевцев? – покосился на него хозяин кабинета.

– А кто ж. Они с профессором каждую неделю в парилку ходили. Зимой в общей, летом у профессора на даче. Крепко парились – то-то он имен не помнит.

– Распевцев… – пробормотал Рыжий. – Да, точно… А где его найти?

– Не в этом мире, – шкипер поплевал на окурок и бросил в корзину для бумаг. – Допарились они. Все там сгорело – гараж, дача. Генератор ли, проводка, а может, сами искру заронили. Угорели, видать, вот и не выбрались. Говорят, и костей-то не нашли, ну, может, врут… Тишков он вообще-то. Распевцев – псевдоним, так ему звончее казалось. А конец один. Silentium.

– Да, увы, – атлет сделал подобающее лицо, – поэта Распевцева с нами нет. И профессора Муравина тоже. Оттого и на сайте вы их не нашли. Так что… – он развел руками.

– Можно? – в дверь просунулась невзрачная девичья мордашка. – Ой, здрасьте… Я насчет сборника… сказали, готов?

– Заходи, заходи, – со вздохом переключился атлет в сияющем костюме. Он кивнул на подоконник, где лежала стопка тощеньких книжечек, похожих на брошюры. – Только из типографии. Поздравляем с дебютом.

Девица в осенней курточке со сбившимся на затылок капюшоном прошелестела через кабинет.

– Какие красивые!.. – стесняясь и торопясь, выхватила из сумочки ручку, принялась надписывать книжечки. – Это вам. И вам… А это для Давыда Марковича… И Олегу Алексеичу, особо, вот – передадите?.. А вам, – заметила Рыжего, – подписать?

– Э… конечно, пожалуйста… – растерялся Рыжий, уже в дверях.

– Да-да, пойдемте, пойдемте, – засуетилась девица, подхватилась следом, на ходу запихивая книжки в сумку. – Там подпишу, не будем мешать…

Дома Рыжий полистал книжечку, сунул в стол. Мысли были заняты другим.

Добравшись на рейсовом автобусе до рабочего поселка, Рыжий долго ждал попутку, подзяб на стылом октябрьском ветерке, побрел пешком по узкому пустынному шоссе в надежде, что рано или поздно кто-нибудь подберет. В течение часа увидел две машины, обе прошли мимо, сгоняя его на обочину. Следующий час он боролся с навязчивой мыслью, что каждый пройденный километр удлиняет его путь на два с учетом возврата; продолжал идти, убеждая себя, что если поездка окажется впустую, все равно она будет не зря. Он даже хочет, чтобы эта затея кончилась ничем. Он будет только рад. Он с чистой совестью скажет себе: я сделал все, что мог, на этом точка, тема закрыта. И сможет жить дальше.

Его подобрала компания охотников. В салоне «уазика» расположились благодушные мужики с рюкзаками и ружьями в чехлах и парой лаек, попахивало свежим алкоголем и мясной закуской. Рыжему набулькали из фляжки чего-то пахучего, он сладко обжегся, заел кружком салями.

Водитель, в потертом камуфляже, трезвый, узнав название деревеньки, нужной Рыжему, поинтересовался, зачем ему туда.

– Дом посмотреть.

Этот была единственная наводка, итог многодневного просеивания в сети ресурсов выживальщиков. Упоминание о продаже мелькнуло на одном из форумов среди обычного трепа. Рыжий бы и не зацепился, когда бы не добавление вскользь, что с домом, по слухам, не все чисто, хозяин, что ли, пропал без вести, потому и взять можно задешево.

– Дом, говоришь? Это который на отшибе, у оврага? Так его продали вроде.

– Не знаю, – нахохлился Рыжий. – Мне сказали глянуть, а я так, по пути... Друзья попросили.

– Что за дом? – спросил сосед Рыжего, наливая себе.

– Да жил там один, – отозвался водитель, поглядывая на Рыжего в зеркало заднего вида, – городской, мутный какой-то. Купил дом, коз, кур завел, огородик, ковырялся потихоньку, да все один, с оглядкой… Потом исчез – будто в погребе его завалило напрочь. Уж чего он там копал, колодец, что ли… В общем, пока хватились, то да се. Тела-то не нашли, одну лопату раскопали. Только жена ждать не стала, быстренько из города приехала, со скотовозкой, живность сдала, а дом на вывоз продала. Тут он возьми да объявись. Только дома-то уж нет, взяли по дешевке без документов. А он, говорят, все крутится там на участке. Точно, неспроста это. Видать, прячется от кого-то. И с погребом – все туфта была, для отвода глаз. Типа помер я, не ищите.

– Все-то ты знаешь, – польстил охотник, выдохнув после стопки.

– Егерю положено округу знать, а то себе дороже. Не удивлюсь, если ствол у него припрятан... Друзья, говоришь, попросили? – водитель все оценивал Рыжего через зеркальце. – Так нет больше дома-то.

– Ну, участок погляжу.

Остановились на развилке.

– Тут километров пять, дойдешь.

Рыжий вышел, «уазик» тронулся не сразу, и Рыжему уловил в этом какое-то сомнение на свой счет. А может, просто решили выпить без тряски.

До деревушки добрался уже в сумерках. Проходя мимо безжизненных темных домишек, еще издали услышал постукивание топора. В конце улицы открылся неогороженный участок: по периметру ямки от вывороченных столбов, изрытая колесами земля, ворохи трухлявых досок, обломки бруса, прочий деревянный хлам, отбракованный при разборке, печной остов без трубы, битый кирпич.

На расчищенном от мусора пятачке торчало какое-то невысокое, метра в полтора, деревянное строеньице. Игнатий – Рыжий узнал его сразу – присев рядом, обрубая туристическим топориком доску.

Рыжий помешкал, не зная, как окликнуть.

– Бог в помощь! – сказалось вдруг и оставило ощущение неловкости.

– А, Лис... – Игнатий глянул мельком. – И ты здесь. Помнишь Бога, значит? – Поднявшись, стал примерять деревяшку к верхушке строеньица.

– Что это ты делаешь?

– Я-то? – Игнатий повертел в руке обрубок доски. – Гниль вырубаю. Видишь – все вырубишь, и не хватит ее, коротка – только выбросить. А вырубать надо. Оставишь – расползется, вокруг перекинется. Все сгниет тогда. Вот и вырубаю. Из себя вырубаю, из души своей.

Отбросил деревяшку, отошел к груде обломков, пошевелил ногой, высматривая подходящий.

Рыжий обошел постройку: что-то вроде четырехгранного столба, полого внутри, оно напоминало узкий колодезный сруб, вытянутый из земли. Стенки были из разномерных деревянных обрезков, с двух сторон столба на крючках из загнутых гвоздей – темные дощечки с невнятными силуэтами, вряд ли различимыми и при дневном свете. Иконы, догадался Рыжий.

– Что строишь? Церковь, что ли?

– Ну, хватил. Голубец это будет, часовенка маленькая, столбиком.

– Их же вроде на могилах ставят?

– Тут и есть могила.

– Чья?

– Моя.

– Но ты ведь живой.

– Я-то – живой. А бывший я преставился. – Подошел с очередной деревяшкой. – Царствие мне небесное. – Переложив деревяшку в левую руку, правой перекрестился на столб. – Земля пухом.

– А-а, – протянул Рыжий, уже с опаской. – В смысле фигурально…

– Ни хрена не фигурально... прости, Господи. Тут меня завалило, тут я и кончился.

– А там, воскрес, значит?

– Нет, там… другое. Здесь в землю ушел, из земли восстал. А там… там не знаю, что было. Чую вот – сердцем, тоской слезной, до крика, – а сказать не могу.

– Предупреждение, может? – подсказал Рыжий без уверенности. – Будто показали нам что-то, краешком… а дальше сами, как поймете?

– Не бренчи, – пресек Игнатий. – Не нашего ума это. Вообще не ума. Просто… – болезненно ощерился, выдавливая слово, – счастье

это было. Не там – а то, что случилось это. Страшное счастье, неподъемное… и не постичь. И давит, точит. Вера, вера нужна!

– Так ты же веришь, – опешил Рыжий. – Там церковку построил, здесь вон тоже…

– Страшно мне там было, от страха моя вера. А надо чтоб от любви.

– Это как?

– А как выйдет. Знаю только, что себя не щадить, себе не брать, не хотеть ничего. Ему все.

– А людям?

Игнатий уставился как на тупого.

– Ему – и есть людям. Только не то, чего им хочется, а то, что им действительно надо. Он лучше знает, управит.

Заморосил холодный дождик. Игнатий бросил деревяшку внутрь столба, накрыл его куском рубероида.

– Все на сегодня. Пошли.

От дождя укрылись в лачужке, наподобие той, где ютился Рыжий в становье: издали он принял ее за груду строительного мусора. Наверняка и строитель тот же, подумалось ему. Втиснулись, сели на туристической пенке.

– Ты здесь как, ешь? – Светя фонариком, Игнатий залез рукой в надорванную упаковку с тушенкой.

– Ем.

– За кольцо открывай. Ложка одна, хлеба нет.

Ели в тесноте, передавая ложку друг другу.

– Еще будешь?

– Не, спасибо, – постеснялся Рыжий; заметил, что упаковка с тушенкой на исходе.

– А я буду, – Игнатий взял еще банку. – Первое, что здесь ощутил, – голод.

– Где – здесь?

– В овраге. Куда ход копал.

– Как вернулся-то, помнишь?

– Помню, как на церковку молился, а тут гроза, ливень. Сверкнуло, и все ухнуло вниз разом, только и успел подумать: в преисподнюю. И вдруг: холодно мне, мокро и дышать нечем… значит, оползнем меня накрыло. Забился, выпростался из земли – ночь, дождище хлещет, сам весь в глине... И первая мысль: жрать хочу, не могу. Там-то про это и думать забыл, а тут… Вернулся, значит. Думал, может, пройдет еще – куда там! Нет, там мы ближе были.

– К чему?

– К чему не готовы. Точно не будешь? Ну, как хочешь. – Игнатий полбанки не доел, сунул назад в упаковку. Фонарик погасил: – Батарейка последняя.

– Это все из запасов? – спросил Рыжий.

– Была заначка, снаружи. Тут-то все выгребли.

Потому и топорик туристический, понял Рыжий. Он подумал про ствол, но спросить не решился. Спросил другое:

– Как тебя звать-то… теперь?

– А так и зови, Игнатием. Прежнее имя мне ни к чему.

– Но ты же вернулся.

– Как был нерожденный, так и остался. Вот настоящей веры сподоблюсь… если. А пока – ни там ни сям.

– Тебя и жена Игнатием зовет?

– Нет у меня жены. У того была, а у меня нет.

– Это из-за дома? Кто же она тебе теперь?

– Как все. Добрая женщина.

– Добрая?

– Что порушила тут все – я не в обиде. Поделом мне. Ведь что удумал! Вы, мол, тут как хотите, тоните на своем «Титанике», а я спасусь. Сбежать решил! От чего – от света божьего! Сам слепой – да в нору! Вот меня из норы-то и за шкирку… Продала дом – и бог с ним. Могла подороже взять, чем так, без документов, да невтерпеж ей было… тела-то моего не нашли. Суд да дело – когда еще ей имущество передадут. Спешила, в общем… Так что не мне ее судить. Я бы все подписал, да уж поздно было. И участок подпишу, пусть продает, но чтобы часовенку не трогали. Паспорт только сменить, на Игнатия. Мне-то ничего теперь не надо, ни от нее, ни от кого.

– Сам-то что делать будешь?

– Вот часовенку дострою. Еще бы пару иконок раздобыть, чтоб четыре было, на каждую сторону. Две вот нашел, пошарил в заброшенных домах. Нет, больше ничего не взял, я же не рейдер какой. Тут еще в одной избе полоумные старики доживают, у них есть вроде. Может, дадут на святое дело.

– А купить? Есть же где-то в округе церкви, должны продавать…

– Нет у меня денег. И добывать не хочу. Тут только начни – и охнуть не успеешь, с головой увязнешь.

– Столбик же, наверное, освящать положено? Тоже не бесплатно?

– Чего гадать, – усмехнулся в темноте Игнатий. – Чему надо быть, то и будет.

– Ну, закончишь ты часовенку. А потом что?

– Уйду.

– Куда? Веры искать?

– Чего ее искать? Ее заслужить надо. Хочу церкви строить. Настоящие, большие. Знаю, что не умею, но кирпичи таскать руки везде нужны. Где пригожусь, там и прибьюсь. Что надо, само случится… Замерз?

Снаружи все накрапывал дождь, холод мороси затекал в лачужку. От сидения в тесноте у Рыжего затекли ноги, он коченел в своей осенней курточке, борясь с то и дело накатывающей дрожью.

– Держи вот, – Игнатий заворочался в темноте, и Рыжему ощутил в руках шершавый ком одеяла.

– А сам?

– И сам, на двоих припасал-то... Верблюжьи. Тихонько ложись, боком.

Рыжий вытянулся вдоль стенки.

– Ну ты запасливый, – пробормотал, блаженно согреваясь. – А спальников не припрятал?

– А что спальник? Мешок и есть мешок. В нем и бери тебя тепленьким. Не на то расчет был… Ладно, со мной понятно. А ты-то чего тут? Тоже сбежал?

Прозвучало с такой резкостью и горечью, что Рыжий опешил.

– Один я остался… понимаешь, один! – обида вспыхнула и погасла. То, что мнилось ему до сих пор чуть ли не подвигом, его героический переход через болото, и впрямь представилось вдруг постыдным бегством. – Один… никого не осталось.

– Ну, рассказывай…

Игнатий слушал словно без охоты.

– Ушли, значит, – только и сказал, когда Рыжий закончил.

Лежали молча, каждый в своем коконе, слушали дождь.

Рыжий уже подумал, что Игнатий спит, как тот вдруг спросил:

– А с тех пор ничего? Ну… от них?

– Вестей, что ли? – оторопел Рыжий. – Как это?

– Ну, не знаю, может, знак какой…

– А тебе был?

– Если бы… – проговорил Игнатий с тоской. – Просто чувство такое – будто ты спишь, а над тобой склонился кто-то, вот сейчас рукой коснется – и проснешься. И скажет… и позовет…

– Куда?

– Не знаю. Сперва проснуться надо. Самое трудное – проснуться. И страшно – вдруг проснешься, и опять не готов… – Игнатий вдруг осип, прокашлялся, прочищая горло.

– Проснуться… – повторил Рыжий. – Я вот все думаю – кто тот грибник, что меня утром разбудил, после того как меня из болота вытащили. Вообще вся компания… Только разговоры их и слышал. Всего-то было – повернуться да посмотреть… не посмотрел, побоялся. Чего – ошибиться? Или опять с ними оказаться? Они это были, не они? А тот грибник, что по болоту ушел – кто он? Так и не знаю.

– Все ты знаешь, – усмехнулся в темноте Игнатий. – Поверить боишься.

– Думаешь, Странник?

– Странник… Или кто теперь за него.

– Типа вместо него, что ли? А он ушел?

– Зачем вместо? Вместе, в нем. Он не уходит, встречает только.

– В нем? – пытался ухватить Рыжий. – Кто же это мог быть, по-твоему? Илья? Лучезар?

– Да кто угодно – все равно Странник. Хоть ты, например.

– Но я же здесь!

– Это сейчас. А когда-нибудь… – Игнатий закашлял.

– Что ж я, сам себя из болота вытащил? – переждал Рыжий.

– А ну тебя! – разозлился Игнатий. – Кружишь, кружишь вокруг да около, пустяками мозг выносишь. Он тебя на крест вознес, самую суть открыл – это ж милость какая!.. А ты зажмурился и все глаза открыть боишься.

– Какую милость? Какая суть? Там – ужас один! – простонал Рыжий. – Вопль вселенский, мука смертная!

– А дальше-то, дальше что? Не досмотрел, сбежал!

– Тебя там не было…

– То-то и оно – тебе милость, не мне… А случись – уж я-то досмотрел бы, что там дальше, за мукой, за смертью. Ну, бог даст… Затем и живу вот.

Игнатия опять закашлял.

Помолчав, Рыжий спросил:

– Ты бы вернулся, если б мог?

– Это как? Самому в землю закопаться? Другого хода не знаю. Нет, второго раза не будет. Теперь только своим чередом. Постой, – встрепенулся Игнатий, – а ты…

– Да нет, – Рыжий пожалел, что спросил. Соврать, не соврать? – Был я там – все другое какое-то. Ни болота, ни дерева упавшего. Нет того места.

– Понятно, – вздохнул Игнатий, поверил вроде. – Такое раз в жизни выпадает.

Спал Рыжий беспокойно из-за кашля Игнатия, но проснулся уже под стук топора. Поглядел на тушенку: Игнатию самому мало.

На прощание протянул деньги.

– Что есть. На иконы. Или на что там хватит...

– Спасибо не скажу, – Игнатий пожал плечами, принимая. – Не мне даешь.

Рыжий помешкал, спросил:

– Как думаешь, где они теперь?

– Знать бы… Только сдается мне – все дороги на крест ведут, если они верные.

– На крест? Зачем они тогда, зачем всё?

– Так они там не кончаются. – Игнатий отвернулся, застучал топором.

И как он мог быть таким тупым! Мог ведь и вовсе забыть – да и забыл, забыл! – про тоненькую книжечку, сунутую в стол. Страшно теперь подумать, сколько она там провалялась, в ящике, среди старых распечаток, файликов с забытыми отчетами, мелкого компьютерного хлама. Могла и вовсе кануть на помойку с грудой ненужных бумаг, отслуживших плат, проводов, пустых блокнотов и непишущих шариковых ручек... Да просто мог съехать с квартиры по какой-то причине! И никогда не увидеть… не прочесть! – не сунься он в ящик за старыми расчетными листками по зарплате; их никогда не хранил, а тут спохватился, вдруг завалялся какой – сравнить, полюбоваться: ему впервые в жизни прибавили оклад…

Рыжий ждал ее в фойе торгового центра и сладко ужасался. Застекленные павильоны в предновогодней мишуре, мигающие гирлянды, вкрадчивая музыка, пчелиный гул голосов. Рядом, у входа на эскалатор, притулился цветочный павильончик, грустные ароматы растений странно оттеняли его взбудораженное состояние. Мысли прыгали.

…Хотя, если вдуматься, – почему ему прибавили оклад? Ага, вот это ключевой вопрос – да, ключевой. А потому, что он принял решение, твердое решение. Отбросил наконец-то все эту бесплодную рефлексию и потуги объяснить необъяснимое. Жить надо здесь и сейчас. И смотреть в будущее… ну, не то, которое где-то *там*, за пределами видимости, и еще неизвестно, есть ли оно, а в то, которое можно предусмотреть, спрогнозировать… и строить уже сегодня, разумно и последовательно. Как все нормальные люди. Вот он нашел в себе силы, и дело пошло. Сделал кое-какие предложения по изменению верстки газет и прохождению макетов через секретариат. Проявил инициативу. И встретил понимание. Ему даже намекнули, что считают перспективным сотрудником и давно присматриваются. А если учесть, что замответсека, который вечно к нему придирается, по слухам, того гляди сплавят на пенсию… Нет, прямо ему об этом, конечно, не говорилось, но не исключено, не исключено…

Не то чтобы он вознамерился делать карьеру… а почему бы и нет?

И в институте он приналяжет – вот выйдет из академа… придется на вечерний. С отсрочкой как-нибудь решится... Кстати, отчим же давал понять, что есть возможности профессионального роста, а если проявит себя, то и не только профессионального, – в его «структуре». Что ж, возможно, он и согласится, но не сразу, не сразу. Тут важно, с каких

позиций… нет, не суетиться – с холодной головой, по шажку, но и с достоинством, да, с достоинством… Не зря же

королевичу Елисею

– так она надписала ему сборник. Он еще подумал, шутка. И сунул в стол...

Она! входит!..

Нет… только куртка похожа. Стыдно так ошибаться. Надо собраться, успокоиться, что он как мальчишка.

Рыжий заходил взад-вперед, оглядываясь на стеклянные двери, то и дело разъезжавшиеся перед посетителями.

и в этом немом напряженье… и в этом немом напряженье…

Да, с этих строчек и началось… Ящик до конца не выдвигался, он сунул руку поглубже, выгребая хлам, какая-то брошюрка застряла, вытянул, зацепив ногтями, – обложка и первые страницы смялись, и эти строчки попали на глаза…

И в этом немом напряженье,
так странно созвучное мне,
томящее душу движенье
рождается в их глубине…

Это про облака.

Чем-то зацепили эти строчки. Да, с них и началось… Или с ее портретика?.. Фотка тоже помялась и была не слишком умело обработана (уж он бы отфотошопил получше), – но глаза… взгляд... и вообще… Как она могла показаться ему невзрачной – там, в Союзе писателей!

И дальше, дальше…

И мука нездешнего знанья
не в силах сойти с языка,
и нехотя гаснет сознанье,
и тянется к небу рука.

Читал всю ночь. Смотрел на фотку, заново узнавая. И уже чудилось в ее взгляде такое знанье – то самое, нездешнее… И лицо ее словно придвигалось, будто глядела она прямо на него… нет – вглубь... Отводил глаза, опять смотрел.

И на работе думал. Нашарил в сети презентацию в районной библиотеке. Решался.

Она представляла тот же сборник, что уже был у него. Он купил второй экземпляр и подошел за автографом. Он был как в тумане. Протягивая книжку, не знал, что ответит, если она узнает его и спросит, зачем ему второй автограф на том же сборнике? Или не узнает и спросит, кому надписать? Она узнала. «Королевич!» – задержала в его экземпляр в руке и, вдруг улыбнувшись, отложила в сторону, принялась подписывать другим читателям. Он топтался у стола, мешая остальным, она в промежутке между автографами поднимала взгляд и подкармливала его улыбкой. Вышли с какими-то ее знакомыми, знакомые рассеялись, и они остались вдвоем.

С тех пор они постоянно вдвоем, даже если порознь. Так он чувствует. Так и должно быть, всегда.

королевич Елисей

Пришлось освежить в памяти – там, у Пушкина, он спящую царевну разбудил. А тут, выходит, она его разбудила.

царевна Евгения

Никакая она не спящая, это он спал. *Самое трудное – проснуться*. Кто это сказал? Игнатий?.. В топку, в топку – вычеркнуто и забыто, как сон. Он так решил. Женя его разбудила, открыла глаза. Он ясно видит цель. Не деньги, не карьеру – то есть, конечно, это само собой – быть независимым, крепко стоять на ногах и все такое, но это не главное, это так, средство.

Женя…

Почти *жена*…

И сегодня он ей скажет…

Она согласится, согласится. Сколько у нее поклонников, почитателей, но она выбрала его. После того, что произошло между ними вчера... какое еще ему нужно подтверждение! Удачно, что хозяйка уехала к дочке на праздники. Это было… не объяснить. Можно сказать, она и здесь его разбудила. Ну, вообще-то у него имелся кое-какой опыт – не мальчик, да, но… и сравнивать неловко. Как она потом сказала? «Я каждую молекулу в воздухе видела, каждый атом – они светились… Каждая клеточка – в тебе, в нас». Он еще подумал, что где-то слышал похожее… неважно.

Она согласится.

Идет!..

Что за прутики у нее в руке? Черт, какой же он тупица! торчит у цветочного павильона и даже букетик не догадался! В такой-то момент!

– Прости, опоздала. – Она чмокнула его в щеку и подсунула веточки к носу. Сквозь запах ее духов пробилась посторонняя нотка, пьянящая… печальная и светлая одновременно. – У нас возле дома авария на теплотрассе, который день чинят. Только заделают, и опять – кипяток хлещет, горячая лужа парит, туман, как в бане. И тополь рядом – смотри, почки набивает… обманули, бедного. Так мне его жалко стало, что зря старается, я и сорвала пару веточек, еле подобралась, ноги, кажется, промочила… Надо в воду поставить. Уже пахнут, слышишь?

Она опять поднесла ветки к его лицу, и он узнал этот запах.

Это было как мгновенное головокружение – бесплотное дуновение из другого мира, от которого в сердце занялась теплая дрожь и хотелось счастливо заплакать, вдыхать и вдыхать… Оборвалось.

Она отвела ветки от его лица, зажмурилась, вдыхая сама.

– Странно, да? среди зимы… Словно что-то нездешнее, неземное... – Она открыла глаза, и ему показалось, что воздух вокруг потускнел, словно их накрыла лесная тень. Силуэт девушки утратил четкость и колыхался, будто на неощутимом ветерке, сливаясь с дрожью померкшей листвы. Ее глаза сияли, как просветы в кронах, юные черты размывались в этом сиянии, и сквозь них проступало лицо – иное, бесконечно далекое.

– Тебе никогда не хотелось, – ее голос пробивался сквозь видение, – …оказаться где-то не здесь, не сейчас… не собой…

В телевизоре мелькнуло фото знакомого лица, Божен дернулся за пультом.

– …отметить новогодние праздники в экстремальных условиях. Решение было опрометчивым, поскольку они не владели навыками выживания в зимнем лесу и не подготовились должным образом – к такому выводу пришли сотрудники МЧС, изучив вещи, обнаруженные

в палатке. Об этом, в частности, говорит отсутствие теплоизоляционных ковриков как необходимого дополнения к спальным мешкам в зимнее время, а также каких-либо обогревательных приборов. Выбор места, по всей видимости, носил случайный характер, и по незнанию молодые люди остановились на границе протяженного болотного массива, пользующегося недоброй славой у местных жителей. Пройдя пять километров через лес на снегоступах, они поставили на опушке палатку, однако в ней не ночевали: спальные мешки не расчехлены, небольшой запас продуктов почти нетронут. Нет и следов костра. Вероятно, добравшись до места, неопытные туристы решили осмотреть окрестности и заблудились в начавшейся метели. К сожалению, учитывая, что в болоте имеются окна, не промерзающие даже зимой, спасатели не могут исключить и трагический сценарий. Поиски продолжаются. Далее, после короткой рекламы…

Божен пригасил звук. Осторожно, боком, прилег на диване, прикрыл глаза. Значит, Рыжий решился.

Что ж, и ему пора. Но в болото он не полезет.

Он ходил с экскурсией по стенам кремля и все продумал. Северная башня подойдет лучшего всего. Там, с высоты, потрясающие виды на Волгу и Оку. Чуть отстать, выбрать момент, протиснуться в бойницу… Главное, оттолкнуться посильнее: там внизу, под стеной, пешеходная дорожка, перескочить ее, не задеть ногами за кромку, а дальше сразу крутой склон, он сможет набрать скорость и взлететь.

Вчера он совсем собрался, взял билет на экскурсию, и не пошел. Подумалось: вдруг он замешкается в узкой бойнице, зацепится крылом, не сможет их раскрыть сразу. Тут нужна полная уверенность.

Сегодня тренировался весь день: резко расправлял и складывал крылья, шаркая по стенам тесной квартирки. Сейчас он уверен, он чувствует их силу.

Да, уверен.

Завтра. Завтра…

Ему снилось, что он летит.

Игорь КУНИЦЫН

Родился в 1976 году в Печоре. Окончил медицинский институт в Архангельске, учился в Литературном институте им. А. М. Горького. Публиковался в журналах «День и ночь», «Новая Юность», «Интерпоэзия», «Крещатик», «Плавучий мост» и других. Автор книг «Некалендарная зима» и «Портсигар». Живет в Подмосковье.

...ОСТАЛЬНОЕ СТИХИ, НО О НИХ НИ ПОЛСЛОВА

* * *

На стене висит окно.
За окном желтеют листья.
Сна осеннего сукно.
Барсуковый волос кисти.

Неразборчиво в углу
подпись – знак оригинала.
Прикоснись к его стеклу,
подыши в него устало.

Незаметно для других
посетителей музея
распахни его на миг,
в даль осеннюю глазея.

Легкомысленную мысль,
накрывая занавеской,
попроси: «Остановись!»
И окно захлопни резко.

* * *

Гигабайты событий, слова и слова,
фотографии, видео в личном архиве:
это лес, это небо, а это трава,
это Сочи, красивая яхта в заливе.
Это Питер – Нева, пародирую мост
белой ночью и «Невское» пиво глотаю.

Это просто Москва, я заснят в полный рост
в парке Горького, сзади утиная стая.
Фотография в поезде – я у окна,
вид мечтательный пойман отнюдь не случайно,
по дороге в Свердловск я напился вина
и стишок сочинил, не припомню начала.
Это видео Крыма: я типа приплыл –
на тускнеющий берег с трудом выползаю
и смеюсь, эту роль я тогда провалил.
Дальше текстовый файл пробегаю глазами –
пара-тройка рассказов дурацких вполне,
остальное стихи, но о них ни полслова,
только кратко замечу, они о стране,
где я вырос и климате местном суровом
на равнине, где некогда был океан,
но иссяк, за собой оставляя озёра,
цепи гор и в степях за курганом курган,
и от них ничего не останется скоро.

* * *

Погулять деревья вышли,
раздаётся громкий топот,
из-за липы смотрит вишня
на идущий рядом тополь.

Вы куда, друзья, собрались?
Почему легко оделись?
Мы спросонья потерялись
и на солнце не согрелись.

Мы идём куда повыше,
мы хотим тепла и света –
тополь, липа, в белом – вишня,
остальные сзади где-то…

* * *

Проходит женщина с цветами,
с букетом розовых гвоздик,
и держит их двумя руками,
и прижимает их к груди.

С такими ясными глазами,
что никаких сомнений нет,
что эта женщина с цветами
была с мужчиной тет-а-тет.

А мимо мчат автомобили,
народ несётся кто куда.
Нас всех любили, не любили,
ещё полюбят… Ерунда.

На эту женщину с цветами
смотрел я молча из окна.
«Держи меня двумя руками, –
мне жизнь шептала, – я одна».

* * *

Улица Вешних вод.
Кто там сейчас живёт?
Кто там из старожил
с улицы Рваных жил?
Может, дрожит камыш?
Может, крадётся, слышь,
небезопасный зверь
улицей Настежь дверь.
Может быть море рек?
Только не человек
с улицы Шорох шин.
Тоже мне, хороши.
Улица Шум ручья.
Чья она, а? Ничья.
Есть ли такая где
улица или две?

* * *

Сквозь асфальт, решётку сквозь
деревце пробилось,
искривилось, как пришлось, –
так судьба сложилась.

Трудно деревце растёт,
об одном мечтает,
что однажды зацветёт,
заблагоухает.

Так случилось, так пришлось.
Что же делать, коли
места лучше не нашлось,
как статисту роли.

Невезучей, чем оно,
нет деревьев рядом.
Жить пытается одно,
потому что надо.

* * *

Снова осень, что тут скажешь.
Всё сказали до меня.
Все составили коллажи
до сегодняшнего дня.

Написали все картины,
рассудили мудрецы,
станцевали балерины,
в воду бросили концы.

Но такого неба в лужах,
как на улице моей,
я, пардон, не обнаружил
ни в одной из повестей.

Как бы ветры ни качали
дерева ночами в них,
нет грустнее и печальней,
и осенней строк моих.

* * *

Так и хочется броситься в снег.
Но прохожие вряд ли поймут.
Лишь подумают: «Пьян человек,
ничего не поделаешь тут».

Мокрый снег прилипает к словам,
и слова упадают вослед.
Ничего не поделаешь там,
где нас нет.

А поэтому, бросив рюкзак,
как ракета по улице мчись
сквозь бездушное «пьяный дурак»
в безвоздушное, звёздное, ввысь.

* * *

Мне снилось, что я вернулся
домой после долгих лет
отлучки, отчислен с курса,
без денег и сигарет.

Без радости и без грусти
приехал, легко одет.
Архангельск, прости, проснусь я
и вспомню, что дома нет.

Борис ШИГИН

Родился в 1952 годув Балашове Саратовской области. Окончил историко-филологический факультет Пензенского государственного педагогического института им. В.Г. Белинского. Служил в рядах Советской армии в ГДР, работал на Пензенской студии телевидения. Главный редактор пензенского литературного журнала «Сура».

Автор восьми поэтических сборников. Лауреат премии Союза журналистов СССР им. В.А. Карпинского, трижды лауреат всероссийской премии им. М.Ю. Лермонтова. Член Союза писателей России. Живет в Пензе.

ДОРОГА – ВОТ ЧТО, ДРУГ МОЙ, ЕСТЬ...

Почтальонка

А на праздничек – клеёнка
В мелкий синенький цветочек.
Выпивает почтальонка
За здоровье бедных дочек.
И за мужа… Он не бедный,
Он не сытый, не голодный.
Он не слышит марш победный.
Он лежит в земле холодной.
Почтальонка выпьет рюмку
И лицо в гримасе сморщит,
А потом наденет сумку…
Да с крыльца сойти не сможет.
Ноги медленно, но ходят.
И спина болит… терпимо…
Только с той войны в народе
Почтальонка не любима!
Не любима дядей Колей,
Не любима бабой Натой.
– Не поймете, черти, что ли:
Разве в том я виновата,
Что носила похоронки,
Что с бедой входила в хаты…
Сплюнет Колька: почталь-ёнка…
Смотрит Ната: виновата…
Так и мается Алёнка
Шестьдесят годков да с гаком.

Жизнь и счастье похоронка
Отняла, как булку с маком.
Ей и праздничек не нужен,
Рвётся старая клеёнка…
Свет в окошке – фото мужа,
Вечный свет – в углу иконка.
Почтальонка, почтальонка…
В доме память, как в тюряге,
Держит с той войны девчонку –
Позавидуешь дворняге,
Что однажды цепь порвёт и
Убежит в собачью стаю…
Ну а годы – жизни вёрсты –
Хоть и длинные, но тают.
Почтальонка, почтальонка…
Что ж разлита рюмка водки
На голубенькой клеёнке,
Мужем даренной молодке?
Хороводы праздник водит,
Пьёт родимая сторонка!
Но из дома не выходит
Бабка Ленка, почтальонка…

* * *

Памяти А. Галича

Сбор я трубил – да никто не пришёл,
Адрес забыл, путь не нашёл…
Сбор я трубил – да никто не пришёл.
Может, охрипла труба?
Сбор я трубил – да не слышал дружок,
Ржава труба, тих мой рожок.
Сбор я трубил, да ему вышел срок,
Помощь принять – не судьба.
Значит, пойду на войну я один,
Сам – и денщик, и господин.
Значит, пойду на войну я один,
Стану один воевать.
Мало ли в поле таких полегло?
Много побед и у нас быть могло,
Если бы дружно… Обидно зело:
В поле один-то – не рать!
Так и живу, проигравший войну,
Жив или мёртв – сам не пойму.
Всё потерявший – друзей и страну…
Жить бы… Да жить так не рад.
Ржава труба… Но ведь годен рожок!
Сам встану в строй – где ты, новый дружок?
Господи, смилуйся, дай только срок –
Вновь я твой верный солдат!

* * *

Мне просто: я знаю, что ты не моя,
Что мы не умчимся в иные края,
К весёлому, тёплому морю.
А будем лишь думать: когда с берегов
Сойдут в нашу речку остатки снегов?
– Так в марте… – А я и не спорю…
Мне просто: я знаю – теперь я не твой.
Я волен и пьян, как ручей, как прибой…
Да разве разбить волнорезы?
Приходит похмелье, стихает волна,
И стынет душа, что уже не пьяна, –
Одни синяки да порезы…
Мне просто: я знаю – тебя я люблю,
А что же ещё пожелать кораблю,
Который под парусом в море?
Лишь ветра да песни, да малой волны.
Пусть будут всегда наши трюмы полны
Надеждой! А я и не спорю!

* * *

Когда ты исчезнешь из жизни моей,
Мой Ангел шепнёт мне: не пой и не пей,
Взгляни – ничего не забыла?
И если в душе не найдёшь и следа,
Прими всё как должное, – ведь ерунда
Смывается с рук и без мыла…
Но если в душе ты оставила след,
Я плюну на этот нелепый запрет,
И песню сложу, и под чарку
Её запою… Подпоёшь ли опять,
Уронишь ли мне на плечо свою прядь,
Попросишь любимую Парку
Открыть нам секрет – как ещё суждено
Тянуть её нить? Или веретено
Уронит она ненароком?
Когда ты исчезнешь из жизни моей,
Мой Ангел шепнёт мне: не пой и не пей,
Пусть будет, что было, уроком…

Размышления в канун юбилея

Я жил не так, старик, не так,
Мог провести меня простак
И друг обворовать.
Я слишком верил в чудеса,
В героев сказочный десант –
Спасительную рать.

Случайных женщин ублажал,
Не видя их змеиных жал,
Что дремлют меж цветов.
А материнскую ладонь
Вдруг отводил – меня не тронь –
Вот глупость мужиков.
Я был, как вешняя вода,
До тридцати не вил гнезда
И в сорок был старик.
А в пятьдесят вновь молод был
И вновь обрёл любовь и тыл,
Влюбившись в детский крик…

Я жил не так, старик, не так:
Я поздно понял, что верстак
Важнее сцены, да!
Что есть перрон и есть вагон,
Вокзал, буфет… Но перегон
Лишь любят поезда.
Дорога – вот что, друг мой, есть,
Дорога – вот затишью месть,
И лени, и гульбе!
Дорога – мой тяжёлый крест.
Дорога – тяга к смене мест…
И долгий путь к Тебе.

Я жил не так, старик, не так,
Я часто пятился, как рак,
В уныние и грусть.
И сомневался: буду ль в срок
У цели, выучу урок
И в жизни разберусь?
Частенько думал: опоздал…
Но грех роптать, Господь всем дал
По силушке завет.
И значит, жил я так, как мог,
И верю – так управил Бог,
Иной дороги нет.

Кто скажет мне, что жил не так:
Друг, дьявол, женщина, простак?
Притихну, не дыша,
Чтобы услышать приговор.
Жил… И живу – не жлоб, не вор…
Так, как велит Душа!

Ирина СОВЕТОВА

Родилась в 1958 г. в г. Вязники Владимирской области. Окончила историко-филологический факультет Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. Работала в комсомоле, преподавала в техникуме, руководила литературной группой в Вязниках.

Член Союза писателей России. Автор шести сборников стихов, более двадцати песен, музыкального диска. Лауреат литературной премии им. А. Фатьянова «Соловьи, соловьи…». Живет в Нижнем Новгороде.

И ГОТОВА ПОВЕРИТЬ Я ЗАНОВО...

Песня

Среди солнца и ветра духмяного,
Оторвав от привычных забот,
Снова в Вязниках песня Фатьянова
Собирает, волнует, зовёт.

Здесь немало мистически странного:
Добротою омыло нас всех,
Запою отрешённо Фатьянова
И вдруг слепо поверю в успех.

Пусть нередко повсюду всё клановo:
Продаются награды и честь…
Собираются люди Фатьянова,
И надежда у каждого есть.

Среди бойни и страха экранного
Неожиданно как благодать –
Этот праздник поэта Фатьянова
Призван юных поэтов встречать.

На Фатьянова, ох, на Фатьянова,
На фатьяновский дух я грешу,
Что, как все вязниковцы, так рьяно я
Про любовь и пою, и пишу.

И готова поверить я заново,
Что весна непременно придёт!
Не забыла страна про Фатьянова,
И поёт его песни народ.

Мой город Вязники

Иду по городу – овраги да пригорки,
Да ручеек с названием реки.
А у домов, заборов – всё подпорки.
Не больно-то богаты земляки.

Богаты мы колодцами, садами
И видом на заклязьменскую даль.
Ну, разве, рыболовными местами,
Церквями, пробудившими печаль.

И как везде, разбитые дороги,
Крапива с лебедой почти в мой рост.
Но здесь меня быстрее носят ноги
И здесь причалом будет мне погост.

Бабушкин чулан

Все ругали бабушкин чулан.
Не чулан, а, прямо скажем, свалка:
Чугунок, продавленный диван,
Банки – склянки, а расстаться жалко.

Старые журналы, ржавый ковш,
Валенки, верёвочки, обмылки...
Что и надо – сразу не найдёшь
Но для бабки он сродни копилке.

Сыновья и снохи уж не раз
Покушались на её святое,
Но она слезою светлых глаз
Защищала прежде нажитое.

Для неё здесь вещи, а не хлам,
И чулан подобие страховки,
Обещала: «Разберу, отдам
Кое-что сестре или золовке».

Каждый год твердила: «Разберу,
Время только вот освободится,
Что напрасно пропадать добру,
Может, что-нибудь ещё сгодится».

Трогала привычный «вертушок»
И, покуда рядом нету деток,
Прятала в чулане снова впрок
Яркую коробку от конфеток.

Но приехал как-то резвый внук,
Комнатку отдельную приметил

И весь хлам с азартом сильных рук
Выгреб и свалил в обед в кювете.

Бабушка сказала: «Молодец!
Жалко только таз и одеяло.
Вот и разобрали, наконец».
А на утро бабушки не стало...

* * *

Света – знакомая, Лена – жена.
Не перепутать бы их имена.
Вот почему я напряжена:
Вечно на страже быть я должна.

Сыну и та и другая нужна.
Я в отношениях их не вольна.
Не рассудить мне, чья тут вина.
Лишь не накрыла бы боли волна.

Гляну на парочку я из окна.
Света – знакомая, Лена – жена.
Я для маневров таких не годна.
Нету покоя мне, нету мне сна.

Виновата

Мне бы помнить твою победу,
Я же – промахи и ошибки.
Мне сказать бы, что не уеду.
Но пакую свои пожитки.

Виновата я, виновата.
Виновачу себя с избытком.
На обиды свои заплаты
Пришивала я белой ниткой.

Не сумели достичь мы лада,
Не спасла нас моя улыбка.
Все, что было не так, как надо,
Закрывает за мной калитка.

Юрий ПРОНИН

Родился в 1956 году в городе Горьком. Учился в Горьковском радиоэлектротехническом техникуме, после службы в армии работал регулировщиком радиоаппаратуры, экспедитором, заведовал складом оптовых продаж.

Поэт, бард, сочинитель и исполнитель собственных песен. автор музыки к песням на стихи российских и нижегородских поэтов. Автор трех поэтических книг, составитель сборника духовной поэзии «Возрождение» (Н. Новгород, 2015).

Живет в Нижнем Новгороде.

БРОДЯЖКА

* * *

Долог путь через реку…
Подтаявший лёд…
Этот год нас не балует стужей.
И кому-то ведь нужен был этот поход?
Не кому-то, а мне он был нужен!

Можно жизнь не прожить –
Только полем пройти,
Или плыть, покоряясь теченью,
Но иные судьба предлагает пути,
Оставляя сознанью мгновенье.

…А на Волге – зима,
а над ней – небеса,
Тусклым светом мерцает дорога…
И сжимаются правой руки три перста
В ожидании милости Бога.

* * *

Неведомо: нужно, не нужно ли?
Но кто-то решил там, вдали, –
Струится небесное кружево
На плоть обнажённой земли.

Порхают снежинки, как бабочки,
И падают, делая круг.
И наши российские бабушки
Смеются, толкая подруг.

Мы, к жёсткому снегу привыкшие,
Хрустим от весенних невзгод.
Твердим: ну, поди, это лишнее –
Оттаявший вновь гололёд.

И доброе небо расщедрилось,
Избавило нас от хлопот:
Снежинки кружатся и медленно
Прикроют собой голый лёд.

* * *

Замри на миг, молчаньем перезрелый,
О чём, смеясь, рассказываешь ей?
Опять разжёг коптящий, зачерствелый,
Прогорклый ладан бренности своей?

Унылое промозглое созданье,
Веселье было, но была – весна.
А жуткой поздней осени сознанье,
Шурша листвой, не навевает сна.

И ей – такого надо ли уюта –
На пыльных старых полках твоих лет?
Не день, не час – тут каждая минута
Твердит: возьми в один конец билет.

Истерзанный. Надломленный. Пропитый.
Таков, тобой написанный, портрет.
Так отчего же, как вода сквозь сито,
В душе сочится молодости свет?

И юная наивная особа
С таким восторгом смотрит на тебя.
Что версия большой любви до гроба
Снискала милость в миге бытия.

* * *

Природа, говорят, мудра,
Но ничего-то ей не жалко.
Вон, глянь-ка – выпал снег с утра,
Прикрыл обыденную свалку.

Такое чистое бельё –
Подарок ветреного неба,
Где каждый обретёт жильё,
И где не нужно будет хлеба…

Вот только через два часа
Вся эта красота растает,
И прекратятся чудеса.
А мысль останется…
Святая.

* * *

Душа раздроблена на части,
Тебе сейчас не до игры.
Скажи, в твоей, моей ли власти
Закрыть далёкие миры –

Что возникают вновь и манят,
Дразня блестящей новизной,
И, неизведанные, канут
В молчанье лет
с тобой, со мной?

Как странно жить, не оживая,
Как страшно знать свой тяжкий крест,
Бездонной мыслью отвергая
Ту прелесть, что сейчас окрест.

И жить, внимая воле Бога,
Грехи молитвою скоблить.
Но есть очаг.
И есть дорога…
Как это можно совместить?

Бродяжка

Всякий раз признаваться в том тяжко,
Только всё же по правде скажу:
В моём сердце тоскует бродяжка –
В нашем веке сродни он бомжу.
Рядом бьются за полную чашу,
Видя в каждом знакомом врага.
Я ж в тиши своих мыслей бродяжу,
Не богатством мне жизнь дорога.
Ремешка я дорожного пряжку
Затянуть и потуже смогу.
Ничего, что голодный бродяжка,
Да зато у купцов не в долгу.
А когда непростая дорога
Заставляет искать поворот,
Помолюсь, поспрошаю у Бога:
Он-то знает, куда поведёт.
Взяв воды родниковой баклажку,
Лишь рассветный петух пропоёт,
Из уюта уходит бродяжка...
Вы считаете он – идиот?

Проза

Антон ХАЛЕЦКИЙ

Родился в 1979 году в городе Подольске, Московская область. Окончил юридический факультет МГОУ. По специальности работает с 1998 года. Занимал рядовые и руководящие должности в юридических подразделениях ряда компаний. Работал в консалтинге, фармацевтике, на других производственных предприятиях. В настоящее время юрист аудиторской компании, специализируется в вопросах интеллектуальной деятельности.

Живет в Москве.

ФЛОРИСТКА

Выход из метро, и вот он – торговый центр, а в нем наш павильон. С торца здания отдельный вход.

Торговый центр совсем небольшой. Не шикардос, конечно. На углу шаурма, дальше радиорынок и ставки на спорт. Еще есть продукты и салон красоты. Выше «все по сорок семь». С другой стороны – сушибар, и на третьем этаже еще есть кафе в стиле лаундж. Вот и все. Ну, и мы, внизу, естественно.

На асфальте у первой ступеньки (рядом с дверью электрощитовой, украшенной граффити) всех встречает выкрашенный в сиреневый старый велосипед. На седле – ящик такой же сиреневой лаванды. На руле – деревянная вывеска.

Всю эту романтику «а ля Прованс» немного портят массивные треугольные стойки, что лежат на земле. К ним надежно приварены колеса велосипеда. Чтобы не сперли ночью пьяные гоблины. Непонятно, кому нужна техника, у которой все подвижные части в толстом слое краски. Сиреневой. Но жизнь показывает – находятся любители.

Восемь ступеней, направо, и мы в у входа. На любимую работу.

Магазин для своей категории обычный.

Заходишь, и на тебя с четырех сторон обрушивается все сразу. Плетеные куклы в народном стиле, подсолнухи, корзины, корзинки, шкатулки. Типа такая искренняя простота. «Фальшивый заяц», как говорит тетя Валя (наш старший флорист-менеджер и моя сменщица). Как я понимаю, цитата какая-то.

Еще есть конверты-открытки. Маленькие коробочки подарочного мыла. Всякие там цветочные горшки, удобрения и так далее. Здесь же

ключницы в прихожую. Китайский пластик изображает деревянные вещички ручной работы.

Слева от двери – упаковочный стол. За ним в глубине прячутся наши сумки, всякие обрывки лент, ККМ, тетрадка продаж. И конечно, чайник с микроволновкой, наши спасители. В углу – мой самокат (очень удачно взяла на Авито. Теперь я крутая – с апреля по октябрь на метро не езжу).

Рядом на тумбе в углу – веселая коробка с большим набором упаковочной бумаги. Рулоны, ленты, сетки там всякие… Ну, вы поняли.

На стене под самым потолком – сюрприз! – «Уголок покупателя» – это, чтобы жалобную книгу было не достать. Она как бы есть, пожалуйста. Рафик Эльдарович распорядился, брат его Сейран посоветовал. Пока проканывает. Сами понимаете, случаи в розничной торговле – разные.

Рядом с жалобной книгой висит плюшевый медведь. Огромный, серый и хмурый. Мое мнение, это уже совсем для вольтанутых. Пылесборник.

Ну, и сами цветы есть, конечно.

Справа во всю стену – холодильник.

Подходим, смотрим сквозь стекло, выбираем по вкусу. И по лаванде. По деньгам, я имею в виду.

Тут тоже все стандартно. Как у многих.

Сверху на полках готовые букеты. Дежурные, так сказать.

Это кому совсем неохота загоняться и включать мозги. Такой букет – уже законченный товар.

Здесь, типа, все учтено: базис, концепция, доминанта, декорировка, цвета первого-второго-третьего порядка («Да! Я в этом шарю!»).

Все есть, включая упаковку, а главное – цена на ярлыке. Уже не увеличится.

Внизу в холодильнике – высокие ведра-вазоны из серого пластика (в них во всех воду я уже сегодня с утра поменяла. И пол везде вымыла).

Здесь наш главный товар. Живые цветы охапками. Поштучно и ветки.

Рулят, понятно, розы.

Вот пафосные темно-красные.

Берут огромными букетами: преподносить после концертов – звездам эстрады, дорогим любовницам – дарить перед сексом, на юбилеи – нужным, серьезным людям: в форме и так (со значками на лацканах).

К нам друзья нужных людей, конечно, не заходят. Мы на окраине. Это я чисто так прикидываю целевую аудиторию. Ха-ха…

Зато точно знаю. Такие розы берут на официальные мероприятия: выставки, презентации. Всякие там модные показы, награждения.

Помню, приходили две такие девчонки. Чуть старше меня.

Нарочито простая, внешне будто туристическая одежда (на самом деле реально дорогая – отвечаю), маленькие изящные тату на пальцах, косметики как будто нет, но это тоже иллюзия («Натюрель-стайл, девочки!.. Хотя нет, сейчас принято говорить “нуд”»).

Фразы четкие, но интонации небрежные: «…да, это будет как бы офлайн-мастер-класс в коворкинге. Самери: наполнение контента, продвижении аккаунта…»

Короче, бабы, это вам не жизнь за МКАДом. Мирового масштаба вопросы решаются! Аккаунты двигают! С понтом, москвички. Я так прикидываю, уже лет шесть-семь.

А в детстве у них (как у меня) тоже были половицы в доме и туалет на улице. И ходили они не в аквапарки, а на речку за пригорком. По проселочной дороге. И мылись в потемневшей бане. Еще дед строил.

Что-то подсказывает, я все правильное вижу. Есть неуловимые признаки. Правда, здесь в любого можно ткнуть и сказать: «Не местный!» И почти всегда не ошибешься. Москва – город приезжих…

Следующий номер в нашей программе.

Розы белые. Это чистое уважение. По легенде выходила Афродита из моря, и пена превратилась вот в такие белые розы.

Покупают родители – учителям, например (и конвертик можно туда же).

Ладно, поехали дальше…

Розы чайные и персиковые. Эти хорошо берут мужчины своим матерям. Которых видят не часто (даже если те живут в двух часах езды). К которым «вырываются» из круговерти бессмысленной работы.

Тут, как и красных, тоже могут взять сразу много. Наверно, из резко нагрянувшего стыда. Типа пытаются скрыть неловкость суммой, потраченной на цветы. Матери, ясно дело, как всегда, все понимают и, как всегда, все прощают. Своим детям.

Такие розы еще берут женам. С которыми лет сорок прожили. Както дядечка один заходил, в годах. Приличный, немногословный. Но видно, придает значение. Тому, что покупает. Я так понимаю, уважает жену. Эти люди, правда, нечасто цветы домой покупают. По праздникам. Дело тут даже не в деньгах. Просто нет привычки в семьях. Но все равно. Всех благ, как говорится…

Что у нас еще?

Гвоздики. Хризантемы. Герберы. Астры…

Герберы, это да. На позитиве цветы. Разноцветные ромашки. Думаете, они так по одной накладной все и приходят, без деления по цветам? А нет, не угадали! По отдельным товарным или упэдэшкам.

Это тоже хорошо женам дарить. В нормальных, нераспавшихся за первые пять-десять лет семьях. Когда оба еще в душе молодые. Но уже типа с опытом. Притерлись и не скандалят по пустякам, просто чтобы выпустить пар. И вообще уже не скандалят.

Но… такое нечасто. Раз сидела в Интернете, прочла – разводов сейчас пятьдесят процентов. Мать моя женщина…

Это как у нас в городке любят говорить: «Ну, что, подали заявление на свадьбу? Подавайте, ребята, сразу и на развод! Чего тянуть-то?» Беспонтовые шутки, я считаю.

А так, пока лето, свадьба – это хорошо!.. Тепло!.. Невесте не надо придумывать, что поверх свадебного платья надеть. Чтоб потом черную кожанку младшего брата не напяливать. Судорожно, в ветер. На мосту.

Осень, правда, уже скоро…

А к 1 сентября, конечно, очень хорошо идут гладиолусы. Это понятно. Родители – школьникам в первый класс. Первый раз в первый класс. Сама как вспомню, так вздрогну.

Вот точно в «Уральских пельменях»: «…Прозвучал приговор семилетней девчушке. Ей дали одиннадцать лет…» Все как есть!

Я один раз видела, как дети в этот день цветы несут. Все по-разному, между прочим. Одни, например, прям как знамя своей страны. На открытии Олимпиады.

Другие тоже будто знамена несут. На которых свастика. Просто их запугали и велели. Им стыдно, страшно, но несут.

Я совсем молодая, но в Великой Отечественной ориентируюсь. Бабуля у себя в деревне под Семеновом, когда по вечерам могла меня поймать (совсем еще пацанку), все сажала с ней старые фильмы смотреть. По этой тематике. Бабуля – пятидесятого года. У нее отец воевал – прадед мой Николай – ей это близко… Мне тогда только колобродить хотелось, конечно.

Так! Из цветов у нас есть еще всякая экзотика. Немного, правда. Лилии, орхидеи, там, лотосы. Но это уже дороже. И на любителя. Типа как мулатка в «массажном» салоне. Кто-то именно таких любит. Короче, не для всех цветок.

А к Международному женскому дню – девочки, держитесь – ТУЛЬПАНЫ!

Это жесть!... Стопятьсот тыщ тюльпанов везут из Голландии и Краснодара.

Каждое 8 Марта каждого года принадлежит всем женщинам, но только не нам!

«Праздник» начинается за неделю. Арендованы дополнительные склады. Закуплены зелень и упаковка. Набирают дополнительный персонал. Под это дело специально приезжает рабочая сила из других городов, из Белоруссии и Молдовы. Поднимаются розничные цены…

Тюльпаны уже сразу скомплектованы в букеты по пять. Уже обрезаны «ноги». Уже обвязаны резинкой и завернуты в дешевый прозрачный целлофан (мы потом все равно переупаковываем – допнаценка). Стоят такие тюльпаны уже даже не в ведрах. В ящиках! Один на другой. Штабелями в человеческий рост! Занимают все пространство. Чтобы хватило с запасом, как консервов на армейских складах.

В самые жуткие дни с четвертого по седьмое мы тоже как на фронте. Держим оборону. По пятнадцать часов в день. Ближе к восьмому мы уже все делаем, но не понимаем, что делаем.

Ничего не соображаем. Все на автомате. Руки берут базис и крутят сами по себе. Голова отключается. Тут уже нет никакого творчества – только тупое машинное конвейерное производство.

Артикль! Количество! Упаковка какая будет? Деньги! Сдача! Нет, заранее заказать сегодня уже нельзя… Артикль. Количество…

И это только тюльпаны! Плюсом мы делаем все то же, что обычно. Только намного больше и на большем нервяке. Зачищаем розы от шипов. Орхидеи ставим в трубки с водой, а ландыши – в губку, в пиафлор. Составляем букеты.

И пакуем, пакуем, пакуем…

В больших цветочных магазинах очереди, как в гипермаркетах на Новый год.

За три дня хозяева делают пятнадцать процентов годового оборота. Спрос увеличивается в шесть, в восемь, в десять раз.

Да, мы тоже знаем, за что страдаем. Да, в прошлый год за три дня я заработала как за месяц. Правда, если по чесноку, всегда рассчитываешь на большее. Я сейчас безо всякой борзоты. Штрафов в эти дни тоже больше среднего… А здоровье свое вообще никто не считает – оно же ничего не стоит, здоровье хорошее. Особенно в молодости.

Я слыхала, за границей флористами часто работают мужчины – типа это «тяжелая физическая работа».

Ну, не знаю, какие мужики здесь на это подпишутся. Даже за хорошие праздничные надбавки. Мне кажется, у нас в стране только женщины вывозить такое могут…

Но это ладно. Сейчас, в принципе, все так вкалывают. Что далеко ходить! Вот та же тетя Валя. У нее дочка, Ленка. Бухгалтер. Казалось бы, белая офисная работа.

Так она в отчетный период один раз пришла, как обычно, к девяти утра. А встала из-за стола в полдень. Следующего дня. Так-то.

Ломает, что мужчины, которые в женский праздник стоят в очередях, – тоже все на автопилоте.

У них в голове схема.

Им, самым активным, надо всех остальных мужиков собрать. Тайком от женщин. Пошуметь, что те им две недели назад – к 23 февраля – какую-то хрень копеечную подарили. («Хотя этих теток, блин, в шесть раз больше!») Потом надо всех убедить: «Давайте сохраним лицо». Решить дарить что-то нормальное. Посчитать, сколько надо подарков. Потом сколько денег. Собрать со всех. Заказать. Оплатить. Принести. Выдавить из себя два слова! Подарить! Все, слава богу, отмучились до следующего 8 Марта!..

При этом сами мужики любят при случае пафосно сказать, так, типа, хайпануть на публике: мол, это на работе семья первая, а там, дома, вторая. Хоть бы не трепались, только и знают себе, что борщить…

Сейчас эти ребята и дядьки на работе бухнут (малань, потому что лимитировано) и домой. Метро, пересадка, электричка, автобус, остановка, подъезд… Эх, всех при желании понять можно…

Надо только силы где-то брать – на «понять». И время, когда обо всем об этом думать.

Вообще, я слыхала, время – это, как его… производная от энергии, что ль?

Типа если нам что-то очень важно и интересно, мы концентрируемся и делаем, не отвлекаясь. И времени уходит меньше – на такой же объем работы. А что? В принципе, так оно и есть.

Это девчонки знакомые на йогу ходили. А че, физкультура пополам с психологией…

Вот реально, людьми правит две вещи: либидо и чувство собственной значимости.

Мудрая все-таки тетя Валя. Сама, правда, говорит, это не она, а Зигмунд Фрейд обосновал.

А что? Очень даже похоже на правду.

Пацанам часто хочется просто трахнуть и изобразить крутизну. Сразу после, например.

Так что в этом смысле я с Фрейдом согласна на все сто!

Не, я ничего не хочу сказать. Ребята иногда встречаются очень даже умные и воспитанные.

Помню, к 14 февраля заходили двое. Лет по двенадцати, правда. Совсем дети. Они в очереди пока ко мне стояли, все в какую-то игру играли. «Две коровы», «одна корова». Ну, чисто на словах. Типа, как толкинисты. Я вообще не въехала ни грамма.

А так ребята симпатичные. Такие на стиле. Спортивные. Правда, слишком уж причесанные (с гелем), чистенькие и томные. Непонятно, будут им нужны девушки где-нибудь через год? Хотя это же Москва! Здесь теперь даже взрослые, семейные мужчины такие. Типа очень ухоженные, чуть брезгливые, немного инфантильные и реально несмелые. Хм!.. Так что с теми ребятами еще ничего не значит. Может, будут потом нормальные традиционные мужчины…

Эти двое тогда, помню, взяли по горшку. Один с белым спатифиллумом, другой с фуксией (эта была пурпурная, но вообще они разные, видов тридцать есть, что ль…).

Фишка в том, что горшки типа «дизайнерские» и сами дороже цветов. Победа формы над содержанием!

А так, вообще, цветок в горшке – нормальный европейский подарок. Для нас эта категория – тоже тема. Перевозить и хранить проще (это ж не срезанные). Не так затратно. Но – медленные деньги, товар так быстро не уходит.

Для людей же – атмосфера, интерьерчик. Кому-то даже друзья (женщинам пожилым одиноким). Просто ухаживать надо уметь и хотеть («Мы в ответе, за тех, кого приручили». Молодец, Экзюпери. Респект!). Когда пересаживать, как поливать-опрыскивать, влажность в помещении как зависит от времени года и страны происхождения цветка... Короче, при желании можно освоить.

Спрос тоже нормальный. Офисы, учреждения там, школы. А че? Сейчас детских садов частных много. Дошкольные развивающие центры (тоже, уверена, нормальный бизнес).

Вот что хреново, окон у нас в павильоне нет, дверь матовая и свет искусственный. Но – зимой тепло у нас: здание все-таки.

Тетя Валя рассказывала, раньше вообще в холодных стеклянных ларьках сидели. Пока официально не сделали, что все объекты торговли стационарными должны быть. А тогда не помогали обогреватели. И пялились на них целый день. Сидели, говорит, как рыбы в аквариуме.

Так что у нас сейчас еще очень даже ничего.

Здесь, правда, люди тоже по-разному смотрят. Есть такие, что вообще в глаза не глядят. Задают вопросы, расплачиваются и даже голову к тебе не повернут.

Типа, я ассистент регионального менеджера и точно выше тебя в социальной лестнице, дура! Стоишь тут целый день, в цветочках своих и в земле ковыряешься. Сама полы моешь, сама мусор выгребаешь.

На самом деле все ясно. Это он отыгрывается за то, что его старшие менеджеры на работе чморят. Зато здесь он герой! КЛИЕНТ!..

Но мне пофиг. Я в свою сторону такого не чувствую. У меня четкая установка внутри.

Я не щебнем торгую, я дарю людям радость. Живые цветы ненадолго, но их все равно дарят.

Философия.

Например, вот просто принес мужчина домой три цветка, и отношения с женщиной чуть-чуть теплее.

Главное, чтобы он искренне. Что это не выглядело как взятка или типа отступного.

Так что без установок в нашей работе нельзя… Но, наверно, все себя втихаря уговаривают, как могут.

Когда совсем лажа случается (типа, недостача или поставщик обломанные венчики подсунул, а я проглядела), уговаривать становится сложнее, конечно.

Ладно, прорвемся…

Тетя Валя говорит, читай, Маша, этого… Эдика Берна, или нет, както иначе... во – Эрика Берна! «Игры, в которые с нами играет жизнь», что ли? Вся суть человека показана. Сразу все поймешь.

Ну, я сроду таких умных книг не читала! «Игры грешниц Запроливья» вон валяются в ящике. От девчонки, что до меня здесь была, оста-

лась. Августа-Фредерика Брест-Литовская какая-то. Но это вообще ни о чем. Пилорама сплошная, между эльфами и людьми.

Я что хочу сказать?

По жизни и без книг уму наберешься, если приехала и как-то надо выживать.

Тетя Валя тоже когда-то так приехала. Тоже с Волги. Только юго-восточнее. Из Саратова. Бывшая учительница тетя Валя.

Помню вначале все стебалась надо мной. Ну, я на ценниках писала: «компазиция» и «срезаные цветы». Ну, не знаю. Думаю, не это главное. Я же не учительницей русского сюда пришла. А сейчас у меня даже акцент ма-а-а-сковский появился (дома говорят). Пропала нижегородская тональность!..

Если сравнивать с тетей Валей, у меня вообще – профильное образование! Если на то пошло!

Бакалавр ландшафтной архитектуры я. НГОУСУ, Нижний Новгород.

Но образование это, конечно, еще не пропуск в Кремлевский музей-заповедник.

Я когда из своего Семенова уехала и в Нижнем в универ поступила, я что думала?

Вот сейчас мы учимся, потом я приеду в Москву, и меня мгновенно на престижную работу возьмут – заместителем генерального (я с улицы зайду, покажусь такая умная-красивая, меня сразу полюбят и возьмут). Буду заниматься авангардным ландшафтным дизайном. А через год меня за границу пошлют на стажировку! В Версаль или еще куда. Вот подучусь немного и потом, лет в двадцать пять, свою фирму открою. Элитного ландшафтного дизайна! Большую и самую пафосную в Москве.

Если честно, мы на курсе все так думали. То есть, если честно, мы в основном вообще ни о чем не задумывались. А если и начинали задумываться, то только так.

Ну а что? Приехали все из райцентров – население десять-двадцать тысяч. Для нас Нижний – это уже Нью-Йорк! Шутка ли, миллион с четвертью живет!

Вечером идем шляться на набережную, к Волге, а в голове – одна сверкающая каша и полная уверенность во всем. Самое лучшее время в жизни – студенчество…

В реальной жизни все немного сложнее, конечно… На всех царскосельских заповедников с версалями не хватает.

А тетя Валя – молодец! Все шутила: «Засчитайте мне докторскую по психологии за девятнадцать лет здесь, при цветах!» Кандидатская у тети Вали вроде и до того была… Саратовский образовательный университет, во!

Это правда, поддерживаю. Год поработаешь в рознице и начнешь разбираться в людях. Хочешь не хочешь.

Живой пример.

Мужчина один, с обручальным кольцом, такой нормальный дядька, не старый еще, каждые две недели цветы покупал. И так нормально всегда. На тысячу – на полторы (я сейчас не о деньгах, конечно).

Потом вдруг стал меньше брать. А потом по одному цветку. Похудел. Глаза тусклые. Ссутулился. Но все равно ПРИХОДИЛ И ПОКУПАЛ. Правда, потом целый месяц не было его совсем.

Тут, как говорится, не надо быть экстрасенсом. Работу потерял и найти долго не мог. А жену он очень любит и уважает. И вот пришел

он снова. В новой рубашке и хороших джинсах, веселый такой, уверенный. Глаза искрятся. Взгляд твердый. С пакетами из магазинов. И цветов купил.

Даже больше, чем обычно. Роз маленьких. Кустовых.

Тут тоже все ясно. Новую человек нашел работу, и все у него стало вытанцовываться.

Я чуть позже курить на крыльцо бегала. Видела. Тот дядечка в продуктах еще торт взял.

Идет, букет к сердцу так прижимает гордо и бережно. Как ребенка. Я тогда в три затяжки всю сигарету спалила. Вслед смотрела. Повезло какой-то женщине…

А вот совсем другая картинка с выставки.

Помню, в воскресенье еще до девяти подходит. (Кто ж из нормальных людей в выходной встает так рано! Я, правда, тоже на работе. Но это другое.)

Подходит, значит. Как-то суетливо. Стоит такой, моросит. Оглядывается, бодрится. Ухоженный. Одет хорошо, но сейчас помятый, небритый и встрепанный. И зубы сегодня еще не чистил. И перегаром конины от него несет. Стопудово дома не ночевал. Такой дикий у него сегодня «гуд-монинг»! А ночка явно жаркая была. Это я чувствую. И прям вижу, как чужая, случайная баба в прихожей с утра ему волосы оглаживала и в шею целовала. За ухом. С-стерлядь...

У меня отец семь лет назад к такой уходил. Мама было попивать начала. Но я это мгновенно пресекла! Безо всякой наркологии. Этот блудный через год потом на лестничной клетке на коленях ползал, на кафель плашмя ложился. Вернуться хотел…

А кобелина тот утренний ОЧЕНЬ много роз взял, всяких, без разбора. Сколько смог унести. В охапку, как ковер. Я ему самые дорогие прорекламировала. А как же! Картой платиновой расплатился. Два раза, помню, ошибался с ПИН-кодом. Смотрю, пальцами хрустит. Губами дергает. Плющит его. В телефон лазил, ПИН-код смотрел. Давай, думаю! Еще раз не то набери! Заблокируется карта, посмотрим, что ты дальше делать будешь. Я уже все упаковала! Сейчас охране звонить буду. Пусть полицию вызывают (опорный пункт рядом).

Нет, ну серьезно! Вчера леваком где-то потрахался. Сейчас цветочками откупится, и вообще все нормально! Какая нормальная женщина такое терпеть будет, мне вот интересно?! Лично я бы сразу ушла. Или прибила. Ночью сковородкой, пока спит.

На этот случай тетя Валя того Эдика-Эрика цитировала. Мол, у таких мужчин и женщины, как правило, соответствующие. Терпят. И еще этим упиваются. Типа смотрите, какая я мученица святая! Игра такая – с собой.

Короче, смысл в том, что хищник ищет жертву, и жертва делает то же самое. Прикольный расклад…

Вообще этот Эдик-Эрик неглупый дядька, я смотрю. Может, правда потом читану… в будни с утра народу меньше, можно – для общего развития… Надо только на телефон скачать. Найти откуда...

А вот еще один случай был. Пришел молодой человек лет двадцати восьми. Такой тихий, в строгом костюме и в очках. По глазам видно, что не тюлень. Есть стержень. Стоит себе скромно, выбирает (потом оказалось: начальнику отдела на работе – пятьдесят). Чего выбрал тогда, даже не вспомню. И что-то меня торкнуло, девки. Взгляд открытый, и улыбка светлая…

И тут звонок у него на мобильном. Тоже простой, строгий, без мелодии. Ну, он же рядом стоит – все слышно:

– Лена? – он такой прям удивился. – Привет… Я? Нормально… Сейчас где? В аудиторской фирме, уже пять лет. А ты как?..

А там голос в трубке, такой, независимый и требовательный. Будто не она просит. И не она сама сейчас позвонила, через пять лет!..

Это он стоит, удивляется. А умному человеку все ясно! По десяти словам. Тут больше и не надо!

У меня просто шторы упали. Хотелось через стол перепрыгнуть, телефон у него вырвать и перейти на лексику:

– Слышь, ты, лошара! Сюда послушай! Да, была у тебя в институте такая… королева драная. Стерва. Первая твоя настоящая любовь. И главное, совсем разные вы с ней. Как говорится, единство и борьба противоположностей. Она смеялась. Издевалась. Разрешала подарочки дарить. И еще немного чего разрешала. Только не любила, не уважала и за человека тебя никогда не считала.

После института пять лет потом не объявлялась, не писала и не звонила. А теперь у нее, ой, смотрите, что-то случилось. Попадос! Работу потеряла или еще что… И заметьте, всякой рвани, с кем обычно спала, она не позвонила. Она кому надо позвонила! Резко вспомнила, что был такой мальчик. Который не откажет.

А у тебя все нормально! Ты уже не задрот из Жатурского района, а младший аудитор! В солидной фирме. И машина у тебя какая-то есть. И однушку в Химках взял в ипотеку. Молодец! Метро туда скоро подтянут… Найди ты себе нормальную девку! Можно такую, типа меня… А я все твои книжки прочту… и пойму… и курить даже брошу!

Не стала я, конечно, тогда лезть в залупу. Здесь не принято. Всем все пофиг. Еще решит, я белку словила… Мне вот интересно, почему эти стервы всем нравятся? Загадка века. Лярвы, они ведь и в Африке лярвы.

Так, успокоились…

Следующий покупатель.

Мальчишка, школьник еще. Денег у него совсем мало, а подарить хочется. Они сегодня в кино идут, а потом гулять куда-нибудь. Да… Школьная любовь – это да. Мир вокруг – вдруг другой. Обостренная новизна! Прыжок в водопад. Чувствуешь, ты уже не пацанка с грязноватыми ногтями.

Тебе улыбается солнце, машины на улице и собаки. Учеба побоку. С родителями напряг. Мысли только о нем. У мальчика – то же самое (но обычно еще жестче). Длинные разговоры по домашнему или по Вацапу. Бесконечная примерка одежды перед свиданием. У кого уже все было, у кого еще даже куни не было…

Исхитримся, сделаем скидку. Эх, мне бы кто сделал скидку на что!.. Удачи тебе сегодня, пацан! Может, эти отношения – ненадолго, но в памяти навсегда останутся. Все пронзительное – не забывается. Даже если потом разрыв – подростковая трагедия, хуже смерти, полгода отходишь…

Встряхнулись, не залипаем!..

Да, здесь ситуации каждый день разные. Бывает, реально приходится шевелить мозгами.

Парень один такой приходит и говорит: «Короче! У двух девчонок на работе день рожденья. Одной тридцать, она такая спокойная вся. Второй двадцать три, та, наоборот, зажигалка. Вот есть столько-то денег».

Я тогда прикинула и предложила ему один букет белых хризантем, а для той, что помоложе – цветные герберы. Даже самой понравилось. Парень тот тоже рад остался.

Нет, покупатели – они все разные.

Однажды пришли двое. Такие, андеграундные, типа хипстеров (или реконструкторов, не знаю), в сюртуках. Прикиньте! С саквояжами, как… у врачей до революции! И с тростями. Я в ауте! Принесли кучу новых разноцветных носков, попросили из них букет сделать. Стояла, как больная, делала. Ощущала себя горничной из турецкого отеля. Ну, которые лебедей крутят из полотенец. Но заплатили тогда хорошо, даже сверху.

Конечно, реально богатые сюда не заходят. Они, говорят, на одностраничных сайтах – на лендингах – цветы заказывают – не слыша запаха и особо не вглядываясь.

Но просто с деньгами люди, конечно, бывают и у нас. Или которые очень хотят всем показать, что деньги есть. Это из породы тех, что могут купить раздолбанную премиум-иномарку старше меня возрастом. А на бензин денег уже нету. Совсем. Могут только внутрь залезть. Завести…

Самый ржач: именно такие берут цветы корзинами в целлофане. Показать «состояние состояния». Иллюзию состояния.

Такой хорек может своей женщине цветы покупать и одновременно тебя всю оглядывать и обнюхивать. Пока его законная половина со сковородкой где-то далеко. Понимаешь…

Некоторые даже подваливают, почему-то косят под крутых из девяностых: «Слышь, сестренка, типа, че по чем, до скольки работаешь? Может, того, посидим где, отдохнем? Водки выпьем...»

Но мне такие что-то совсем не в тему.

Не люблю красные мокасины, и вообще…

Еще прикол. Именно такие покупатели любят крашеные розы! Вот это меня просто в тупик ставит. Не могу вкурить.

Я начальству сколько раз говорила: «Рафик Эльдарыч, зачем золотой краской розы красим? Они же и так красивые!»

А он: «А-а, ничё не понимашь в бисниси! Рас бирут, значт, делай. Спрос, типа, раждает прэдложение. “Капытал” Карл Маркса! Слихала?»

Я, говорю, слыхала. Но, правда, совсем не уверена, что так можно людей воспитывать. А мы их именно воспитываем! Мы, глянец и Интернет.

Это красиво, говорим мы. Они и верят. Сами-то люди давно ни о чем задумываться не хотят…

Ах, какие цветы только к нам в павильон не привозят!..

Только куда им до дедовой мальвы. У деда моего в деревне под Семеновом такая мальва росла в палисаднике!.. Еще золотой шар и календула… Нет, деды оба живы, дай бог здоровья. И цветы у дома растут те же. Я просто выросла. Когда приезжаю, не воспринимается многое, как раньше.

Да все равно, таких цветов здесь нет. Может, немодные. А может, мальва не продается. Типа как детские воспоминания...

Так что как-то так. Но я не плачусь и ни о чем не жалею. На трех вокзалах молдаване под цыган работают. Они так любят выражаться: «Кто обернется, тот все враз и потеряет». Мне эти слова Хозяйку Медной горы напоминают из детства. Она Даниле-мастеру на прощанье то же самое говорила. Да…

Вы не подумайте. Я не озлобленная. Просто, бывает, накрывает. Когда руководство со штрафами драконит. Или на работе шесть дней подряд по двенадцать часов…

Тетя Валя, бывает, как приболеет, так ни кофе, ни энергетики уже не помогают. Реально думаешь – не вывезешь…

Средства разные есть, конечно. Девчонка знакомая, на Казанском в общепите работала, так она подсела на стимуляторы. Типа, бодрит, работаю, как робот, и не устаю.

Но там как раз плохо все закончилось. Сначала – стимуляторы. Потом, наоборот, «маруся», дальше – «медленный», и в конце – «крокодил». А он самый дорогой – за него, как говорится, конечностями расплачиваются. Отмирание тканей. Нет, это не варик… Нам такое не катит.

Вот в такие минуты хочется просто взять и упасть в минорные интонации. Все у нас не так, на работе все не так, и страна не та. Хочется, чтобы все само собой вдруг наладилось.

Хочется думать, пусть подвалит немного глупой удачи.

Чтобы вот зашел тот мальчик-аудитор, поговорили. Посписывались, там. Он бы меня пригласил куда. Сначала, например, на выставку (можно, там, в ЦДХ), потом в кино, потом еще куда.

Стали бы встречаться (а не просто спать раз в неделю). Съездили бы на море. Мне же полагается отпуск официально, не говоря уже чисто так!

Я бы очень правильно себя вела. Без закидонов. Безо всяких там – «давай, оплачивай мои счета» и так далее. Потом бы поженились. Я бы детей ему родила. Девочку старшую и мальчика года через два. Потом открыла бы фирму. По ландшафтному дизайну.

А он бы мне цветы домой приносил. Мальву...

Я только на измене, говорить, что под следствием и судом была или нет? И когда говорить? Не когда уже второго ребенка от него ждешь?!

Не, не напрягайтесь. Я машин не угоняла и телефоны не отжимала. Все проще.

В Нижнем еще. Когда училась. От девчонок знакомых возвращалась поздно… Хотела на такси сэкономить. Немного совсем до автобусной остановки не дошла. И вроде не девяностые сейчас. Хотя и менты, и врачи тогда сказали: не во временах дело, такие всегда себя могут проявить. Детская травма, там, отклонение в психике, все такое…

Я что хочу сказать? Тогда все еще очень удачно получилось. Отвечаю!..

Я же дома еще, в Семенове, на карате с шести лет ходила. Кандидат в мастера (курить-то я уже в СИЗО начала).

Он еще упал как-то неудачно. Оформили – «необходимая оборона». Сла-ате-Гос-споди! Без превышения. Приговор оправдательный. Родственники у того так даже гражданский иск хотели подать. Треш…

А самый прикол знаете в чем? У нападавшего тоже все хорошо! Да!

Как, как? Каком кверху! Из комы вышел, но крыша поехала – теперь всю дорогу у себя в палате в кубики играет, никаких ему забот. Врачи сказали, удар головой спровоцировал какую-то там хрень в деятельности мозга. А главное, старых воспоминаний больше никаких нет и спит хорошо. Не гнетут воспоминания (если вообще так говорить про него можно).

Четырнадцать эпизодов выявили, сходных по почерку. Больничка у него, правда, крепость. Типа Черного дельфина… Просто судить теперь нельзя. Признали невменяемым…

Народ, я тут зависла и сама с собой треплюсь просто потому, что покупателей нет. Предвечернее время. Стою и курю на крыльце у входа.

Такие минуты – самые светлые за смену. Время принадлежит только мне. Свобода! В ушах – «Ленинград». В легких – дым. Ветерок летний в лицо, короткие русые кудри мои гладит. Курить – солнечные очечи не надеваю. Загадочно щурюсь от солнца и сигаретного дыма. Я красивая, подтянутая и очень молодая. Сейчас еще нижнюю губу чуть-чуть качну (я где-то акцию видела) и буду просто огонь! Чикса!.. Ой, извините! Так в Москве уже тоже не говорят. В Москве сейчас говорят «мадонна».

А вообще вон кто-то конкретно к нам идет от метро в темном костюме и очках. Блин! А у меня руки, как всегда, сухие от воды и шипами исколоты. И лак уже не очень свежий! А еще сегодня тени под глазами и простуда на губах вылазит. Корвалол, я смотрю, от этого ни фига не помогает! Это вот, девочки, совпадет так совпадет!

Так, спокуха! Я сейчас метнусь на рабочее место и за две секунды накрашу губы, не смотрясь в зеркало… Все, ништяк!.. Думаю, незаметно.

Так, ребята! Я на работе посторонних разговоров не веду. Все разговоры только с покупателями и желательно о товаре!..

Колокольчик на входе. Заходит… Не ошиблась я. Младший аудитор…

Так! Выдохнула! Улыбнулась...

– Здравствуйте, Андрей!..

– Здравствуйте… Мария...

Софья АЛЕКСАНДРОВА

Родилась в 1997 году в Воркуте. С 2004 года живет в Нижнем Новгороде. Сервис-инженер в компьютерной фирме.

Публиковалась в журналах «Нижний Новгород», «Дружба народов», «Светлояр русской словесности», альманахах «Земляки», «Слово», «Полдень. XXI век». Дипломант III и IV слётов молодых литераторов России в Большом Болдине (2016, 2017).

МАМА УШЛА

Слушай! Давным-давно здесь была деревня. С детьми, курами, козами, собаками, ворчливыми стариками – настоящая. Всё, что мы любим, рано или поздно зарастёт крапивой, полынью и пустырником. На согретой солнцем земле будет лежать босоногая девочка, расстреливая облака репейниками из рогатки.

Хочется закричать – громко. Так закричать, чтобы редкие вороны вспорхнули кусочками темноты со старых берёз, чтобы сухая полынь перестала шуршать на ветру…

Смерть, ты есть? Смерть – две даты под знакомым именем? Смерть – завешенные зеркала в доме? Заунывный плач? Ящик метр на два? Может быть, смерть наступает тогда – весной, когда на свежей могиле прорастает первый кустик земляники?

В Поневерье нет смерти. И кладбища тоже нет. Возят хоронить в райцентр.

В Поневерье август.

Это значит, что в чёрную воду будут падать золотые листья.

* * *

Поневерье. В детстве это название воспринималось радостно: поверье – глупая причина для глупых бабушкиных запретов, а по-не-верье – мой на них ответ. Не верю! Не боюсь! Я зажигала свечу, тяжко поднимала старинное зеркало, долго устраивала его напротив себя (рама тихо гудела); шептало пшено, тысячи зёрен ударялись изнутри о покатые горшечные бока; в сенцах дышала бабушка, как большая лошадь, которая только притворяется, что спит; вода волновалась внутри горшка, расходилась кругами, как в тибетской чаше, на поверхности её пшено изображало звёзды, снежинки, орнаменты…

По пыльным дорогам бродили лихоманки. Их было двенадцать. Августовскими ночами старшая – Невея – глубоким древним голосом окликала стариков и уволакивала обернувшихся под тёмные сырые ели, где невыносимо пахло преющей хвоей и густела, настаивалась тишина.

– Зовут по имени – не отвечай, – учила бабушка – не оглядывайся! Невеей, Навой, навкой называли саму смерть.

Опустевшее Поневерье было связано с ней тоже: название читалось – посмертие – то, что остаётся после – в отсутствие жизни и веры. Деревня сжалась и засохла, вросла в землю, была пленена крапивой и пустырником. Но заставила нас вернуться.

* * *

Мы с мужем шли по звериной тропе, путаясь в раннем шиповнике, по берегу реки.

Впереди было Поневерье – отчина, дедина, смутно узнаваемая по одному только дому с обширным пристроем. Прабабушка с сестрой держали кур и рыжую в пятнах корову, в глазах которой читалось грядущее и необратимое запустение хлева, двора, дома…

Всхлипнула дверь, мужской ногой сломанная пополам, о том, что никогда больше не откроется она навстречу свету. За порог будут залетать листья, а она не сможет не пустить.

В сенях безысходно жужжало какое-то крупное насекомое. Шершень? Пчела? Я осторожно поводила рукой по отслаивающимся обоям и нащупала счётчик. Что-то жило в нём, вращалось, маленький рычажок доверчиво утыкался в руку.

На кухне со стен свисали луковицы – круглые и сморщенные, фиолетовые и рыжие, маленькие и большие. Подсолнечное масло светилось в бутылке, проницаемой солнцем. На засаленном столе лежали тонкие тетради, квитанции, выписки. Бабушка писала:

несолёное сливочное масло мед
и перга ее нмазывают на хлеб
и принимают 2 раза в день .
вызиват апетит и бодрос
и от сердца
спарга пчелиная от сердца
несоленое сливчное масло мед и
парга

Заметки она делала бережливо на тетрадных обложках, на квитанциях. Буквы были испуганы и разъяты. Время зафиксировало их попытки уползти, спрятаться, сбиться в спасительные стада.

борис и глеб святые
помоганют от болезни ног
молитесь им.

И – среди этих рецептов, похожих на страшные верлибры, – почти документальное:

8 декабря была жива лида
10 декабря померла 19 декабря хорнили
18 января будет 40 дней в крещене

Лиду хоронили на десятый день. Не знаю, как за стеной гудела корова, чувствовавшая, что скоро её продадут. Не знаю, какие люди пришли с прабабушкой из села, были ли у них сани, как долго и насколько тяжело выкапывали могилу.

* * *

Если мы – одной крови, одного леса, то почему нельзя забраться по раскидистому родословному дереву так высоко, чтобы увидеть (её глазами, но от своего лица) крыши Поневерья?

* * *

Щеке холодно. Снежит. Еду в Поневерье на тряском тупоносом «Икарусе». Баба Рая заболела. Заоконная темень возвращает меня в детство.

Весенние каникулы. Мы с соседкой Наташей Дудановой прыгаем с сарая в снег – влажный, рассыпчатый, крупный. По шатающемуся забору забираемся на крышу и – ... Солдатиком! Чем сильнее окунёшься, тем веселее!

Ноги легко касаются земли, а верхний слой снега пересыпается за шиворот.

Сапог!

Мы с бабой Раей по очереди носим большущие кирзовые сапоги деда. Они то и дело загибаются и цепляются друг за друга. Но ***такой*** *подлости я от них не ожидала.*

В ужасе смотрю на свою ногу в заштопанном носке. Наташка роет яму в месте моего приземления. Присоединяюсь. Руки замерзают минуты за три, а коварный сугроб продолжает осыпаться.

Не преуспев, мы плачем. На плач выходит баба Рая с лопатой и начинает перекапывать снег в попытке найти сапог, ругая нас за рассеянность и разгильдяйство. Слова порицания вскоре заканчиваются, а сапог и не думает находиться.

Наташа робко утешает бабу:

– Снег растает, и…

Резкий удар о поручень разгоняет блаженную дремоту, но я продолжаю улыбаться – вспоминаю, как в конце апреля нашёлся-таки сапог. Он был разрублен лопатой.

Водитель кричит: приехали!

У бабы Раи светится неярко кухонное окно. Как будто она ждёт меня, чтобы спросить: я буду на ужин картошку варёную, картошку жареную, картошку в мундире или пюре?

Не ждёт. Мама достала деньги из серванта и считает – хватит ли на похороны. Баба Рая лежит на полу (фельдшер сказал, так *уходить* легче).

– Ба-ба. – Шепчу по слогам. – Ба-ба.

Она узнаёт меня и косится одним глазом (другой полузакрыт). Пытается что-то сказать. Выключили звук. Получается только тихо:

– Щ-щ-щ… Щ-щ-ща…

Как будто ветер нашёл в срубе щ-щ-щель…

– Спи, баба... – ласково говорю ей. Я ложусь в соседней комнате и за мгновение до сна успеваю подумать: баба желала нам счастья.

* * *

Хорошо, что Олька уехала. В Поневерье колдунов и убивцев полно. Не испортили бы девочку. Мама *уходит* хорошо. Час назад уснула.

Вожусь с грибами – мама принесла позавчера, а почистить сама *не успела*. Она уже слепая была. Всё равно чистила. Бывало, найдёт маленький грибок и поцелует влажную шляпку, и заулыбается.

Мама любила лес. Когда отцова похоронка пришла, она на кордон побежала (отец лесником был). Папа ей не показался.

А мне снился, когда на сеновале ночевала. На вторую ночь тётя Лида дала мне икону. Я просыпаюсь, а она перевёрнута. После этого мама на сеновале спать запретила.

Закончила с грибами. Какие кулачки красивые! Круглые, рыжие. Масляты ещё, волнушки. Отвезу дочке в город.

Тихо. Подтопок прогорел. Падает последний уголёк. И – ни звука. Ни «щ-щ-щ», ничего.

Ушла мама.

ПОЭТША

Огюсту, с любовью

У неё была пеларгония.

Нет, не болезнь.

Ароматная сволочь из семейства гераниевых. Цвела ежемесячно, вальяжно развесив вопиюще зелёные листья. Поэтша жила аскетично и жертвенно: на стипендию приобретала пособия по герменевтике, сборники малоизвестных символистов, готические кольца с пластиковыми черепами и (непременно!) розу «Чёрный принц», возлагаемую на могилу Блока; до и после стипендии чахла и истончалась, как убывающая луна. Гедонизм пеларгонии угнетал её. Так они сосуществовали, не понимая друг друга, но и не объявляя войны, до стылого сочельника (Аквилон конопатил щелястые рамы тяжёлым снегом, обогреватель не справлялся, виновато бурчал, пеларгония очнулась от шипения и ожога). Об неё потушили сигару. Доминиканскую.

– Начинающий поэт… тем более юная девушка… – Рука с печаткой на среднем пальце сдавила сигару, но, не нащупав мысли, легла на лаковый журнальный столик, украшенный изображением пронзённого сердца. – Направлять – моя обязанность.

Он был Белинским, Буниным, Блоком, глубочайше познавшим её душу. Поэтша мысленно выбирала чёрную розу для Его могилы.

– В ваших стихах есть невинность, чего не хватает многим… И чистота. – Он приблизил руку с печаткой к её колену. – Отправьте тексты в «Неву»… – Поэтша проигнорировала этот жест, думая о чёрных розах. – Я дам рекомендации… – И Он решительно опустил руку на бедро Поэтши. Чёрная роза дрогнула и развернулась Его бородатым лицом с бровями-тараканами. Брови поползли вверх, когда Поэтша взвизгнула – тонко и протяжно, как чайник со свистком, как сбившая собаку электричка. Скривившись, он встал, оставив на кресле мериносовое пальто, брезгливо толкнул древнюю подъездную дверь, загрохотал по лестнице, махнул таксисту.

Поэтша бежала за Ним. Потом за ним. И её готические угги ь как мягкие знаки среди строки свалились в снег Ь она потеряла точки запятые всё потеряла в сущности бежала по невскому он советовал отправить рукописи в неву отправила стояла на дворцовом пока не перестала отличать бумажные комки от шуги полынья сморщилась потомпоэтшаутратилавсё исебятожепотерялась

Мериносовое пальто месяцами питало одинокую моль, в столь благоприятных условиях так и не пожелавшую вывести потомство. А пеларгония умерла.

Очевидно, она была однолетним растением.

«ВОСЬМЁРКА»

Кореша – Саня, Сашкент (иногда его звали Шуром) и Колян, в узких кругах именуемый Матрасом (широкоплечий, плоский – выпив больше двух рюмок, он становился напольной ветошью хозяина флэта на несколько часов), – ждали у касс. Пятихатку, с трудом выпрошенную у матери, из моего кармана вытащила попрошайка. Красивая девчонка. Босая. В сентябре. Она плеснула тонкими ступнями по воздуху – русалка! В розовой ладони прощально мелькнула купюра. Девка скипнула в трамвай, надеясь, что дверь с характерным лязгом вскоре встанет на место. Я рассматривал её несколько секунд, и мне вдруг захотелось сигануть следом, чтобы этот трамвай – «восьмёрка» – вёз нас по высокой траве мимо частного сектора, пока я признаюсь ей в любви, а она мнёт в руке купюру и роняет из русалочьих глаз на пол тряского вагона капель…

Шур с Коляном мяли в руках билеты. Мы собирались в Москву. Парни – зарабатывать. Я – возвращать долги. Я был бесплатной рабочей силой, которую предполагалось эксплуатировать часто и жёстко.

– Билет тебе купить, пентюх?! Ты скока Матрасу торчишь! Скока-скока? – Саня расходился.

– Долбоящер! – подытожил Матрас и промял костлявым кулаком мой живот. Внутри взбушевалась вода, река, весна. Попрошайка-русалка плыла в зелёной воде, помахивая хвостом. На поверхности лежали не то красные листья, не то купюры, подбрасываемые волнами.

Вода поднялась и упала. Я разглядел камни на дне. Меня рвало. Матрас с Сашкентом, не обращая на это внимания, лупили меня – по очереди, не сговариваясь.

Отпустили через полгода. «Отбил» долги. Возвращался электричками. Карман отягощала мелочь – Матрас бросил горсть, прощаясь, и щербато усмехался, пока я собирал монеты с рябого вокзального пола.

Я ехал домой, и солнце танцевало на моих широких рукавах, подсвечивая их наподобие китайских фонариков. Я был волшебником. Русалка наверняка на вокзале (где ещё?). «Восьмёрка» ходит раз в полчаса.

Я купил полторашку пива и сел ждать. Пропустил три «восьмёрки». Её не было. Подъехала четвёртая. Зашёл, втайне надеясь, что она запрыгнет в вагон в последний момент. Трамвай тронулся.

Замелькали крыши дач. Заборы. Ракиты. Я вошёл в ритм трамвая и делал крупные глотки, не обливаясь.

– «Каракумская». Конечная, – объявил водитель.

Маршрут «восьмёрки» сократили вдвое. Я вышел, чертыхаясь. Проходя мимо остановки увидел, как поднимает лицо бесформенная варёная рыба (прежде – женщина), живот которой был полон склизкого, холодного – икры? Шугнул ногой, прогнал срывающийся с губ возглас. Она испуганно прижалась к земле, и тонкие босые ступни плеснули по воздуху, как плещет плавником щука, уходящая на глубину.

Я снял ботинки и пошёл по ржавым рельсам, маршруту упущенного трамвая, ободрал и испачкал пятки, долго не мог понять, чем пахнет, пока не вспомнил слово, звучащее, как всплеск русалочьего хвоста: *полынь*.

Александр ХОРТ

Родился в 1941 году в Москве. В 1964 году окончил МИНХ имени Г. В. Плеханова. Работал по специальности, затем перешёл в журналистику, занялся литературой. Работал в «Московском комсомольце», «Литературной России», журнале «Юность».

Автор двадцати книг. Живет в Москве.

ИСТРЕБИТЕЛЬ КАМЕР

Рабочие находящегося в райцентре Теремковске асфальтового завода жутко не любили своего директора Креветкина. Мягко говоря, они его терпеть не могли. Самодур чистой воды, грубый, наглый, лживый. Своими поступками он то и дело возмущал рабочих. Однажды, например, у какой-то бригады получилась бракованная асфальтная смесь. Ну, такое порой случается: нарушили пропорцию – песка положили много, битума мало. С кем не бывает. Рабочие признали ошибку, были готовы всё переделать хоть в выходной. А директор говорит: «Ничего переделывать не надо. Я приказал этот асфальтобетон вывезти и выбросить». На первый взгляд, жест благородный. Только потом выяснилось, что выбросить бракованную порцию он приказал там, где работали дорожники, то есть подсунул им брак. Тех же потом обвиняли в плохом качестве асфальтового покрытия. Подвёл их директор под монастырь.

Это только один случай из многих. Поэтому, когда рабочие узнали, что Креветкин уволился, радости их не было предела. С работы в тот день шли с песнями и танцами, вечером даже выпили немножко. Какой ни будет новый директор, всё равно хуже прежнего невозможно. Однако вскоре их радужное настроение неожиданно было омрачено.

Креветкин же не просто уволился, он уехал из Теремковска. Его перевели в областной центр – на повышение пошёл. Отныне курирует все промышленные предприятия области. В том числе и теремковские. Их, правда, в райцентре немного, помимо асфальтового завода от силы ещё штук восемь наберётся. При желании Креветкин может помочь – выделить какие-то деньги, гранты, найти инвесторов или создать другие какие-то льготные условия. Всё-таки не чужой человек, земляк. Важно поддерживать с ним хорошие отношения. Даже нужно его как-то умаслить.

Долго думали в городской администрации, как подлизаться к бывшему директору, и в конце концов решили назвать его именем улицу, на которой находился асфальтовый завод. Улица, правда, короткая, там всего один дом, вернее завод. Его почтовый адрес – Пролетарская улица, 1. На чётной стороне домов нет, это окраина

Вскоре жестянку с прежним названием убрали, а на её месте появилась металлическая пластина с выпуклыми буквами: «Улица Креветкина».

Это очень задело рабочих за живое. От возмущения они не находили себе места. Им его фамилию слышать противно, а тут идёшь на работу по такой улице

Следует сказать, городские власти проявили определённую дальновидность. В администрации понимали, что рабочие захотят табличку с фамилией постылого директора сорвать или залить краской, в общем, покорёжить. Сделают с ней что-нибудь, потом и спросить не с кого. Как найдёшь виновника? Поэтому следует установить здесь камеру наружного наблюдения. Тогда будет видно изображение вандала, его можно наказать.

Камеру установили довольно высоко, на специальной штанге, обмотанной колючей проволокой. До неё трудно добраться. Иначе бы её в два счёта разнесли вместе с пресловутой табличкой. Рабочие видели камеру, поэтому сдерживались. Кому охота искать приключения на свою шею! Увидят, что ты срываешь название с фамилией бывшего директора, затаскают ещё, чего доброго, по судам.

Короче, работники завода до поры до времени проявляли толерантность к ненавистному имени, хотя внутри всё кипело. Мысль о ликвидации противной таблички зрела. Были разные предложения – путные и отдающие маниловщиной. Всё обсуждалось, только единодушной поддержки ничего не находило. Пока однажды технолог Ошарашин не предложил товарищам по работе такой вариант:

– У меня есть знакомый в стрелковом клубе. Предлагаю через него договориться с каким-нибудь хорошим снайпером. Пускай он издали выстрелит в объектив этой чёртовой камеры. Потом мы с табличкой разделаемся элементарно

Предложение, как говорили в старину, было принято за основу. Детали уточнили быстро. Главная из них – сколько заплатить стрелку за работу. Деньги нужно собрать вскладчину. Решили сначала выслушать его требования, потом уже посчитать, по сколько скидываться.

И тут рабочим несказанно повезло – лучший клубный стрелок запросил чисто символические деньги. Как и многие теремковцы, он слышал о гнусном поведении Креветкина. В глубине души он сочувствовал рабочим и много заламывать не стал. Вдобавок ему хотелось попробовать себя в деле. Тренировки тренировками, только найти практическое применение своим навыкам тоже руки чешутся.

Акцию назначили на обеденный перерыв. Чтобы камера его не зафиксировала, снайпер, его звали Филимон, стрелял издали. На этом и был построен весь расчёт. Как и следовало ожидать, он с первого выстрела разнёс вдребезги объектив, то есть камеры, считай, не осталось. После чего рабочие спокойно довершили начатое дело до победного конца и, содрав злополучную табличку со стены, разбежались… Чуть было не написал привычное «в разные стороны». Но нет – в одну: все вернулись на завод. Действовали они быстро, слаженно. Когда полиция приехала, их и след простыл – все уже на работе.

* * *

В тот день в городской администрации царило унылое настроение. Там даже запаниковали – нужно побыстрее загладить следы бедствия. Пока об этом не пронюхал сам Креветкин. Если обидится на такое непочтительное отношение земляков к его персоне, не видать Теремковску ни инвестиций, ни привилегий.

Было созвано экстренное совещание. Открывая его, мэр Андрей Андреевич сказал:

– Разумеется, всем известно, что Креветкин – дерьмо первостатейное. Однако сейчас он занимает важный пост. В какой-то степени мы от него зависим. Поэтому не надо дразнить гусей. Инцидент с сорванным названием улицы, носящей имя Степана Леонардовича, нельзя оставлять без внимания. Нужно придумать, как побыстрее выкрутиться из этого щекотливого положения.

Стали обсуждать. Выступавшие были более или менее единодушны. Все пришли к выводу, что и пластину с новым названием, и камеру наружного наблюдения нужно восстановить, точнее, поставить на том же месте новую. А дальше начались разногласия.

Некоторые считали, что под названием следует установить полицейский пост и организовать там круглосуточное дежурство. Иначе пластину опять сорвут. Напрасно начальник городского УВД плакался на то, что у него не хватает людей. Его никто не слушал. (Пренебрежительное отношение к его словам отчасти объяснялось тем, что он недавно опростоволосился: после ограбления продуктового ларька в интервью для радио так подробно рассказал о готовящемся плане «Перехват», что спугнул преступников.)

Но и без нытья главного полицейского многим показалось, что устраивать на забытой богом улице круглосуточное дежурство – слишком жирно будет. Спорили до хрипоты и после жарких дебатов пришли к такому выводу: первым делом нужно провести баллистическую экспертизу. Найти место, откуда велась стрельба и установить там камеру наружного наблюдения.

Начальник ГУВД тут же приказал по телефону отправить эксперта на место преступления и, пока на совещании обсуждались другие проблемы (их в городе выше крыши), тот всё разнюхал и, позвонив, доложил, мол, был сделан один выстрел, видимо, профессионалом. Стрелял снайпер, находясь возле заброшенного деревянного домика с покосившимся забором. Эта хибара находилась на углу переулка, начинающегося возле трамвайного кольца и упирающегося в улицу – чтоб ему пусто было (так выразился эксперт) – Креветкина. Больше вроде бы и стрелять неоткуда, высоких построек рядом нет. Напротив того места целесообразно установить вторую камеру наружного наблюдения.

Только наивный человек мог подумать, будто, присобачив камеры наружного наблюдения в двух местах, отцы города поставили перед противниками Креветкина неразрешимую задачу. Она была решена с поразительной лёгкостью. Сначала Филимон с одного выстрела разнёс камеру возле конечной остановки трамвая. Потом перешёл к тому месту, откуда стрелял в самый первый раз. Последовал второй точный выстрел, после чего рабочие асфальтового завода подбежали и раскурочили пластину с новым названием улицы. Считанных минут не хватило полиции, чтобы поймать таинственных нарушителей общественного порядка.

Всё вернулось на круги своя: в городской администрации снова созвали экстренное совещание, и начальник ГУВД опять отправил на место преступления эксперта по баллистике. На этот раз его вывод был менее утешителен. Раньше место стрелка определялось однозначно. Сегодня же у снайпера была двухэтапная стрельба. Сначала он уничтожил камеру на углу переулка. По мнению эксперта, стрелять тот мог с какой-то одной из двух точек. Там по разные стороны трамвайной линии стояли трёхэтажный и пятиэтажный дома. Скорей всего, стрельба по камере велась с крыши одного из них, с какого именно – сказать трудно, гильзу обнаружить не удалось.

– Если будем пытаться выследить стрелка, – это уже говорил начальник ГУВД, – необходимо устанавливать дополнительные камеры видеофиксации на каждом из этих домов…

При этих словах не выдержали нервы у обычно молчаливого начальника финансового управления Причинского.

– Господа! – взревел он. – Вы не отдаёте себе отчёта в своих действиях! Мы уже потеряли две камеры. Теперь уже требуется четыре. Вдобавок нужны кронштейны, электрический кабель. Вы представляете, сколько стоит это добро?!

Тут начальник финуправления озвучил цену, услышав которую, трое из восьми присутствующих принялись лихорадочно глотать валидол, а один – нитроглицерин. Причинский тем временем продолжил свой спич:

– Даже если этот прохиндей Креветкин выделит теремковскому бюджету дополнительные деньги, в чём я сильно сомневаюсь, всё равно мы предварительно ухлопаем уйму средств на сохранение названия улицы его именем. Поэтому подобная новация является нерентабельной. Лишних денег у города нет.

Все задумались. Наконец после драматической паузы Андрей Андреевич сказал:

– Ежу понятно, что эту акцию организовали рабочие асфальтового завода. И будут заниматься они такой ерундой, сколько сил хватит.

– То есть бесконечно, – вставил Причинский.

– Боюсь, что так, – согласился мэр. – Выходит, мы оказались на распутье. Вернуться к старому названию, то бишь к Пролетарской улице, значит расписаться в своём бессилии. Рабочие подумают, что мы их испугались.

– Этого ещё не хватало, – поёжился полицейский начальник.

– Можно из принципа защищать новое. Стоять на своём, и баста. Это означает втянуться в затратную тягомотину. Остаётся поговорить по душам с рабочими. Сказать, так, мол, и так, мужики. Вас наше название не устраивает, предлагайте своё. Если вы считаете, его легко придумать…

* * *

Андрей Андреевич решил поговорить с рабочими лично. Поручить столь щекотливое дело кому-либо из подчинённых было боязно – вдруг наломают дров. Щекотливость заключалась в том, что администрация хотела просить о поблажке. Пускай улица называется так, как пожелают рабочие. Но если в город приедет Креветкин, то на время его визита вешать на место название с его фамилией

– Иначе вони не оберёшься, – такими душевными словами завершил своё обращение мэр, выступая на асфальтовом заводе.

Чувствовалось, его выступление понравилось собравшимся. Они дружно поаплодировали. Затем один из них, заводской ветеран, заклятый противник прежнего директора, обратившись к мэру, сказал:

– Вы с нами по-человечески, и мы с вами по-человечески. Чёрт с ним, с Креветкиным. Если мерзавца случайно занесёт в Теремковск, вешайте название с его фамилией. Не станем вас подводить, потерпим. Тем более что надолго этот босяк вряд ли припрётся. Что касается нашего названия, то с кондачка такие вещи не решаются. Мы тут с товарищами обмозгуем и сообщим вам.

– Только, пожалуйста, чтобы оно было без ненормативной лексики, – попросил Андрей Андреевич.

– Это уж как водится, – заверили рабочие мэра. – Всё будет сделано, как в лучших домах Лондона.

После смены заводская инициативная группа поехала в стрелковый клуб, где вечерами тренировался Филимон. Они рассказали ему о договоре с городской администрацией, сказали, что хотят назвать улицу его именем. Услышав это, снайпер от смущения чуть не выронил из рук винтовку с оптическим прицелом. Он даже покраснел и умолял этого не делать. На недоумённые вопросы ответил.

– Имя у меня редкое, да и фамилия подкачала – Крыльцовский, такая нечасто встречается. Если будет написано «Улица Филимона Крыльцовского», полиция догадается, кто угробил камеры наружного наблюдения, и меня по головке не погладят – оштрафуют или даже арестуют за порчу казённого имущества. Я предпочёл бы остаться неизвестным. Лучше уж от греха подальше назвать улицу как-нибудь по-другому.

Работники асфальтового завода посчитали слова Филимона резонными. Всё же им нестерпимо сильно хотелось каким-то образом выразить свою признательность за безупречно проделанную работу. Поэтому решили имя в названии не упоминать, оставить только настоящую профессию. И вскоре на заводской ограде появилась мраморная дощечка со словами «Улица неизвестного снайпера». Ниже, на уровне человеческого роста, приделали полочку. На ней всегда лежат живые цветы.

ГАДКАЯ ЛОДКА

Еремей Тунцов жил в деревне с романтическим названием Коленовка. Она живописно раскинулась на левом берегу несудоходной речки Теремковки в аккурат напротив районного центра Теремковска. До недавнего времени оба населённых пункта были соединены мостом – добротным деревянным сооружением. Он и пешеходный, и автомобильный. Жители обоих берегов нещадно его эксплуатировали: ходили по нему круглый год в любую погоду. Ну и доходились в конце концов. Всё-таки сооружение находится не в тепличных условиях, стоит на открытом воздухе, солнце, дождь, испытывает чудовищные нагрузки: женщины на шпильках, мужики в башмаках с подковками.

Когда мост через Теремковку настолько прогнил, что от малейшего дуновения ветра рухнул окончательно и бесповоротно, смекалистые коленовские мужики вплотную занялись предпринимательской деятельностью – они стали за умеренную плату на лодках перевозить односельчан на другой берег.

Дело оказалось прибыльным. Горожане, те, конечно, в деревню не шибко-то рвутся. А вот коленовцам в город время от времени приходится ездить почти всем. Там какие-никакие магазины, аптеки, картинная галерея, где раритет на раритете. Одного Эль Греко три штуки. Даже Айвазовский есть. Одним словом, райцентр. Некоторые коленовцы вообще там работают. Ближайший же сохранившийся мост находится за пятьдесят километров, и тот дышит на ладан. Поэтому лодка тут первый помощник, без неё не обойтись.

Те, у кого есть лодка, благодарят судьбу за то, что мост накрылся медным тазом. Теперь у них появился хороший источник дохода. Им платят те, у которых своей лодки нет.

У Еремея Тунцова лодки отродясь не было. Хотя мечтал о ней, можно сказать, денно и нощно. Да всё как-то не получалось, не судьба. Только накопит деньжат на лодку, как вдруг – бац! – подвернутся другие непредвиденные расходы. Последний раз, например, купил горящую туристическую путёвку в итальянский город Венеция.

Еремей поехал туда, потому что любил разглядывать всякие достопримечательности. Хлебом его не корми, а покажи какую-либо диковинку. Только он не бездумно таращился на них, а всегда мечтал, видя что-то путное, внедрить то же самое у себя в деревне. Перенять полезный опыт. Вот и в Венеции он ходил на площадь Святого Марка, на мост Вздохов, посетил Музей стекла, Палаццо Гримани и ещё много на что поглазел. Особенно понравились ему гондолы.

Дело в том, что город Венеция находится на воде. Там вместо улиц каналы, передвигаются по ним не на машинах, а на специальных лодках, которых венецианцы называют гондолами.

Узкие, быстрые, остроносые, похожи на лебедей... Еремей как увидел их, у него прямо сердце затрепетало от зависти. Живут же люди, думает. Почему же мы в своей деревне прозябаем без гондол. Надо будет, когда вернусь в Коленовку, сварганить себе такую же

Сказано – сделано. Руки-то золотые.

Еремей трудился над изготовлением гондолы всю зиму. Торопиться некуда. Пока река замёрзла, коленовцы на другой берег пешком ходят. Это для них лучшее время года. А когда лёд сошёл, началась навигация, так мужики лодки на воду и вытащили. Вывел свою новую посудину на свет божий и Еремей.

Мужики сразу подняли его на смех.

– Какая гадкая лодка! – в сердцах говорили они. – У всех лодки как лодки, а это типичная сопля в обмороке. На неё чихни, она мигом развалится. Такая, небось, воды боится. Хотя бы баржа утащила эту уродину. Только деревню позорит. Тьфу!..

Они так ругали гондолу, что Еремею поневоле вспомнились слова персонажей его любимой сказки про гадкого утёнка.

У потенциальных пассажиров тунцовская самоделка тоже энтузиазма не вызвала. Они предпочитали плавсредства пусть неказистые на вид, зато проверенные.

Так и мыкался Еремей до середины лета, никто не рвался ехать на его гондоле. Уже мать причитала:

– Нашёл бы ты, Еремеша, работу повыгоднее. Устроился бы на птицефабрику или выучился бы на пожарного. Там, говорят, людей не хватает. Оказывается, у нас ещё не всё сгорело.

Лишь одна женщина, у которой неожиданно начались родовые схватки, воспользовалась его услугами, поскольку все другие лодки были в отъезде. (Кстати, будущего сына она на радостях обещала назвать в честь своего спасителя. К сожалению, у неё родилась дочка.)

Но вот однажды в Коленовку приехала большая группа итальянских туристов, целый автобус. Их привезли к соседу Тунцова, дяде Кузе – известному художнику-примитивисту. Итальянцы по горло сыты всякими их Рафаэлями, захотелось чего-нибудь попроще. Вот и приехали в Коленовку. Кое-что купили у дяди Кузи, потом решили прошвырнуться по деревне. Вышли на берег и неожиданно увидели гондолу. Только увидели, как такая ностальгия по родине их обуяла, что приспичило покататься на гондоле. Всем, без исключения.

От такого внимания гондола совсем смутилась. Но нисколько не возгордилась. Она встрепенулась, горделиво выгнула нос и, игриво покачивая кормой, стала с лёгкостью носиться по речным волнам, чувствуя себя здесь как рыба в воде.

До позднего вечера возил Еремей зарубежных гостей: по три-четыре человека за рейс, и в результате заработал за этот день столько, сколько на обычной лодке за всё лето не заработаешь. Даже художнику дяде Кузе такие деньги не снились.

Теперь Еремей мог позволить себе купить любую лодку, даже моторную. Однако его вполне устраивала гондола. На вырученные деньги он предпочёл купить горящую туристическую путёвку в голландский город Амстердам. Хочет побродить по улицам, поглазеть на тамошние достопримечательности, вдруг присмотрит что-нибудь путное для своей деревни.

НОС. ПРИКВЕЛ

Читателям прекрасно памятно начало гоголевской истории про самостоятельные странствия носа майора Ковалёва. Автор подробно описывает, как цирюльник Иван Яковлевич пытался избавиться от обнаруженного в хлебе постороннего носа. Какое-то время он мыкался с ним по городу, покуда не наткнулся на квартального надзирателя. Тому, видите ли, не понравилось, что цирюльник долго стоял на мосту. Прицепился к нему как банный лист, мол, изволь-ка рассказать, бестия, что ты там делал?

Чем окончилась их перепалка, для читателей остаётся тайной. Автор так и пишет: «Но здесь происшествие совершенно закрывается туманом, и что далее произошло, решительно ничего неизвестно».

Действительно, раньше это не было известно. Зато сейчас, когда полицейские архивы открыты и доступны для всех желающих, туман над этой историей постепенно рассеивается. Известно, например, что надзиратель пристал к Ивану Яковлевичу с расспросами. Цирюльник держался как кремень и своей несгибаемой стойкостью довёл надзирателя до белого каления, и тот решил отвести его в околоток. Иван Яковлевич сопротивлялся этому, во время потасовки ковалёвский нос выпал из его кармана и убежал, после чего случились известные читателям события. Что действительно мало кто знает, так это почему нос оказался у цирюльника Ивана Яковлевича. А ведь по горячим следам было возбуждено дело, велось следствие, и хотя это оказался чистой воды висяк, кой-какие подробности сохранились.

Всё началось с того, что в один прекрасный день майору Ковалёву захотелось изменить форму собственного носа в лучшую сторону. Увидел, как одна знакомая дама, дочка столоначальника, которой он строил куры, сделала себе две пластические операции, убрав второй подбородок и установив силиконовый бюст, и тоже вознамерился похорошеть, изменить внешность.

Надобно сказать, в последнее время Ковалёв всё чаще ловил на себе насмешливые женские взгляды. Внимательно рассмотревши себя в зеркале, майор пришёл к выводу, что виной всему нос. Он давно служил предметом насмешек коллег; от него отнимали даже благородное имя носа и называли его шнобелем или рубильником. Вдобавок с годами на нём появилась сеть тонких фиолетовых прожилок, а в аккурат на кончике топорщился жёсткий волос.

Первым делом Ковалёв сунулся в институт красоты, однако там заломили такую цену, которая была ему не по карману. Не имелось у него отца-столоначальника. Бежал оттуда без оглядки. А менять надо – уже настроился.

Ковалёв каждую среду и воскресенье брился у некоего Ивана Яковлевича. И слышал от излишне болтливого цирюльника, что его сосед делает на дому пластические операции. Официально тот работает в клинике лазерной медицины, где операции стоят дороговато. Дома же, по старинке – скальпелем, даже без заморозки, делает по дешёвке.

Иван Яковлевич поговорил с Григорием Петровичем, так звали хирурга, и тот назначил Ковалёву время для визита.

Григорий Петрович долго рассматривал ковалёвский нос, крепко зажав его своими пальцами с изуродованными ногтями. Затем, покачав головой, сказал:

– Нет, нельзя поправить, дюже плохой нос!

У Ковалёва при этих словах ёкнуло сердце:

– Отчего же нельзя, Петрович? – произнёс он почти умоляющим голосом ребёнка. – Ведь только и всего, что убрать лишнее по бокам да укоротить.

– Нет, – сказал Петрович решительно, – ничего поправить нельзя. Надобно менять. Новый ставить.

– Ну, если бы пришлось новый, сколько это будет стоить?

Григорий Петрович, как обычно, был несколько подшофе, поэтому цену назвал достаточно либеральную. Майор согласился. Прежний нос хирург тотчас срезал и пообещал, что завтра днём на его место будет прикреплён новый.

– Мне как раз обещали привезти хороший импортный нос.

– Не из Китая? – робко поинтересовался Ковалёв, недавно хлебнувший горя с соковыжималкой из Поднебесной.

– Нет, греческий, – успокоил его кудесник скальпеля и уточнил: – А денёк походите без носа.

В те времена стукачество ещё не расцвело пышным цветом, однако первые ростки уже пробились на свет божий, и как раз в тот день кто-то из тайных недоброжелателей Петровича сообщил в компетентные органы, что хирург занимается на дому частной практикой, старательно уклоняясь от уплаты налогов.

Когда в воскресенье утром к нему нагрянули из охранки с обыском, его супруга Алевтина Игнатьевна собиралась печь хлебцы, до которых муж был большой охотник. Тесто уже было готово и порциями покоилось на табуретке в нескольких кружках. Завидев незваных гостей, хирург-надомник быстро сунул в одну из них опасную улику – свежесрезанный ковалёвский нос.

Предъявив ордер на обыск, оперативники пригласили двух понятых, одним из которых оказался живший по соседству цирюльник Иван Яковлевич, и принялись было за дело.

В те достославные времена стукачество, как уже говорилось выше, было развито слабо. А о борьбе с коррупцией слыхом не слыхивали. Поэтому хозяева предложили людям из органов обильное угощение, от чего те не нашли сил отказаться. Алевтина обещала приготовить пирожков с вязигой. Их оперативники дожидаться не стали. Похлебали борща с натёртыми чесноком пампушками, отведали бараний бок с гречневой кашей, сдобрив это знатной порцией горилки с перцем, и отбыли восвояси.

Надобно сказать, что Петрович пил наравне с незваными силовиками, которые потом преспокойно удалились по своим правоохранительным делам. В отличие от них, не обладая столь тренированным организмом, Петрович едва дошёл до дивана, рухнул на него и вырубился.

А Алевтина Игнатьевна, накрыв стол оперативникам, продолжила кухарить, то есть печь хлебцы. Один из понятых, видя, что угощения не обломится, деликатно удалился, проклиная жлобских хозяев, а второй, цирюльник Иван Яковлевич, делал вид, что надобность в нём не отпала, продолжал торчать в коридоре, в глубине души надеясь на угощение, поскольку уж такой аромат шёл от готовых хлебцев, что дух захватывало. Однако Алевтина Игнатьевна была женщина мудрая и смекнула, что замасливать соседа вовсе не обязательно.

Потоптавшись в коридоре, Иван Яковлевич понял, что ему ничего не обломится. Однако возвращаться с пустыми руками страсть как не хотелось. Поэтому, улучив момент, когда хозяйка отлучилась в гостиную, цирюльник схватил одну из стоявших на табуретке кружек с тестом и был таков. Придя же домой, вручил тесто своей супружнице Прасковье Осиповне, строго-настрого наказав, чтобы та утром испекла хлеб.

Надобно ли добавлять, что именно в этой кружке и был спрятан орган обоняния, который хирург отхватил намедни с ковалёвского лица.

Утром Иван Яковлевич с неодолимой жадностью принялся есть свежеиспечённый хлеб и наткнулся на инородное тело, то бишь нос.

Положение возникло из предурацких. Признаваться в том, как он попал в их дом, нельзя, поскольку обвинят в воровстве. А он подобных инсинуаций терпеть не мог. Такой уж у этого строптивца был характер. Ещё могли подумать, что это он, неловко орудуя бритвой, по неосторожности отхватил нос клиента. Обвинение же в непрофессионализме ещё хуже воровства. Поэтому Иван Яковлевич решил избавиться от носа, что сделал, правда, недостаточно ловко, что и привело к вышеупомянутому инциденту с квартальным надзирателем, во время которого нос благополучно сбежал.

Постепенно таинственное происшествие забылось, и только пластический хирург Петрович знал истину. Знал, да помалкивал, чтобы не позориться. Тем более подобный казус был далеко не первым в его практике. Что нос! Был случай, когда он отхватил клиенту целую голову, не уследил, и та, улучив момент, сбежала. Её потом Пушкин описал. В «Руслане и Людмиле».

Светлана ФИЛАТОВА

Родилась в 1974 году. Окончила филологический факультет педагогического института в городе Магадане. Работает с детьми.
Живет во Владимире.

СНЕГ В АПРЕЛЕ

25 июня 1988 г.

Наш поезд то летел, то замедлял ход на станциях с чудными названиями: Танхой, Ин, Теплое Озеро, Ерофей Павлович, Зима. Вдоль Байкала поезд ехал долго, то уходя в леса, то приближаясь к озеру, совсем рядом. Деревья вдоль железной дороги становились все выше и разнообразнее. Запомнился вокзал Омска: с неба срывался снег, несмотря на июнь, но уже пахло «материком». Дачные поселки в Красноярском крае выглядели как на открытке: добротные разноцветные дома, затерявшиеся в густых лесах. Ближе к центру пейзаж скучнел, простор открывался взгляду, заборы деревенских домов покосившиеся, а дворы пустые.

А я вновь и вновь вспоминал, как ты пришла меня провожать, эту невыносимую тяжесть оттого, что мы не увидим и не услышим друг друга завтра, послезавтра и многие-многие дни, что вот только встретились и расстаемся. Ведь «расставание – маленькая смерть». Я вспоминал очарование тобой, волнение от мысли, что ты появилась в моей жизни, а еще недавно я не знал, что ты есть на свете. Я вспоминал радость, с которой просыпался и засыпал, нетерпение в ожидании твоего звонка. И этот бег куда-то, неважно куда, но где будешь ты, где я увижу тебя.

Я знал, что вдогонку мне летит письмо. Ведь ты сказала, что мы расстаемся, чтобы писать письма. Эта мысль немного примиряла меня с предстоящей разлукой.

И вот передо мною твое письмо. Я, как уже повелось, сначала повертел конверт, рассматривая рисунок, штампы на нем, всматриваясь в твой почерк, по написанию своего имени угадывая твое настроение, а потом только его раскрыл. Несколько раз прочитал приветствие и побежал по любимым буковкам.

Ты уже считаешь дни. Остался 141 день. И моя жизнь в эти дни будет подчинена ожиданию твоих писем.

17 февраля 1989 г.

Утро. Я пью кофе. И спешу написать тебе.

Ночью я проснулся от страшного сна, долго осознавал, что это только сон. Меня некому было успокоить, потому что все спали. Да и всякому ли это нужно? Я подошел к окну, отдернул занавеску: луна бросала свою дорожку на толстый лед реки, угадываемой за темными пятнами деревьев, а по другую сторону спали дома, вдалеке тускло горели фонари, где-то там был твой дом. Очень хотелось еще кому-то это показать, но было некому. И всякому ли это интересно?

Сейчас я выйду на улицу, встречу кого-нибудь, поприветствую его, мы продолжим путь вместе, мы будем говорить, мы будем вести беседу, так заведено. Но я опять не буду говорить о том, что меня волнует. Всякому ли можно сказать?

Как же часто человек оказывается совсем один…

Но теперь у меня есть ты. И я тебя скоро увижу! Пусть будет пауза между произошедшим и рассказом тебе. Но я могу все о себе тебе рассказывать, я могу довериться тебе. И тебе это будет необходимо, интересно. И ты все будешь понимать так же, как я. И ты всегда найдешь нужные слова.

У меня есть ты! Я не один в этом мире. Это такое счастье! И видишь, как солнце поворачивает на весну, скоро она придет, наша с тобой весна. Весна, которая мне тебя подарила.

29 июня 1989 г.

Сегодня мне хочется подарить тебе самое лучшее, что есть в этом теплом солнечном дне. Я дарю тебе букет полевых цветов. Я мечтаю положить их на подоконник твоего открытого окна ранним утром. Представляю себе: ты просыпаешься, подходишь к окну посмотреть, что за день, а там цветы, и ты знаешь, что они от меня, и они видятся тебе трогательными. Но ты живешь высоко под крышей, мне не дотянуться до заветного окна комнаты, где ты еще спишь, когда я подхожу на рассвете к твоему дому, чтобы первым поздравить тебя. Вдруг ты услышишь мой голос в своем легком утреннем сне?

Это лучший день в году, потому что в этот день появилась ты, моя любимая девочка!

И мне хочется, чтобы встречающиеся на твоем пути цветы эти напоминали обо мне. Пусть они всегда будут от меня.

27 октября 1989 г.

Какое же у нас с тобой было лето! Первое лето вместе. Казалось, мы расставались лишь для того, чтобы немного поспать. Уже с первыми лучами солнца, когда еще ничто не нарушало утренней тишины, шли гулять. Потом были книги, фильмы, музыка.

Как же солнце светило нам этим летом! Где были все остальные? Только ты и я. Мы никуда не спешили, у нас была целая жизнь впереди. И тревоги будут потом. А это лето, единственное такое лето, беззаботное, передышка.

Потом была волнующая осень. Мне думается, что вот это и есть настоящее, это и есть жизнь, когда не думаешь о том, что будет, а все хорошее, что было вчера у нас, с нами и сейчас.

И у меня кружится голова, у меня она давно кружится, я знаю что-то… Я знаю, что ты меня любишь. Я несу в себе эту любовь, свою и твою, и меня так много…

А ты пишешь, что завидуешь даже улицам и домам, которые меня радуют и на которые я смотрю. И счастлива оттого, что завтра меня увидишь и сможешь со мной говорить.

И у нас с тобой еще впереди много-много хороших дней. Звоночек мой, будет наша зима, весна будет вновь!

16 апреля 1990 г.

Солнышко мое, здравствуй!

Ты уехала, а мне хочется писать о тебе для меня.

Знаешь, утром я открываю глаза и еще не успеваю подумать о тебе, а ощущение тебя уже есть. Я оглядываюсь вокруг: каждая вещь связана с тобой, даже если ты ее не касалась. Под звон апрельской капели я выхожу на улицу, меня там все радует, но, на что или на кого я бы ни смотрел, вижу только тебя (а ты спрашиваешь, на кого смотрят сейчас мои глаза) и слышать хочу только тебя. Между строчек книги, которую читаю, я разговариваю с тобой. Ты заполнила собой все, что меня окружает. Получается, что ты всегда рядом. Мне нравится, что все мои мысли и желания стремятся к одному-единственному человеку. Иначе я себя не представляю.

Я тебе еще не рассказывал, что мечта о тебе, такой не похожей и похожей на меня, появилась у меня одной длинною дорогой. Мне было двенадцать, и я определялся для себя, что главное в жизни. С тех пор я люблю дорогу и свою мечту. Все это время я жил в ожидании тебя.

А еще я напишу тебе, что мне часто хочется тебя защитить. От грубости, от боли – не все знают, какая ты хрупкая.

Приезжай скорее. Я тебя очень и очень жду. Я буду ждать тебя всегда…

30 октября 1990 г.

Знаешь, какие запахи того времени, что у нас уже позади, останутся со мной? Это запах прошлогодних иголок в лесу под ногами и запах горящих торфяных болот под палящим солнцем или вперемешку с дождем. Запахи нашего с тобой времени.

Мы с тобой вместе. И я тебя люблю.

Ты пишешь мне такие письма… Наши с тобой письма полны воспоминаний. Но ведь нам и сейчас хорошо? Что же мы забываем ценить это наше сегодняшнее?

Ты иногда упрекаешь меня в том, что я отвлекаюсь на преходящее и уходящее, что смотрю уже не так, как раньше, на тебя. А я по привычке своей рисовать что-нибудь в тетради, сидя сначала на уроках, потом на лекциях, все рисую дорогу к дому с единственным для меня светящимся окном. Ты спрашиваешь, верю ли я в наше будущее, давно решив для себя все, решив, что всякая любовь имеет свой конец. А я знаю, что ты собой заслоняешь для меня всех и вся. И я хочу, чтобы так было всегда.

18 июля 1991 г.

Звездочка моя, ты пишешь, что тебе там хорошо: большой город с его бульварами, запахи зеленой листвы и цветов, всегда тепло, и так не

хочется возвращаться в наши края. Но, несмотря на все прелести отдыха, тебе так не хватает меня.

Еще ты пишешь, что тебе нагадали, будто я принесу нехорошее. Чем же? Тем, что ты меня будешь помнить? Если нам суждено расстаться, ты будешь вспоминать обо мне с нежностью и грустью, а я буду искать похожую на тебя. И, конечно же, не найду.

Я думаю о том, что мы не забываемы. Мы никогда не забудем того, кто нас любил. Мы будем вспоминать того, кто внушил нам любовь. И в этом есть трагедия. Мне кажется, что всякая любовь в чем-то обязательно трагична. Все остальное – как у нашего поэта: «И так они старели оба».

Мы с тобой идеально не забываемы: любимые и любящие. А может, будет все иначе?

Вот куда приводят меня мысли после твоих зарисовок, на которых мы с тобой врозь.

Послушай, мне тут другая картинка нарисовалась, аж зябко стало. Лет так через двадцать пять… По сколько нам будет? О-о!! Метро. Я захожу в полупустой вагон, сажусь на свободное место. Ехать долго, я достаю книгу, которая всегда со мной. Пока открываю ее на нужной странице, оглядываю тех, кто вокруг… Напротив сидишь ты, склонившись над книгой, которая тоже, понятно, с тобой. Я смотрю, что называется, во все глаза, уже сомневаюсь. Ты, почувствовав взгляд, поднимаешь глаза от книги. Смотришь. Я порываюсь встать, чтобы подойти или хотя бы кивнуть в знак приветствия. Но ты смотришь, и на лице твоем ничего не происходит. Ты в другом времени, в другом измерении. Я осознаю, что ты узнала меня. Но я чужой для тебя, ты резинкой стерла меня со всех страниц своей книги, меня давно уже нет на этом свете для тебя. Мы продолжаем смотреть друг на друга, считая невежливым отвести взгляд. И, чтобы это прекратить, я выхожу на первой остановке. Жду другого поезда. Нет, скорее, там, между поездами, меня хватил удар.

И вспоминается из «Обыкновенного чуда»: «Слава храбрецам, которые осмеливаются любить, зная, что всему этому придет конец».

А я вообще-то не люблю предполагать, и ты это знаешь. Мне хорошо сейчас. Ты есть у меня. Я тебе пишу. И скоро к тебе приеду, и мы будем гулять по широким улицам зеленого города, теплый ветерок будет лишь слегка касаться его листвы. Мы будем вместе.

28 апреля 1992 г.

Это письмо навеяно сегодняшней твоей фразой: «Ты был бы моим бережком. Я бы к тебе всегда возвращалась». Письмо, скорее всего, не отдам тебе. Может, потом, через время, если оно у нас будет.

Мне уже не вновь такие твои мысли, пусть и не высказанные вслух. Я вспоминаю Новый год, последний, когда у нас появилась возможность встретить его вдвоем. Но ты была грустная и все повторяла: «Давай поедем в город». Я же не соглашался, я так всего этого не люблю. А просто люблю быть с тобой. А тебе, видимо, со мной было так привычно и от этого скучно, а там, за окнами, где-то, ты хотела кого-то увидеть. Зря я так поступил.

Я же вижу, как ты кружишь по городу, что у тебя что-то происходит; когда получается не по-твоему, ты вдруг даришь мне свою фотографию и подписываешь ее: «Моему единственному другу». Как часто ты потом

будешь кого-то называть «моим единственным другом»? Искренне веря в это.

Ты увлеченно рассказываешь о своих новых знакомых. Ты показала мне человека, который якобы напоминает меня, каким я был раньше. Так мило было это сделать, так по-дружески, как единственному другу.

Ты носишься между своими новыми отношениями и неизменно доходишь до меня, пока доходишь. До меня, который чувствует тебя, понимает с первой буквы, для которого каждое твое слово и интонация его что-то значат, а поворот головы читаем, который ждет тебя, пусть тебе всегда и недостаточно этого.

Ты то хочешь определенности, спокойствия, неторопливости, то тебе все это надоедает, тебе хочется искр. Я же знаю, что такой же, как и прежде.

Я знаю, что никого не надо удерживать. Либо есть эта сила, то переполняющая тебя теплом и желаниями, поднимающая в небеса, то оттуда кидающая вниз оттого, что влюбленный часто сомневается, ему мало примет любви, а еще его охватывает ревность, это стремление к другому через обиды, расстояния и, наконец, годы, либо этого нет.

Теперь я понимаю, что не все люди способны любить всю жизнь только одного человека. И понимаю, что у всего есть свои сроки. Я представляю, сколько раз ты произнесешь это «только ты». Искренне веря в это.

Мы встретились. Значит, это для чего-то было нужно. И уже детской наивной мечтой становится мечта о единственном для меня человеке, который однажды появится в моей жизни и останется в ней навсегда.

И еще я понимаю, что для тебя существуют только твои переживания, важны только твои страдания. То, что других можно ранить, ты знаешь, но не хочешь и не умеешь прочувствовать, у тебя не болит от боли другого.

И мне уже тебе обо всем не рассказать.

Вот с такими мыслями я живу этой весною.

16 сентября 1992 г.

Уезжая, ты говорила, что приедешь скоро, просила, чтобы я ждал, чтобы я поверил тебе, что все будет славно, не так глупо, как было в этот год, что ты развеешь тоску.

А неделю назад пришло от тебя письмо, первое после твоего отъезда. В письме ты сообщаешь, что так же, как и раньше, а может, даже осознанней, любишь меня, что в тебе ничего не изменилось. Описываешь свою жизнь на каникулах. И я еще слабо, но осознаю, что она-то, жизнь, теперь другая. У тебя, а значит, и у меня. И вспоминаю свои слова о том, что это лето отдалит нас друг от друга, а правильнее сейчас сказать: «разъединит».

Но я все равно тебя жду. Разве может быть иначе?

3 октября 2015 г.

«Куда вы всё спешите?» – так однажды прокомментировали нашу постоянную переписку. А мы спешили, спешили обменяться записками, когда находились рядом, потом были письма, доставляемые лично или брошенные в почтовый ящик, письма с печатями местной почты, письма издалека. И телеграммы были, и надписи на стенах о тебе и обо мне.

В наших письмах, говорила ты, только ты и я, это другая жизнь, не та, где много говорится и все слова не те, где мы говорим и не понимаем

друг друга. Мне же именно на бумаге лучше удавалось передавать свои мысли и чувства. Получается, что наши письма жили своей жизнью.

И вот эти твои письма, в которых столько нежности, первозданности чувств и обещаний вечной любви, дошли до меня вновь. Я о них вспомнил через многие годы. И они оказались единственной ниточкой, соединяющей меня с тобой. Горько и сладко было вспоминать… Я так перенесся в то время, что окружающая обстановка превратилась в ту, дома и улицы стали теми домами и улицами, появилось ощущение, что вот сейчас я смогу свернуть за угол и оказаться в твоем дворе. В юных лицах я узнавал нас, мне казалось, что я могу просто набрать номер и услышать твой голос или сесть за письменный стол и написать тебе письмо, зная, что ты хочешь меня видеть, слышать и читать. Прошедшее стало настоящим. Я фанатично не мог оторваться от этих тетрадных листков с мелким почерком. Я умилялся, я ударялся о слова, иногда искренность их обжигала, в душе моей боролись самые противоречивые чувства. Я воссоздавал свои, ответные письма.

10 октября 2015 г.

…Вспоминаю, как не мог справиться со своим дыханием, когда читал эти строчки вслух:

Флоты – и то стекаются в гавани.
Поезд – и то к вокзалу гонит.
Ну а меня к тебе и подавней –
Я же люблю! –
тянет и клонит.

Я избегал смотреть в твою сторону. Все сошлось: имя автора, такого большого и не защищенного в своей любви, его строчки и ты…У меня дрожал голос.

…Мы идем по солнечным улицам города. Мы знакомы давно, и думается теперь, что с самого нашего начала. Голос мой уже не дрожит, и я уже не немой, как во время первой прогулки. Но я по-прежнему тебя люблю и знаю уже, что так будет всегда. Мы говорим о разном. Ты вдруг прерываешься и произносишь: «Как же мне хорошо с тобой вот так идти. Как же мне хорошо с тобой!» Я это знаю. И знаю, что мне так хорошо уже ни с кем не будет.

А потом ты уедешь, не попрощавшись со мной. Уедешь, движимая этим «вперед, вперед, там столько интересного, там интереснее». Уедешь к другим берегам. А я какое-то время буду двигаться по инерции. В толпе прохожих в разных городах выхватывать фигурку, похожую на твою, мне будет казаться, что вот это ты идешь, нет, бежишь, мне навстречу; иногда мне будет слышаться твой голос, называющий меня разными именами, а в висках пульсировать твои слова. Ведь вдруг так не наступишь, не раздавишь, не убьешь то, что было живо еще вчера. С чувством наполненности любовью к тебе трудно будет расставаться и с ощущением, что ты не одинок, тоже. От меня отречется друг, любовь окажется иллюзией. Ты не просто со мной не попрощаешься, ты это сделаешь так, что в своих воспоминаниях я останусь во тьме. А вот сейчас станет важным еще и то, что из моей жизни уйдет человек, который знал меня в нежном возрасте, который связывал меня с местом, где я вырос. Я желал не помнить. И забыл твои острые белые коленки, наш бег навстречу друг другу, наши рука в руке, а потом осторожное прикосновение ладоней, телефонные

разговоры по ночам и, как следствие, обрезанные провода, письма друг другу, надписи на стенах, наши вылазки из дома ранним летним утром, твои волосы цвета ранней осени, а пахнущие летом, твои метания и мою преданность, наши ожидания весны, наше вчерашнее детство и наше завтра, наши постоянные «помнишь», мой восторг (у меня есть ты!) и твои мысли о неизбежном расставании. Отрывок жизни и целый, важный ее период. И не вспомнить, и не рассказать. Как будто не было. И я ощущал себя человеком без этого прошлого. Все почудилось.

А эти письма явились напоминанием и свидетельством моих первых чувств.

В письмах мы намного лучше, чем в реальности. Не в поступках, не в произнесенных словах, не в песне и не на картине, а именно в письмах ничего не надумывается, не обобщается, а есть только автор и его адресат. Письмо – это порыв, это потребность души пишущего, это ее изображение.

26 октября 2015 г.

Этой осенью ты снишься мне. Просыпаюсь и записываю сон. Сон или явь, записать – это единственный способ запечатлеть миг.

В первом сне я в пути. Не из самолета, это точно, передо мной огромное поле, вдалеке – лес. Я увижу тебя. Мне как-то бестолково в который раз объясняют дорогу. Вот я опять из чего-то выбираюсь, на этот раз из кромешной тьмы и воды. Я весь мокрый, обессиленный и, что хуже всего, я в отчаянии, от которого просыпаюсь.

В другой раз я во сне слышал тяжелые капли неуместного после уже не раз выпавшего снега дождя. Ты была такая тоненькая, без прожитых лет. На балконе за шторой. А потом рядом, с холодными ладошками. Мы о чем-то говорили, как будто виделись еще только вчера и в то же время очень давно.

Как многое возможно. Но не оказаться в комнате с сумерками за окном, с разгорающимся камином и книжными полками до потолка, сидеть напротив друг друга, говорить и смотреть друг на друга во все глаза… И ощущать неуходящую уютность души. Я не помню твоего запаха. Я его уже не знаю. Я многого не знаю. Так многое случилось уже без меня. И это не дает мне сейчас покоя.

20 ноября 2015 г.

В одном из писем ты просила, чтобы я обещал никогда не терять тебя. И пусть мои письма будут приходить все реже и реже, писала ты, но помнить о тебе, а лучше о нас.

Видишь, как все изменилось с письмами вообще. Не потрогать, не вдохнуть запах, не вообразить эти сотни-тысячи километров, разделяющих тебя и того, кто подписывал конверт и его запечатывал, не провести пальцем по начертанию твоего имени, в котором читается отношение к тебе, и по милой сердцу подписи, в которой угадывается уверенность или неуверенность пишущего в твоих чувствах к нему. Не надо выбирать бумагу, ручку, выбрав наконец, комкать листки, досадуя, что слова не те. Поставив точку, опустив свою драгоценность в почтовый ящик, начать ждать. Ждать, ждать, всегда находиться в ожидании. И всегда знать, что письмо тебе придет.

Такие письма уже не приходят. А сегодняшние – из слов, составленных одинаковыми буквами, никакие дополнения к ним не передают настроение. У слов нет интонации. Порой, читая, ошибочно расставляешь акценты, неверно понимаешь смысл написанного. За этими пись-

мами не чувствуешь того, кто тебе пишет. Еще ты не уверен, что твое послание получит именно тот, кому оно предназначается. И куда уходит твое письмо, если, например, адресат удалил его или свою почту? Где и зачем оно хранится? И кто еще может его прочитать?

Письма стали другими, уходящими в вечность письмами одного дня. Бессильными и оттого бессмысленными.

И моих писем ты уже давно не ждешь…

20 марта 2016 г.

Я долго смотрел на обложку книги «Я ее любил. Я его любила», никак не мог понять, что мне мешает перевернуть страницу… Название. Я как-то прочувствовал: такого не бывает. Любовь, если она любовь, не имеет прошедшего времени.

Ты к человеку вдруг на какое-то время потеряешь интерес, тебя он может начать раздражать, ты решишь, что продолжение невозможно. Или он тебя может предать, рана затянется, ты вычеркнешь его из своей жизни. Ты интересуешься, увлекаешься, влюбляешься, живешь. Тебя уже «не стучит» при упоминании о нем, ты забываешь о человеке, ты о нем совсем не думаешь.

Отношения заканчиваются, но чувство продолжает жить вне человека, само по себе. Чувство, когда-то дарованное тебе, не убивается, не проходит, не контролируется тобой, не подвластно тебе. Существует вне всего и вечно. Уже данность, неизбежность, судьба, оно лишь слегка касается твоей жизни, и в то же время вся твоя жизнь пропитана им. Но однажды любовь пронзает тебя вновь. С силой в долгие лета.

6 апреля 2016 г.

С неба тихо падал снег в тот день в апреле, когда все только начиналось. И мы еще не знали, как это называется. И все еще было впереди. И все еще будет. А ты уже смотрела мне вслед, на меня, пересекающего площадь перед твоим домом, и на этот снег. А я этого не знал и не оборачивался. Оборачиваться я научусь потом.

Видишь, все-таки случилось, что «человеческая жизнь тянется слишком долго для одной любви» и «любовь чудесна», но «кому-то из двух всегда становится скучно», а «другой останется ни с чем».

И сегодня где-то так же тихо падает снег и так же все только начинается. Для других, уже не для нас с тобой. Теперь с каждым новым снегом, вдруг выпавшим в апреле, с каждой новой весной ты становишься все дальше и дальше от меня.

Ты как-то писала, что единственный способ для меня не стариться, оставаться молодым – чувствовать то, что было у нас в самом начале. И я… остаюсь, моя любимая девочка, самая звонкая и смелая, самая трогательная и нежная, неповторимая и незаменимая, самая невероятная девочка на свете. И я это знал еще в том самом начале.

Георгий ПАНКРАТОВ

Родился в 1984 году в Ленинграде. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет им. М.А. Бонч-Бруевича. В разное время проживал в Севастополе, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Омске, Москве. В последние несколько лет работал как публицист и редактором в СМИ.

Публиковался в журналах «Нижний Новгород», «Знамя», «Новый мир», «Урал», «Москва», «Нева», «Сибирские огни» и других. Автор двух книг прозы. Лауреат премии журнала «Урал» за лучшую публикацию 2016 года (проза), победитель Германского международного конкурса русскоязычных авторов «Книга года» (2018).

Живет в Москве и Севастополе.

ТОТ САМЫЙ МОМЕНТ

– А теперь развернулись и тоже показали всем им «фак»! На раз-два!

Заводила в сером костюме и галстуке озвучил предложение в матюгальник, толпа же, состоявшая большей частью из совсем молодых людей, вчерашних школьников, радостно откликнулась. Колыхнулось море цветастых флагов с символикой партии, под которыми шла молодежь, и ввысь взметнулись сжатые кулаки, распрямленные средние пальцы.

– Вот вам! – орал заводила в костюме.

Их партийная колонна сопровождалась хоть и жиденьким, но вооруженным дубинками полицейским отрядом. Это и вдохновляло заводилу, решившего ответить «маргиналам». А то как же? Молодые люди, стройные, улыбчивые, в хороший солнечный день решили поддержать идеи партии, прошли по улице, дошагали до перекрестка и хотели все так же улыбчиво, по-летнему, по-солнечному, вклиниться в большое шествие. Вот прошли люди под красными флагами, вот – под трехцветными, вот – несколько человек – под зелеными… Полицейские дали сигнал: все, можно идти… И тут, поворачивая, «вчерашние школьники» увидели *их* – анархистов ли, правых, левых… черт знает, кем *они* были, но *они* были, и *их* было много.

Кем они были – молодежь разобрать не успела, да и не хотела разбирать. Артур Мглицкий, студент-второкурсник, пришел сюда с другом Саней – собственно, тот и предложил халтурку: два часа под флагами, двести рублей на выходе, а «флаг потом хоть в реку бросай, хоть в ж… засовывай». Артур согласился – ему вечно не хватало денег, даже на питание в столовке, а тут такое: просто приехать, пройтись… Безопас-

но, нескучно. И, завидев колонну суровых парней в мрачных одеждах, в устрашающих масках с прорезями для глаз, под черными, злыми флагами, он на секунду опешил, но посмотрел на конвой полицейских, и отлегло…

Завидев их колонну, «анархисты» зашумели. До Артура доносились лишь отдельные звуки, обрывки фраз: «Суки, продажные шлюхи…» А затем были «факи»: черная колонна замерла и протянула в их сторону средние пальцы. На том все могло и закончиться, если б не заводила – координатор их колонны, «политтехнолог хренов». Опьяненный обещанной безопасностью, он решил ответить «анархистам»…

А затем все пришло в движение. Черная река вылилась из берегов; вооруженные кастетами, дубинами, древками от флагов, радикалы устремились к ним. Полицейские – те же вчерашние школьники – растерялись, опешили, и через мгновение цветастые флаги уже валялись на земле, а молодежь рассыпалась в разные стороны, визжа от страха. Кровь пролилась по земле: «черные» били молча, слаженно, подготовленно. Забегали сзади, перерезая пути отступления. Очнувшись, молодые полицейские кричали в рации: подкрепление, подкрепление… Артур искал взглядом лазейку – куда лучше бежать. Пока не увидел рядом с собой двух крепких парней в черном, с какими-то символами на груди. Но страшно не было. Один из парней замахнулся, готовясь ударить, но неожиданно смачно плюнул Артуру в лицо.

И он вдруг кое-что понял. В тот самый момент.

Потом их, конечно, избили, и уже по дороге домой, отплевываясь и вытирая с лиц кровь, друзья зачем-то заспорили.

– Ну ты же никогда не будешь согласен с их идеями, – говорил Саня. – Ты хоть знаешь, чего они вообще хотят?

– Это правда, – отвечал Артур, – но я не согласен и с безыдейностью. Надо, чтобы идеи были.

Друг смотрел на него с сомнением, качал головой: мол, чего ты затеял, и так хреново…

– А ты знаешь, чего *мы* хотели? – спросил Артур.

С тех пор прошло много времени. Очень, очень много времени прошло… Почему же он вспомнил теперь тот случай? Он сидел один за столом, возле задернутых штор, горела лампа. Торопиться было некуда, ведь врач же сказал: «Все случится незаметно, ну, может, прихватит, и ты поймешь… Но тут и случится, прочувствовать не успеешь…» Это «поймешь» – оно пугало, конечно. А еще пугало то, как прозвучала страшная новость – в обычном, будничном антураже: кафельные стены, стол посреди кабинета, характерный медицинский запах, даже скелет в углу и эта картинка, знакомая с детства: организм человека в разрезе – на белой стене. Как делается укол или анализ крови какой-нибудь, как говорится: «Скажи “а!” Покажи язык…»

Артур уже был спокоен, когда уточнял подробности. Саму новость узнал раньше, потом его оставили одного. И плакал, и бил кулаком о стену, и сознание терял, и искусал губы в кровь… Сидел в исступлении, пытаясь начать думать. Пил успокоительные. Снова плакал, снова бил кулаком.

После того митинга жизнь сильно не изменилась. Ну, пришло озарение и пришло… Было над чем подумать, пока залечивал раны, пока приходил в себя. Но жизнь все равно забрала свое. Студенческие будни – нехватка денег, вечный поиск работы, с переменным успехом – влюбленности, острая нехватка развлечений, впечатлений…

Хоть и говорили, что студенчество – самое яркое время. Не получилось с яркостью. Сессии, экзамены, курсовые. Пересдачи, опять сессии… Диплом, госэкзамен, работа… И взрослая жизнь. Основной ее идеей стало выжить, вытянуть свою лямку – и хотелось бы, чтоб были другие, но для других не хватало ни сил, ни времени. Иногда железная хватка, сдавившая горло, ослабевала, и он предавался радости. Пьянство, разврат, что еще?

– Гедонист, наделенный отменным пищеварением и глухой к изначальному трагизму бытия, – сказала однажды жена, читая какую-то книжку. Потом отложила и посмотрела так на него: – Артур, это же про тебя!

«Может быть», – думал он. Хотя слово гедонист вызывало, конечно, усмешку. Какой из него, замученного, гедонист?

Та жена прожила с ним недолго. А другой не появлялось. Работа – машина – дом, компании, вялый отдых… Обзаводился вроде связями, деньгами да прожитыми годами. Скоро предстояло менять паспорт – последний раз в жизни, думал с усмешкой. Так докатился и до этого дня, до этого стола и этой лампы в тишине… А от той усмешки не осталось и следа…

Гулял по лесу на праздники, подцепил клеща. Не сразу заметил, а когда заметил, то долго ворчал: «С-сука, остаток выходного испорчен!» Идти в клинику не хотелось – Артур ненавидел врачей, больницы – подумал: ну, может утром, перед работой… Но к вечеру тело взял озноб, он полез в Интернет и стал читать про клещей. «Чего здесь только не пишут!» – подумал, но все-таки испугался. Решил поехать.

Редкий случай, очень редкий, объяснял потом врач, качая головой. Редкий, но меткий, понял Артур: смертельный. Он не верил. Отказывался верить. И вправду, кто вот так, с ходу, способен поверить, что можно умереть от укуса какого-то там клеща? Да не сразу, а через три дня. Но, что называется, с гарантией.

– Ничего нельзя сделать? – кричал Артур. – Ничего? Ничего?

Он не был героем, ему было страшно. И еще не отпускало странное ощущение: если вот так умереть, как говорит врач, через три дня, – глупо, то зачем была вся жизнь? Для чего? Ведь жизнь должна иметь объяснение, а он не дожил еще до объяснения! Так разве же он может умереть?

«Все случится незаметно, – успокаивал врач, – ну, может, прихватит…» Все три дня можно жить обычной жизнью, говорил он. Ну, может, легкий озноб будет. Но не более. Затем он развел руками.

Весь следующий день Артур пил. Бухал, нажирался по-черному, иными словами-то и не скажешь. Но к вечеру в голову ударило что-то посильнее водки: вдруг пьянство ускорит смерть? Гибель? А так хотелось жить. Он представил на миг: если б была семья… Дети, жена, и такая новость… Как бы они ее пережили? Что чувствовали бы? Артур порадовался, что у него не было семьи. Хотел спьяну позвонить бывшей жене… Да ведь она была не просто бывшая. Она была так давно бывшая, что и бывшая ли?

Начальнику все рассказал как было, коллегам попросил не говорить. И сам не собирался: сил не хватило бы. Да и что им с того, коллегам? Босс долго протирал очки, дышал тяжело, кашлял. Потом наконец сказал:

– Закончите здесь все дела. А то нехорошо как-то…

Совершал звонки, перебирал бумаги, сортировал, раскладывал по папочкам, папочки – по ящичкам. Упорядочил значки на рабочем столе

компьютера, очистил корзину. Скрытые папки удалил, проверил в последний раз корпоративную почту. Всегда улыбчивая Лиличка, сидевшая за соседним столом, часто строила ему глазки, пыталась склеить, но сегодня ей было словно наплевать. Она смотрелась в зеркальце, потом копалась в телефоне, потом долго и шумно пила чай. Разгадка была проста – ей кто-то подарил букет из синих роз, курьер доставил прямо в офис. Теперь она гадала: может, кто покруче, чем Артур, поинтересней? Вдруг судьба улыбнулась ей, и она все-таки выпорхнет из этого офиса счастливой птичкой? И бог с ним, с Артуром тогда, это же так, от безрыбья…

Но когда он засобирался домой, повернулась.

– Чего так? – спросила вяло. – Вроде же не планировал уходить. А тут так срочно, бросаешь все!

Он что-то ответил Лиличке, что-то совсем тусклое, и она отвернулась, уставилась в монитор.

– Старик! Ну неужели уходишь? Нашел что-то достойное себя! Ну наконец-то! Я всегда знал, у тебя получится, старичок!

Это Борис, «скользкий тип», как про него всегда думал Артур, – молодой менеджер, дальний родственник босса: прилизанные волосы, галстук в крапинку, еще вот это вечное «старичок». Артур ненавидел любого, кто обращался к нему «старик», кто вообще пользовался этим обращением… Ненавидел, но терпел, здоровался, улыбался. Но сейчас вдруг захотел высказать ни в чем не виновному, кроме того, что подвернулся под руку, Борису, все, что думает о нем и что думал всегда:

– Идиот ты, Борис, придурок! И сам ты старичок, и вообще… пошел ты… Не будь ты родственником босса, я б давно тебя уже…

Но он не сказал, больше того – он даже не смог дальше думать: мысль не шла. Стало противно.

– Удачи тебе, Борис, – тихо, но уверенно сказал Артур. – У тебя все впереди. У тебя все получится.

Прилизанный уставился недоуменно, потом переглянулся с Лиличкой. Та пожала плечами и – снова в свой монитор.

Поспал он совсем немного – мешали страхи. Ему было страшно от того, что должно случиться. От того, что неизменно произойдет. Он пытался вспомнить диагноз, который поставил врач: как же она называлась, эта болезнь, которой его наградил клещ. Да смерть – вот как она называлась, смерть! И клещ этот – сам умер, чтобы убить его, человека… Странная, странная эта природа!

Он наспех оделся и отправился в утренний парк. Жадно пил воду из пластиковой бутылки – обычную, негазированную даже воду, и она казалась божественно вкусной. Зачем пить что-то еще, если ничто так не утоляет жажду… Это вечное состояние человека. Артур сидел на скамейке, и вокруг пели птицы, и он их слушал. Ему было больше не о чем думать, у него не оставалось дел; оставалось только немного времени – чтобы послушать птиц. «Как интересно, вроде бы столько событий… Такая большая жизнь, и все в ней было». Он помнил молодость – как гулял, ходил по улицам, что-то делал, с кем-то говорил… Ведь птицы были постоянным фоном, а он их никогда не слышал. Он помнил все – но не помнил в своей жизни птиц. Как будто бы их и не было. А теперь не было ничего, только птицы.

Слышал ли он их теперь потому лишь, что скоро смерть? Потому что все так обострилось, потому что он вдруг очнулся, открыл заново мир? Нет. Он просто вырос, достиг того возраста, когда *слышишь* птиц.

Когда их запоминаешь. Он бы слышал их и если бы все было хорошо… Если бы ничего не случилось. Слышал бы так же.

Потом он гулял, шарахаясь от случайных прохожих, и к нему приходили совсем уж странные мысли.

«Я ничего не знаю о жизни. Ничего не знаю о себе. Ничего не знаю о своем роде, предках. Даже о своей семье. Об истории…»

А ведь история – это и есть жизнь, и она – не такая большая, думал Артур. Не жизни – какого-то года хватило бы, чтобы ее узнать, охватить: чем жили люди раньше, как они жили. И может, понять зачем. Но он не успеет. Артур подсчитал: один век – сотню лет – проживает «ну, где-то пять человеческих поколений: он, отец, дед, прадед…» Прапрадед – это уже другой век. А всего-то двадцать веков осмысленной, внятной человеческой истории, а российской – и того меньше. «Когда там был Рюрик? Девятьсот восемьдесят восьмой? Восемьсот девяносто какой-то?»

Артур подумал то, чего никогда не думал прежде: какое-то совсем смешное количество поколений отделяет его от Рюрика, от тех времен… «Пятьдесят, семьдесят? Ну где-то так… А до Иисуса Христа?»

Вот и вся жизнь человечества, о которой он, обычный человек, ничего не знал. Мысли вернулись в привычное русло: как хорошо, вспомнил он, что нет в живых ни отца, ни матери. Клещ! Как бы он сказал им: меня укусил клещ… Представляете, мама и папа, смертельный клещ замедленного действия.

«Впрочем, а вдруг они знают? А вдруг я увижу их?»

От этих мыслей было холодно, он гнал, гнал, гнал их от себя… Впивался глазами в любое дерево, чтобы думать о дереве, в любую травинку, чтоб думать о травинке, чтобы раствориться в ней, стать ею.

А потом, ближе к ночи, оставалось только сидеть. Он ушел от людей, очутился дома. Что ему было делать? Переоценивать ценности, корить себя за упущенное, наслаждаться приятными воспоминаниями? Проживать жизнь заново... Впрочем, была ли жизнь? «Бытность, – вспомнил он странное слово. – Вот это что: бытность».

Он ничего не вспоминал, ничего не переоценивал. Просто сидел.

– Беда, – сказал он. За окном – Город. Артур задернул штору, включил настольную лампу.

И вспомнил митинг. Он идет молодой, в колонне. А напротив – толпа непонятных, страшных людей. Почему он все это вспомнил?

Что-то щелкнуло в мозгу, переключилось, словно опустился неведомый рычаг. Артур почувствовал несильный укол в сердце. А само тело словно свело судорогой, затем оно застыло, а затем он осознал со всей ясностью: это тот самый момент.

– А теперь развернулись и показали им «фак»! На раз-два…

И парни в черном, бегущие к нему.

Но страшно не было.

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ЛИФТ

Осень и в этом году наступила рано. Имело смысл встречаться днем – чтобы пройтись по светлому городу Петербургу, а не бродить впотьмах в поисках кафешки, в которую можно было приткнуться. Павел набрал номер.

– Мы отоспимся сейчас, и потом я тебе позвоню, – ответил женский голос шепотом и так быстро, словно выпалил скороговорку.

– Ну, привет, во-первых, – опешил он. – Кто это – мы?

– Я с ребенком же приехала, забыл?

– Да нет, не забыл, – Павел почесал голову. – Но я думал, тебе есть где… с кем оставить. Ты же у кого-то там остановилась.

– Ну да, у подруги.

– Так ты выходи, за ребенком присмотрят, – по правде, Павел не очень любил детей и совсем не знал, что делать в их обществе. Хотя и не испытывал к ним неприязни: дети ему были безразличны.

– Ты сам как ребенок, – сказал женский голос, как показалось Павлу, раздраженно. – Ну что ты, не понимаешь? Мы всегда вместе.

«Ты не говорила, что мы будем встречаться с ребенком», – хотел было ответить мужчина, но решил не начинать: и вправду звучало бы как-то по-детски. Но что сделаешь, он этой встречи ждал – с тех пор как она написала, что приедет в его город из своего прекрасного далека, где обитала в последние несколько лет, он, можно сказать, считал дни. Придумал программу: прогулка, ужин, вечерние гуляния по центру вдоль Фонтанки с шампанским, веселые истории о былом…

– Ладно, Лия, – хмыкнул он. – Отсыпайтесь. Ты в каком районе хоть остановилась?

Услышав ответ, он присвистнул: как далеко от центра! Где-то между «Московской» и «Купчино», хуже и не придумаешь! Пока они там отоспятся, пока будут ехать…

– Может, ты сюда приедешь? – прозвучал голос в трубке.

– У тебя будет так мало времени? – спросил Павел.

– А что, – усмехнулась она. – Ты думал, я на ночь останусь?

Павел почувствовал себя глупо, словно его устыдили: и вправду, чего это он? Приличная замужняя женщина приехала в город, где давно не виделась – наверняка – не только с ним. С ребенком опять же… Да ведь и сам он уже несколько лет был, как говорят, несвободен – в браке, хотя и без детей.

Но он подумывал, чего скрывать. Не то чтобы надеялся, не то чтобы ждал, не то чтобы хотел во что бы то ни стало. Однако – не исключал. Был бы не против. Был бы только за. И даже присмотрел пару гостиниц. «Своя» была в командировке – объяснять ничего не пришлось.

Повезло, считай. И тут Лия… Внезапно ему стало смешно – от своей же глупости, от нелепости всей этой дикой, но банальной ситуации.

– Что, убиваешь интригу? – расхохотался он.

Но Лия не поняла шутки.

– У нас там парк небольшой, у метро.

– Что-то не помню на «Московской» парков…

– Да нет, мы к парку Победы подъедем.

Ну вот, она теперь – это «мы».

– Вот в нем и встретимся. А потом я поеду, – она назвала еще одно кошмарное место в городе: то ли «Ломоносовскую», то ли «Елизаровскую», – к подруге. Там у нее и останусь.

– Звони, – сказал Павел и положил трубку в карман.

Он отправился на кухню, достал из холодильника рагу, приготовленное женой перед отъездом, и положил пару ложек в тарелку. Поставил в микроволновку.

Открыл ноутбук, зашел в папку «Фото». Вот она, Лия, – восемь лет назад. Совсем молодая девочка… Ну как – это теперь казалось, что молодая. А на снимках им по двадцать пять – ровесники, даже дни рождения рядом: у нее с небольшим отставанием, как и положено женщине – в несколько дней. Все-таки чуть моложе.

На фото они у разведенных питерских мостов, белые ночи, – улыбаются, Павел обнимает Лию, целует ее в щеку. Вот она с цветами в его квартире, вот они в снова в центре, но уже с друзьями – как их зовут всех, вспомнить бы? – что-то пьют, а вот они снова дома, Лия в короткой юбочке… Были фото и откровеннее, но удалил их все. Потом жалел часто. А часто – не жалел.

Со временем он забыл ее. Как забывается всё и забываются все на свете. А в те дни казалось, что забыть ее нельзя. Что забыть ее невозможно. Лия не была с ним счастлива. Она своей маме однажды сказала такое, что было так больно узнать…

– Ну как там у вас с Пашей? – спросила мама.

– Да чего говорить-то? Он так, запасной вариант.

А мама взяла и рассказала Паше. Думала, сам уйдет – обидится и уйдет. Мама хотела для дочери лучшей судьбы. Да и сама дочь хотела. Кто был такой Паша? Перебивался случайными заработками, постоянно крутился «со своими пацанами», серьезными вещами не интересовался. Пил, на футбол ходил. Ночью шатался по улицам.

– Я люблю тебя, Лия, – говорил он. – Я сделаю все, чтоб с тобой быть, ты только скажи… А то я ж не понимаю, что тебе не так.

– Ну так соответствуй, – загадочно говорила Лия, облаченная в тонкое леопардовое пальто. Так завершилась одна из последних встреч. «Восемь лет, – думал Павел, поедая свое рагу. – Восемь лет».

Потом он закрыл ноутбук. И даже занялся мелкими делами: что-то нужно было подкрасить, что-то подкрутить, что-то прибить. Но воспоминания не уходили, наоборот – наступали с новыми силами. Словно это они *подкрепились*.

– Ты что, ждешь, что я признаюсь в любви? – смеялась Лия. – Я не люблю тебя. Зачем говорить то, чего нет?

Был день его рождения – единственный, который они праздновали вместе. Павел стоял на крыльце ночью и долго – одну за другой – курил. Было ясно, что все это кончится. Но он был готов прожить до конца. Ему без нее было плохо, одиноко, муторно – в те годы он думал, что это и есть любовь. Он писал ей эсэмэски о том, как она прекрасна, как звезды

и небо любят ее и желают ей доброго утра и хорошего, полного чудесных впечатлений дня. А время шло – и шло быстрее, чем он думал.

За восемь прошедших лет жизнь Павла наладилась. Она не стала слишком уж хорошей – скорее обычной, как у многих. В ней были заботы, проблемы, и даже тоска была. Но все-таки она стала лучше. У многих пацанов, с кем гулял ночи напролет Павел, жизнь лучше не стала. Так что, считай, повезло. Он добавил ее «ВКонтакте», стали переписываться: как дела, нормально. Несколько лет назад у Лии родился ребенок – эта новость промелькнула где-то между спортом и политикой и не вызвала в нем эмоций: ну, родился и родился, хорошо.

А тогда…

– Вот зачем ты мне все это пишешь? – говорила ему Лия. – Все эти слова – что люблю, не могу, ты такая красивая, классная… Ну и чего? Ну красивая, классная. Дальше что? Это ж одни слова. Постоянные слова!

– Вначале было слово, – пошутил Павел. Он и не знал, что эта невинная фраза и станет последней каплей.

– Все, – Лия выпустила его руку и резко рванула вперед. Под ногами тревожно метались осенние листья, покорные ветру, словно своей судьбе. Осень тогда наступила рано – как и теперь.

– Я не хочу отношений, – кричала Лия и бежала, бежала куда-то вперед. – Мне надоело. Ищи себе ту, для которой… вначале слово.

Он пустился за ней, хотел остановить. Не понимал, как можно бежать в тот момент, когда рушатся отношения, как можно торопиться… ведь он же такой важный – этот момент.

– Ну остановись ты! – воскликнул Павел в сердцах. – Подумай, что делаешь.

– Я? Уезжаю, – насмешливо выдохнула Лия. – Уезжаю в Москву.

– Да? – Павел опешил. – И что ты там делать будешь?

На этот вопрос он получил ответ все в той же ленте новостей, когда там стали появляться первые фото со свадьбы и полные трепетных смайликов поздравления ее подруг. Лия выбрала мужа смуглого, кареглазого, черноволосого, крепкого – похожего на цыгана. Да еще и айтишника, как он узнал позже.

– Не, ну ты представляешь – айтишника, – кричал он в пьяном угаре своему беспросветно далекому от этой трагедии другу. – Ай-ти-шни-ка!

– Ну, и чего? – икал друг.

– Как чего? Тут даже объяснять ничего не надо! Тебе недостаточно, что он айтишник?

Павел выглянул в окно – скоро совсем стемнеет. «Зачем решил встретиться?» – думал он. Лия причинила ему много боли – но все это было давно, так давно, словно и вовсе не было. А на фото он видел красивую женщину – молодую, стильную, ставшую только лучше за эти прошедшие годы. Переспать с ней теперь, если такое представить, – значило только одно: свести наконец счеты. Не с ней – с тем собой, который убивался от отчаяния, от невозможности вернуть ее, что-то изменить. Было заманчиво сделать это теперь, когда оно было совсем не нужно, совсем не обязательно, но… в принципе, неплохо. «Просто сделай это, – думал он. – Заверши ту историю, что когда-то начал. Поставь наконец точку». Почему-то ему казалось, что и сама Лия будет не против: вырвется из будней, как об этом часто говорят.

Но теперь, связавшись с ней утром, он понял: никакой точки не будет. Будет встреча – возможно приятная, возможно, какая еще –

но короткая. Встретиться и разбежаться, чтобы… чтобы что? Наверное, уже никогда не увидеться.

– Я буду любить тебя вечно, – кричал он ей в трубку. – Буду! Буду!

– Сукой буду, не забуду, – смеялась Лиечка из далекой Москвы.

«Может быть, *это* и есть настоящая точка? – размышлял он уже в метро, по дороге к ней. – Такая, как надо».

В московском парке Победы было уже так темно, когда они встретились, что даже на телефон оказалось нечего снимать. «У нас в Москве утки толще». – «У нас в Питере все по-прежнему». На траве, возле аллеи бренчал на гитаре уличный музыкант – унылый шансон, решил Павел:

Ты виновата сама,
Что не поверила в это.
В городе Бийске зима,
В городе Питере лето.

Песня ему не понравилась – в городе Бийске бывать не доводилось, а петь про лето в Питере было поздновато: хотелось разве что вздохнуть, в очередной раз вспомнив, как быстро оно прошло. Павел прошел мимо музыканта.

Лия была маленькой и стройной, но уставшей – по глазам было видно: регулярно недосыпает. В какой-то момент между ними повисла неловкость.

– Ну, как дела-то? – спросил Павел, лишь бы что-то спросить.

– Да вот все мои дела, – она показала на ребенка. – Вот и все.

Для интереса он даже взял ручки коляски и покатил ее – под пристальным наблюдением Лии.

– Да… любопытные ощущения, – только и нашел что сказать он.

Павел и не заметил, как они оказались на детской площадке. Лия оставила коляску и пошла с малышом на горку. А устав от горки – к деревянному грузовику. Ребенок сидел довольный, изображая водителя, а Лия крутилась вокруг него, лепетала что-то. Павел стоял рядом, смущенный, и не знал, чем занять себя, что сказать. В какой-то момент ему захотелось уйти.

– Ну, чего ты? – спросила Лия. – Расскажи что-нибудь. А то все молчишь.

– Так и ты все… вроде с ребенком. Чего я встревать буду.

Внезапно он понял, зачем так хотел этой встречи. Нет, переспать, «завершить» – это только напускное, он и сам понимал теперь, как глупа была такая идея. Павел пришел на встречу, чтобы что-то почувствовать, что-то прожить – хоть какую-то высечь эмоцию из тех двух холодных камней, которыми они вдруг оба представились в его воображении. Но ничего не высекалось, не рождалось. Даже не вспоминалось ничего.

Другие люди будут жить, страдать и побеждать, проигрывать и подниматься, влюбляться и добиваться, встречаться и вспоминать, в конце концов. Другие люди будут создавать мир или менять его – это пока неважно. «А наша задача теперь одна – выпустить их в этот мир. Мы свое прожили и свое пережили». Внезапно Павел ощутил неловкость, оттого что у него нет ребенка. Вот у нее, у Лии, все правильно, все так, как надо, – по биологическим часам, нормальной человеческой программе. А у тебя? Женат? Ну хотя бы. А ребенок? Ребенок-то где?

В свои тридцать три он впервые понял: наступила осень. Но как же она рано наступила! Или осень – всегда наступает рано?

Ребенок Лии смущал Павла – он был похож на отца-цыгана как две капли воды; должно быть, отец гордился. От девушки, в которую тот, молодой совсем, Паша был так бесконечно влюблен, в малыше не было ничего. Он орал, бесился и ломал все, что ему попадало в руки. Лия крутилась вокруг него и причитала:

– Попей этого сока… Поешь кашки… Возьми кота, ну посмотри, какой кот!

– Так и живем, – говорила она Павлу, и он, не зная, что отвечать, кивал. Только однажды сказал, про ребенка:

– У него какая-то страсть все крушить, ломать.

Ребенок крутил в руках резинового кота и, кажется, пытался свернуть ему шею.

Лие кто-то позвонил, и она долго кивала, слушая голос в трубке, и ничего не говорила в ответ. Ребенок подошел к маленькому мусорному баку возле кафе, чуть приподнял и отшвырнул от себя. Мусор и окурки покатились по асфальту.

– «Зенит» – чемпион! – крикнул Павел, изображая веселье. А сам подумал: «Ну вот. Это и есть точка».

– Поможешь довезти коляску? – спросила Лия.

И добавила:

– А то как самой?

– На «Ломоносовскую»? Или «Елизаровскую»?

– Да там от любой доеду.

– Может, такси? – предложил Павел, но Лия сказала:

– Нет.

Это слово она говорить умела – все так же твердо, как и восемь лет назад.

Они стояли на станции, возле раздвижных дверей. «Горизонтальный лифт», вспомнил Павел и тут же сказал об этом Лие – лишь бы только не молчать.

– Такие станции есть только у нас, в Питере, – со знанием дела добавил он.

– Ага, – Лия кивнула. – Бери вот здесь, сейчас заезжать будем.

Павел вспомнил – но на одно лишь мгновение – точно такие же двери, но только другой станции. То ли «Маяковской», то ли «Александра Невского». Лия уже не была «его девушкой» и перевезла половину вещей в Москву, но они зачем-то встретились еще раз. Хотя – понятно зачем: он хотел вернуть ее, хотел «добиться». Но для Лии все было решено. Они возвращались с концерта Налича – черт его дернул идти на Налича, скучно же, и пацаны бы не поняли. Но Лия любила Налича, а он любил Лию – вот и пошли. Он потянулся поцеловать ее, слыша звук приближавшегося поезда. Ему – на другую ветку.

– Ты все еще надеешься, что что-то будет? – засмеялась Лия, погладив его рукой по щеке. – Смешной ты.

И двери «горизонтального лифта» распахнулись, забирая ее навсегда.

По морям да по волнам,
Ай, лодочка несется.
А моряк на корабле,
Ай, весело смеется,

– пел Петр Налич, и Павел раскачивался в такт музыке и шептал слова красивой песни. Лия улыбалась. Когда он был в последний раз на концерте? Хоть на каком-нибудь…

– А ты?

– Ой, не спрашивай, – отмахнулась Лия. – У нас дома знаешь, какие концерты… По заявкам и без.

Он помог занести ей коляску в трамвай, ну а дальше – «подруга встретит», сказала Лия.

– Так что можешь идти, – улыбнулась она. – Я была рада тебя увидеть.

Павлу вдруг захотелось, чтобы она спросила – хоть он и понимал: не спросит, – а есть ли те чувства, ведь обещал любить всю свою жизнь, до смерти, помнишь? Что бы он сказал? Павел смотрел ей в глаза и подбирал ответ на этот вопрос, который никогда не прозвучит. А трамвай подъезжал к остановке.

«Разве это имеет значение? – пожалуй, произнес бы Павел. – Какая разница?»

Он улыбнулся и тихо сказал:

– Я тоже.

Дмитрий ЛАГУТИН

Родился в 1990 году в Брянске. Окончил юридический факультет Брянского государственного университета, работает юрисконсультом в сфере строительства.

В 2017 году занял первое место в международном конкурсе «Всемирный Пушкин» в номинации «Проза». Лауреат национальной премии «Русские рифмы», «Русское слово» в номинации «Лучший сборник рассказов». Рассказы публиковались в журналах «Нижний Новгород», «Новый берег», «Волга», «Нева», сетевых изданиях «ЛиТERRAтура», «Южный остров». Живет в Брянске.

ДУРАКИ

Снится мне детство.

Снится Вовка. Вовка по малолетству был непоседой, ни стоять, ни сидеть спокойно не мог. Он все время где-то бегал, дразнил каких-то собак, таскал за хвост каких-то кошек, бил какие-то стекла, пел какие-то песни и лепил из пластилина каких-то дураков. Это были не то человечки, не то зверушки – пучеглазые и весьма милые. Выражение глаз у них было форменно дурацкое, этим они и заслужили себе прозвище. Дураков Вовка рассаживал вокруг дома – в кустах, под лавками, в ветвях старого дуба. Некоторым из дураков – примелькавшимся – Вовка устраивал публичные казни: лез на крышу сарая в солнечный день, ставил неугодную фигурку на солнцепек, и та таяла, расползалась и превращалась в непонятного цвета пластилиновую лепешку. Вечером, когда становилось прохладно, Вовка эту лепешку с шифера соскребал, скатывал в шарик, добавлял еще пару и лепил нового дурака. Такой вот выходил круговорот.

Вовкина мама, добрейшая женщина, в сыне видела талант вселенского масштаба и ухитрялась стягивать дураков с эшафота, если Вовки не было рядом. Она становилась на лавку у сарая, снимала несчастного, шла в дом и прятала его в коробку в своем бездонном шкафу. Вскорости дураков в коробке накопилось с дюжину. Вовке она ничего не говорила, а потому тот решал, что кому-то удается сбежать, объявлял беглецов в розыск и тратил ближайший день на исследование окрестностей. Окрестности вздыхали облегченно – целый день без разбитых окон.

Когда Вовке стукнуло двадцать, мать торжественно вручила ему коробку со спасенными дураками. Вовка был счастлив безмерно,

потому что детство, как и все мы, очень любил и любой ниточке, связывающей настоящее с тем сладким временем, был рад.

Снится мне, что я иду по тропинке вдоль железной дороги, а вокруг меня прыгает Вовка, кружит, забегает вперед, торопит и повизгивает:

– Ну, давай, шевелись, дурак! Шевелись!

Я понимаю, что сплю, но, ссутулив плечи, продолжаю идти. Солнце светит в затылок, и от ступней моих вперед тянется длинная тощая тень, неуклюже дергающаяся в такт ходьбе. Вовка, суетясь, топчется по моей тени, и мне от этого неприятно, хочется подобрать ее, перекинуть через плечо и брести так, не давая пачкать ее пыльными сандалиями.

– Не шали, Вовка, – отвечаю. – Я не дурак. Дураки у тебя под кустами прячутся.

Хотел еще сказать про коробку, но вспомнил, что этому Вовке еще рано знать о тайнике. Пусть ждет до двадцати.

Краешек моего сознания вздрагивает о фразы «под кустами прячутся», мне становится жутко – они ведь не прячутся, Вовка сам их туда рассаживал.

Вовка, забежав порядочно вперед, что-то выкрикивает мне в ответ, что-то резкое, может быть, обидное, но я ничего не слышу, потому как внезапно из-за правого моего плеча вылетает оглушительно грохочущий поезд.

Меня во сне ничем не удивить, я останавливаюсь и начинаю подпрыгивать на месте, махать несущемуся составу руками, радостно что-то кричать, вагоны мелькают стремительно, я не вижу даже пробелов между ними. Начинаю часто-часто моргать, чтобы вместо кино смотреть диафильм. В одном из бесчисленных окон выхватываю взглядом знакомое лицо. Я поворачиваю голову и не вижу на тропинке Вовки, вокруг меня – никого. Оглядываюсь и понимаю, что лицо в вагоне – Вовкино, это он там, подлец эдакий. Запрыгнул-таки.

Поезд также резко, как появился, превращается в уползающую вдаль гусеницу, шум пропадает, я машу вслед Вовке, выпрыгиваю на шпалы, продолжаю махать, поезд уже едва виден – козявка какая-то у горизонта. В небе по одной начинают появляться звезды, но свет за моей спиной не тускнеет. Я замечаю что-то между шпалами, наклоняюсь и поднимаю одного из Вовкиных дураков, того самого, что он мне подарил как-то в пьяном угаре лет пять назад. У дурака добрые глупые глаза, он непонятно какого цвета и ручки его крохотные растопырены в стороны, будто для объятий. Кладу дурака в карман и поворачиваюсь, чтобы посмотреть на солнце, которое не меркнет.

Просыпаюсь. Просыпаюсь и вижу яркий свет. На меня мгновенно обрушивается шквал голосов, звуков и запахов, я зажмуриваюсь, моргаю и понимаю, что какой-то умник светит мне в лицо фонарем.

Отталкиваю его руку.

– Ты чего разлегся? Проехать дай! – скрипит обладатель фонаря.

Я, стряхивая остатки сна, оглядываюсь и понимаю, что за время небытия сполз в кресле – хорошо на пол не свалился – и длинные мои ноги перегородили проход между рядами. Я в зале ожидания, вокруг полно народу, и подобные фривольности недопустимы. Надо мной стоит косматый старик и светит на меня здоровенным пластмассовым фонарем. На старике какие-то лохмотья, куртки, пиджаки, рубашки.

«Сто одежек и все без застежек», – думаю я и подтягиваюсь в кресле, поджимая ноги. Старик признательно козыряет мне грязной ладонью,

опускает фонарь куда-то за пазуху и мелкими смешными шажками, почти не отрывая подошв от пола, начинает шаркать между креслами.

Смотрю вслед. На ногах у него замызганные сапоги, в которые заправлены костюмные брюки в мелкую полоску.

Старик, не останавливаясь, оборачивается и еще раз коротко козыряет мне через плечо. Киваю в ответ. Он улыбается и продолжает свое шествие по залу, задевая людей и лежащие на полу сумки. Вскоре он скрывается за колонной, и я теряю его из виду.

Я окончательно просыпаюсь. Все тело замлело и ноет, а кроме того, я порядком вспотел, и от этого мне неуютно. На коленях у меня жиденький рюкзачок, постукиваю по нему ладонью, убеждаясь, что он за время моего сна не опустел совсем.

До поезда еще полчаса. Терпеть не могу ждать.

В кресле напротив расположился толстяк в шляпе. Поднимаю на него глаза и вздрагиваю. Толстяк спит, запрокинув голову (как только шляпа держится?), толстые ладони сплетены на саквояжике, рот широко открыт. По щеке, приближаясь к пышным седым усам, пробирается жирная черная муха. Замирает, делает пару мушьих своих шажков и снова замирает, словно боясь разбудить.

Я брезглив. Если бы по мне спящему – да даже если и по мне мертвому – ползла муха, я бы хотел, чтобы ее смахнули.

Муха двигается к усам толстяка, а всем вокруг плевать, и никто этого не замечает. Рядом с усачом сидит, насупившись, его жена – тучная дама неприветливого вида – и читает что-то пестрое.

– Простите, – говорю я ей.

Не слышит.

– Я прошу прощения.

Дама медленно поднимает глаза.

Показываю пальцем на толстяка. Муха уже уперлась в ус и робко трогает его лапкой.

Дама, хмурясь, медленно поворачивает голову, медленно кривит губы и тыльной стороной ладони шлепает супруга по щеке. Муха взмывает, а толстяк вздрагивает, распахивает веки и смотрит на жену с таким непониманием, что мне его становится жалко.

Жена уже продолжает чтение, не обращая никакого внимания ни на мужа, ни на меня. Толстяк что-то бормочет в усы и выуживает из саквояжика пачку сигарет. Хлопает по карманам и, поняв, что чего-то в них недостает, толстым указательным пальцем осторожно касается плеча благоверной. Та, не отрываясь от журнала, выдергивает откуда-то длинную сияющую зажигалку и сует мужу. Муж благодарно крякает, поднимается и семенит к выходу на перрон.

Меня опять клонит в сон. Чтобы не проспать, решаю оставшееся время провести на воздухе. Медленно встаю, накидываю на плечо рюкзак и иду вслед за толстяком.

На перроне гуляет ветер, стучит вдалеке стройка, по небу перекатывается пух облаков. Ох, как же хорошо дышать.

Справа, у самых путей, топчется толстяк. Он судорожно тянет дым в себя и судорожно же выплевывает наружу. Ловит мой взгляд и смущенно отворачивается.

Я прохожу вперед, к лавкам, воткнутым в самую середину перрона. Людей вокруг – раз-два и обчелся.

Сажусь на холодную лавку и раскрываю рюкзак. Вещей по минимуму, сверху устроились книга и завернутый в бумагу Вовкин дурак.

Достаю книгу, пытаюсь читать, но мешает ветер – хватается за страницы, дергает, мнет. Ветру невдомек, что человек, по слову Бродского, есть продукт чтения, ему не объяснишь, что рвать порядочные издания нехорошо.

Уступаю.

Откладываю книгу и достаю дурака. Разворачиваю, смотрю в добрые его глаза. Воспоминания обрушиваются с грохотом, сливаются с приснившимся, кружат в вихре. Ветер треплет воспоминания, как трепал страницы, вьет из них узоры, разворачивает перед моими глазами причудливую вязь.

Помню, Вовка дернулся резко, встал из-за стола, чуть не повалив его. Сунул руки в шкаф по локоть, что-то схватил, протянул мне.

– Держи. Дарю.

В ладони у него – один из дураков, смотрит на меня, ручки в стороны разводит.

Я, помню, усмехнулся.

– На кой он мне?

– Обижаешь.

Что я, Вовку не знаю? Как ни напьется, бывало, раздаривает дураков. Я и взял.

Вовка тогда пил без продыху. Жена ушла, с работой не складывалось, вот и повело. Стал друзей звать – что ни вечер, полна горница народу. А потом и друзья приходить перестали – не из презрения, а просто так, как-то само собой все расползлось, позабыли друг друга. Теперь вот снова соберемся. Да.

– Что за дурак? – вырывает меня из объятий памяти скрипучий голос.

Смотрю – тот самый дед, что в меня фонарем светил. Стоит, смотрит заинтересованно, пятерней бороду чешет.

– Да, так, – говорю, – подарили. А чего дурак-то?

Дед фыркает.

– А то я дурака не узнаю? Вон, – тычет пальцем, – глаза глупые какие.

Пауза.

– А добрые, – говорит.

– Ага, – киваю. И начинаю дурака в бумагу заворачивать.

Но у деда другие планы.

– Подари.

– Не могу, – вздыхаю я и заталкиваю сверток в рюкзак.

– Жлоб? – интересуется дед.

– Жлоб, – улыбаюсь. – Самому подарили, говорю же.

– Ну и ладно.

И смотрит обиженно.

А сам – ни с места. Я смотрю вдаль, мне неловко. Даль ясная, солнечная, там птицы поют, деревья шумят.

– А на фонарь поменяешь? – начинает снова.

– Извините, – говорю, – не могу. Подарок друга.

– А друг хороший?

– Хороший.

– Ну и ладно тогда. Фонарь всяко нужнее.

– Согласен.

Дед замолкает и тоже смотрит вдаль.

– Ты кем служишь? – спрашивает.

– Журналистом.

– Ну и дурак.

Молчу. И дед замолкает. Потом садится рядом со мной вполоборота, придвигается и заговорщически шепчет:

– А я – машинист.

Какой забавный старик.

– Машинист? – переспрашиваю.

– Точно, – козыряет грязной ладонью. – Сейчас постою с тобой чутка и дальше поеду.

И машет вдаль.

– А куда поедете?

– Как куда? – удивляется. – Знамо дело, за гроб.

Вздыхаю.

– Понятно, – говорю.

Все понятно. Больше и пояснять ничего не надо. Но почему-то спрашиваю:

– А поезд где?

– Хех, – усмехается. – Слепой ты, что ли?

И кивает себе за спину.

За спиной у него опустевший перрон, даже толстяка не видать. Вокзал смотрит важно, под самой крышей у него красуется: «1902»

– О, – говорю, – точно. И как это я не приметил такого поезда?

– Это потому, что ты невнимательный и поверхностный.

Точнее некуда. Может, вернуться в зал ожидания? Там можно выпить кофе, можно выбрать газету. Но почему-то продолжаю задавать вопросы:

– А что везете?

Дед оглядывается. Задумывается.

– Так-то много чего. Все мое, – кивает так, словно я его заподозрил в краже. – Жизнь, она, брат, во какая длинная, всего понабрал, – разводит руки. – А в основном – грехи.

Сколько еще ждать? Еще приложит чем-нибудь – тем же фонарем. Сажусь вполоборота, чтобы быть начеку, смотрю старику в глаза.

– Ну, чего ты так смотришь? Легко, думаешь?

– Не думаю, – отвечаю.

– Вот видно, что не думаешь. Как зерно возят, видал?

– Видал.

– Вот. А я так грехи везу.

– А чего, – говорю, – вы их везете? Бросьте – и налегке.

Дед вдруг захохотал, прямо-таки затрясся от смеха. Смеялся долго, запрокинув голову и демонстрируя полный набор желтых квадратных зубов. Потом долго не мог отдышаться.

– Как же я вагоны отцеплю? Мог бы – понятно, давно уже бросил бы. Да только тут не моя воля.

– А чья?

Старик делает серьезное лицо и многозначительно поднимает к небу указательный палец.

Я молчу. А потом опять спрашиваю. Что ж такое со мной сегодня?

– А ваша воля где?

– А моя воля была, когда копил. Копил-копил, а вот теперь приходится всю эту дрянь на себе волочить.

– А что, – говорю, – тяжело волочить-то?

– Ну ты деревня, – фыркает. – Знамо дело, тяжело! Знамо дело, тяжело! – Взгляд его вдруг становится серьезным. – Но что уж тут.

Слева слышится грохот. Он нарастает, наваливается на перрон – и перед нами возникает поезд. Мой. Подполз, раззявил двери – на перрон посыпался народ.

Пора. Встаю. И старик встает.

– Подари дурака.

– Ох, отец, – говорю, – дался он тебе.

– Дался, – говорит. – Глаза больно добрые.

Ну вот, а почему, собственно, и нет? Вовке он все равно ни к чему, а у доброй Вовкиной матери наверняка один-два в коробке запрятаны.

Достаю сверток, протягиваю.

Дед аж заискрился, борода расползлась в разные стороны, только что не заплакал от радости.

– Спа-си-бо, – берет дурака и прячет за пазуху. – Хороший ты малый. Только глупый. Бог в помощь.

– И вам не хворать, – говорю.

Старик поворачивается спиной и принимается шаркать по перрону.

Я подтягиваюсь к вагону, вручаю проводнице билет. Она смотрит в спину шаркающему машинисту и говорит мне доброжелательно:

– Это машинист, что ли? Вы не обращайте внимания... Он тут ко всем пристает.

Старик, словно услышав ее, оборачивается:

– Журналист!

Поднимаю руку.

– Во всех грехах раскаяться можно! Кроме одного! – козыряет и удаляется.

Остаюсь стоять с поднятой рукой.

– Да ничего, – говорю я проводнице.

Она пожимает плечами и возвращает билет:

– Десятое место.

– Спасибо.

Прохожу по вагону, задевая рюкзаком шторки. У одного окна останавливаюсь, вижу, как по перрону бредет куда-то прочь от вокзала мой старик. В руке фонарь. Бледное, едва заметное пятно света скользит по заплеванному асфальту.

Захожу в купе – пустое. Опускаюсь на полку, заталкиваю под голову рюкзак. И не дожидаясь, пока поезд тронется, засыпаю.

Снится мне Вовка. Вовка часто мне снится.

Он сидит у железной дороги на валуне, в руках у него пластилин. Подхожу, сажусь рядом – на траву.

– Дураков лепишь?

– Дураков.

– Ну, лепи, дело неплохое.

Вовка пыхтит, старается, но пластилин слишком мягкий, слишком податливый, так нельзя. Вовка весь раскраснелся, ерзает. Я вижу, что по его щеке ползет черная муха.

– Вовк.

– Не мешай.

– По тебе муха ползет.

– Пускай.

Никаких «пускай». Легонько хлопаю Вовку по щеке. Он вскакивает.

– Ты чего дерешься?! Отдавай дурака!

– Вовк, я муху согнал.

– Все равно отдавай!

Я унижаться не намерен, хлопаю по карманам. Вспоминаю, что дурака у меня нет.

– Нет у меня твоего дурака, Вовк.

– Куда дел?

– Старику отдал.

– А и ладно, – Вовка садится на камень и продолжает возиться с пластилином. – Я еще налеплю.

Сижу и смотрю. Пальцы у Вовки ловкие, все перепачканы, под ногтями глубоко черно.

– Ты обиделся, что ли? – спрашиваю.

– На что?

– Ну, за дурака. Что я его отдал.

– Нет, – отвечает Вовка, и я вижу, что там, где была на его щеке муха, блестит слеза.

– Я ж его тебе вез. Правда. Да уж больно старик чудной.

– Понял, – сухо отвечает Вовка.

Сидим молча. За моей спиной закат. Над Вовкиной макушкой небо густо оранжевое. Вокруг – сухое и желтое поле.

– Вовк, – решаюсь я, наконец.

– Что?

– А ты зачем?

– Что зачем?

– Самоубился зачем?

Вовка поднимает глаза. Пару секунд смотрит молча. Потом открывает рот и начинает быстро-быстро что-то говорить, еле сдерживая слезы.

Но в этот самый момент справа возникает поезд, он несется, ревет, гремит, я не слышу ни единого Вовкиного слова. Воздух пропитывается каким-то смрадом – невозможно дышать; над рельсами мелькают один за другим серые грузовые вагоны. Вонь идет от них.

Я смотрю на Вовку, он что-то тараторит, но ничего не разобрать – слишком громыхает.

Поезд уносится вдаль, я просыпаюсь.

Полка мягко покачивается, колеса уверенно выстукивают свой несложный ритм. Мимо запертых дверей проплывают шаги – удаляются, исчезают.

Александр ЮДИН

Родился в 1965 году в Москве. Окончил юридический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Много лет трудился в органах прокуратуры.

Публиковался в журналах «Нижний Новгород», «Изящная словесность», «Полдень XXI век», «Полдень» (СПб), «Дон», «Бельские просторы», «Север», «Сура», «Юность», «Знание – сила: Фантастика», «Наука и жизнь», «Искатель», «Я» (США), «Edita» (ФРГ) и других. Автор романов «Пасынки бога» («Эксмо», 2009) и «Золотой лингам» («Вече», 2012, в соавторстве с С. Юдиным).

Живет в Москве.

ПАРАЗИТ

Как-то раз Иван Яковлевич, москвич пятидесяти с хвостиком лет, возвратившись воскресным вечером с дачи и переодевшись в домашнее, уютно устроился в кресле напротив телевизора. Прихлёбывая крепкий ароматный чай, заедая его белёвской пастилой, он рассеянно внимал ведущему новостной программы. Однако ни чай, ни напряжённая мировая обстановка не могли побороть его дремоты – сказывалась усталость после дачного отдыха.

Иван Яковлевич широко зевнул, лениво почесал грудь и нахмурился – под правым соском пальцы нащупали нечто постороннее. Хмыкнув, он прошел в ванную и посмотрелся в зеркало. Так и есть, на правой грудной мышце виднелась какая-то крохотная – не больше булавочной головки – чёрная точка. Родинка, что ли? Так вроде раньше не было. Кольнула неприятная догадка: уж не подцепил ли он на подмосковном пленэре клеща?

Вернувшись в гостиную, Иван Яковлевич взял с полки, где стояли альбомы с коллекцией марок, лупу с подсветкой и попытался как следует изучить новообразование. Да, весьма похоже, что это и впрямь клещ. Но полной уверенности не было, уж очень малюсенькая штучка, даже с увеличением толком не разобрать. Иван Яковлевич бросил взгляд на часы: половина одиннадцатого, значит, ехать в медучреждение наверняка поздно. Ладно, придётся до утра отложить, тем более, может, это никакой и не клещ.

Перед сном Иван Яковлевич на всякий случай ознакомился в интернете с различными способами самостоятельного избавления от клещей, заодно почитал кое-что и о самом паразите. Оказалось, что клещи не насекомые, как он до сих пор полагал, а членистоногие паукообразные, к тому же одни из древнейших обитателей нашей планеты. Сменя-

лись эры, эпохи и периоды, появились и вымерли динозавры, на смену всемирным оледенениям приходили глобальные потепления, а клещи спокойненько продолжали существовать, невзирая ни на какие космические, геологические и климатические катаклизмы. Ещё он выяснил, что хищные кровососущие клещи способны обходиться без пищи по многу лет кряду. Зато, впиявившись в жертву, проявляют чудеса прожорливости, увеличиваясь в размерах в сотни раз. «Прелюбопытные, однако ж, твари», – подумал он, засыпая.

Сон его был беспокойным. Сначала полночи блуждал он в некоем первобытном лесу, влажном и удушливом, среди древовидных хвощей и папоротников, а вокруг кишели самые невообразимые создания: стремительно метались какие-то гигантские сколопендры, пёрли напролом похожие на броневики мокрицы, важно ползали жирные многоцветные гусеницы, с жестяным скрежетом бегали и летали рогатые, носатые и усатые жуки, размерами не уступающие грузовикам; и все они друг дружку беспрестанно жрали, жрали, жрали… Потом привиделось ему, что на кассе в «Пятёрочке» полез он за бумажником, а вместо того вытащил из кармана полную пригоршню не то блох, не то паучков. Попытался он их стряхнуть, да не тут-то было: те полезли ему в рукав, проворно расползаясь по телу. Кассирша же, увидав его замешательство, засмеялась ехидно и говорит: «А вы слижите их, слижите! Они очень калорийные – чистый белок».

Утром всякие сомнения в истинной природе его новообразования отпали. Чёрная точка раздулась в шарик, и стало видно, что это сегментированное тельце кровососа; даже малюсенькие лапки при некотором старании можно было обнаружить.

Накануне Иван Яковлевич выяснил, что клеща следует залить одеколоном или другой спиртосодержащей жидкостью, тогда он засохнет и сам отвалится. Или аккуратно выкрутить пинцетом. Последний способ, пожалуй, надёжнее, решил он. Однако, взяв пинцет, понял, что действовать придется левой рукой, что неудобно и есть риск оставить головку в теле. Тогда Иван Яковлевич обильно смочил ватный тампон лосьоном после бритья, но неожиданно замешкался.

Душу его посетило какое-то трудноопределимое чувство… сродни жалости, что ли? Клещ был таким беззащитным, таким махоньким, пухленьким… Ну пососёт чуток крови, от Ивана Яковлевича не убудет. Это были странные, и для него в общем-то чужеродные ощущения, поскольку до сей поры он за собой никаких симпатий к паукообразным, тем более к паразитам, не замечал.

А с другой стороны, если рассуждать здраво, стоит ли заниматься самолечением? Не лучше ль в обед или после работы зайти в травмпункт, где ему надёжно и профессионально удалят членистоногого друга, заодно на исследование пошлют – мало ли что? Вдруг он разносчик какой-нибудь жуткой инфекции? Он выбросил тампон в мусорное ведро, оделся и пошёл на работу.

Понедельник в их офисе выдался таким суматошным, что Иван Яковлевич и думать забыл про своего клеща, а вспомнил только дома, под душем. Клещ за день изрядно подрос и походил теперь на крупную виноградину сорта «дамские пальчики». Как такого самому вытащить? Ещё лопнет! Иван Яковлевич вздохнул и твёрдо пообещал себе, что завтра прямо с самого утра отправится к доктору.

Ночью Ивану Яковлевичу приснился чудной сон. Будто бы сидит он за столом на кухне и играет в шахматы. Вообще-то он любил это дело,

но как человек бессемейный, обыкновенно играл сам с собою. А на сей раз у него имелся соперник. И соперником этим был клещ!

Впрочем, во сне особенного удивления у Ивана Яковлевича эта казусная ситуация не вызвала. Тем паче вдвоём-то играть куда интереснее, да и клещ оказался занимательным собеседником и неплохим игроком. Уже в дебюте он захватил своими пешками центр доски, быстро и грамотно ввёл в бой легкие фигуры, при этом надёжно укрыв от атак короля.

– Как вы вообще играете? – полюбопытствовал Иван Яковлевич. – У вас же глаз нет.

– Зато нюх исключительный, – объяснил клещ, выводя коня на f6.

– Да, но у вас же, простите, и мозгов нет, – ставя слона на g5, засомневался Иван Яковлевич.

– Они мне без надобности, – хмыкнул клещ. – Всё, что нужно, я нюхом чую. Запомни, братан: главное в любом деле – хороший нюх.

– Не могу с вами согласиться, – возразил Иван Яковлевич. – А как же ум, интеллект? Интеллект вещь полезная, даже необходимая. И в жизни, и в бизнесе, и …

– Ой, ща лопну! – заржал клещ, хватаясь за бока. – И сильно он тебе помог, интеллект-то? Как любит выражаться твой шеф, Зариф Алиханович: эсли ты такой умный, пачэму такой бэдный? Верно цитирую? Когда на то пошло, в бизнесе интеллект вовсе не нужен.

– Как так? – поразился Иван Яковлевич. При этом тот факт, что клещ знаком с его шефом, Ивана Яковлевича абсолютно не смутил.

– А вот так. Вспомни хотя бы девяностые годы, эпоху, так сказать, первоначального накопления капитала. У любого владельца палатки с шаурмой на Москворецком рынке денег в карманах шуршало больше, чем у дюжины профессоров МГУ. А шаурмен этот слово «брат» с двумя ошибками писал. Скажешь, нет? Если хочешь знать, для успеха в бизнесе потребны лишь три качества, и интеллект в их число не входит.

– Ну-ка, ну-ка, – заинтересовался Иван Яковлевич, разменивая свою ладью на слона и пешку противника, – какие же это качества?

– Хитрость, жадность и беспринципность – вот какие, – пояснил клещ, в свой черед отдавая коня за три пешки.

– И только? – недоверчиво уточнил Иван Яковлевич.

– Не переживай, – махнул одной из восьми лапок клещ, – ты ими не обладаешь. Вот я бы преуспел в бизнесе, у меня этих качеств в избытке, поболее, чем у твоего Алихановича.

– Так уж и преуспели бы? – усомнился Иван Яковлевич.

– Сто пудов, – подтвердил собеседник.

– И какова же, позвольте полюбопытствовать, ваша стратегия? Изначальный бизнес-план? Вы уже думали об этом?

– Думать мне, как ты верно подметил, нечем. Да и незачем. А стратегия самая простая. Перво-наперво я обескровил бы всех конкурентов, высосал бы их насухо. Потом и своих сотрудников отжал бы как следует – зажрались, обнаглели, что характерно. А уж опосля за прочий народец принялся.

– Ого! – не сдержал иронии Иван Яковлевич. – Да у вас, я смотрю, государственный размах.

– Что есть, то есть, – скромно кивнул клещ. – А с согражданами твоими надо что-то делать, согласись. Уж очень архаичны, прошлым веком живут. Ведь главный двигатель прогресса – индивидуализм. Нужно под себя грести, вот так, вот так! – наглядно продемонстрировал он,

энергично загребая всеми восемью лапками. – А в вашем менталитете по-прежнему община главнее индивида. Куда это годится? Это всё пережитки и родимые пятна. Да, да! Надо от них избавляться. Да ко всему – лень, неповоротливость, консерватизм. Предприимчивости и здоровой алчности не хватает вашему брату. Полагаю, это происходит от полнокровия. – Клещ причмокнул. – Ну, эту беду я бы живо поправил… Э-эх, уж я бы вам отладил экономическую модель!

– А какой, интересно узнать, вид бизнеса вас привлекает более всего? – уточнил Иван Яковлевич, делая рокировку.

– Я бы в любом преуспел, – важно заявил клещ. – Могу госимуществом управлять, могу руководить финансами или энергетикой рулить. Всё могу. Я всемогущий! Но ближе всего мне, ввиду собственной микроскопичности, нанотехнологии… Шах и мат тебе!

Разбудил Ивана Яковлевича звонок с работы. Дело было срочным, так что он, даже не позавтракав, вызвал такси и помчался в офис. Весь день прошёл в такой кутерьме, что и чаю некогда попить – какой там клещ! Вернувшись поздно вечером домой, Иван Яковлевич обнаружил, что сожитель его разросся уже до размеров спелой груши. Но – странное дело – никакого страха и даже особенного беспокойства Иван Яковлевич в этой связи не испытал. Да и какого-либо отвращения к насосавшемуся паукообразному – тоже. Клещ теперь вызывал у него… уважение, что ли. И ещё чувства, сходные с умилением – почти материнские.

Утром следующего дня на работу Иван Яковлевич не пошёл, сказавшись по телефону больным. Он уже с немалым трудом мог добраться до туалета – приходилось в буквальном смысле тащить на себе клеща, весившего к тому времени килограммов пятнадцать. Сам же Иван Яковлевич, напротив, заметно сдал: осунулся, похудел, весь как-то высох… Сознание его то и дело туманилось; осталось одно желание – спать, спать, спать…

Утром третьего дня он поднялся с постели, бодро просеменил в ванную и, обильно смочив ватный тампон лосьоном, прижёг совсем уже усохшего Ивана Яковлевича. Тот, пару раз дрыгнув конечностями, свалился в раковину. Он брезгливо взял его за ножку, отнёс в туалет, опустил в унитаз и смыл. Сам же облачился в деловой костюм Ивана Яковлевича и отправился в офис.

СЛОЖНОЕ ДЕЛО

– Привет, Стив, как дела, все о`кей? – воркующим голосом спросила Скарлетт.

– Виделись уже, – буркнул Стивен, не отрывая взгляда от монитора. – Нормально все.

– Время ланча, перекусить не хочешь? – снова спросила девушка.

Стивен пожал плечами.

– Как насчет китайского ресторанчика, здесь, за углом? – не отставала Скарлетт. – Составишь мне компанию?

Стивен наконец отвлёкся от компьютера и бросил косой взгляд на своего соседа Патрика: слышал ли тот, что Скарлетт сама его пригласила? Да, явно слышал. Это хорошо. А то обвинят в сталкинге, оправдывайся потом. А могут и харассмент пришить. Запросто!

– Что-то я и впрямь проголодался, – заявил Стивен, потягиваясь.

– Тебе стоит заправиться, приятель, – подмигнул Патрик и прибавил с кривой усмешкой: – Скарлетт права.

Это подмигивание и усмешка Стиву совсем не понравились. Ишь, весело ему! Конечно, Патрику с его ориентацией куда как проще: оформил разрешительную лицензию в Обществе защиты животных и – вперед. Да и навряд ли какая зверушка побежит в полицию с жалобой. Стивену же – банальному натуралу, приходится всего опасаться. Тем не менее он поднялся с рабочего кресла, пересек офисный зал и прошел в лифтовой холл.

Скарлетт прошмыгнула в лифт одновременно с ним. А больше в кабине никого не было. Вот черт! Стивен прижался к дальней стенке и демонстративно повернулся лицом к зеркалу, вроде как галстук поправляет. Скарлетт из зеркала ободряющее улыбнулась ему:

– Ты чего такой напряженный, Стив? Мы всего лишь пообедаем вместе. Расслабься! – И легонько хлопнула его по правому бедру.

Стивена аж холодный пот прошиб.

– Легче, подруга! – воскликнул он, резко обернувшись.

– О, уже и подруга? – игриво заметила девушка.

В ресторане Скарлетт продолжила свои заигрывания: то улыбалась двусмысленно, а то как бы ненароком прижималась коленом к его ноге. Как это понимать? Она, что намекает на возможность интима? А если это проверка? Или провокация? Нет уж, решил Стив, лучше перестраховаться и не обращать внимания на все эти улыбочки и «случайные» прикосновения, ошибка может дорого ему обойтись. Слишком дорого!

После работы Скарлетт снова увязалась за ним, под предлогом, что ей в ту же сторону. В вагоне подземки не отходила от него ни на шаг, буквально прилипла к Стивену.

– Вот я и дома, – облегченно вздохнул Стивен, когда они подошли к его подъезду, – пора прощаться.

– Что, даже не пригласишь леди на бокал вина? – фальшиво удивилась Скарлетт.

– У… у меня нет вина, – закашлявшись, пробормотал Стив, – я вообще не пью спиртного.

– Сойдет и кофе.

– Уже поздно, Скарлетт, тебе пора домой, – твердо заявил Стивен.

Совершенно неожиданно девушка всхлипнула и крепко стиснула ему руку.

– Я замерзла! Давай, поднимемся к тебе… Прошу, Стиви!

– О господи, – простонал Стивен. Перед женскими слезами он всегда пасовал. – Ну что с тобой делать? Пошли… Только без глупостей!

– Обещаю! – обрадовалась девушка.

В квартире он сразу зажег везде, где можно, свет и раздвинул шторы. В полном молчании они выпили по чашке кофе. Стивен бросил взгляд на часы и спросил:

– Не против, если я включу новости?

– Как хочешь, Стиви.

– Скарлетт… – смущенно поерзав на стуле, промямлил он, – не зови меня так, пожалуйста.

– Как «так»? – подняла брови девушка.

– «Стиви».

– Почему? Тебе не нравится?

– Ну-у… просто… это звучит как-то слишком… чересчур интимно. Мы же с тобой только коллеги, так?

– Не зна-аю, – с дразнящей улыбкой протянула Скарлетт, – сегодня в лифте мне показалось…

– Короче, – ледяным тоном отрезал он, – называй меня Стивеном. Ну или Стивом, о`кей?

– Ладно, ладно, – надув губки ответила девушка. – Какие мы строгие.

Стивен прибавил звук телевизора. Дикторы SBS – яркая блондинка Джоанн Ступид и украшенный благородными сединами Конгус Кин, – поочередно вещали, обмениваясь лучезарными улыбками:

– Сегодня утром неизвестный с бензопилой напал на активиста гей-движения «Радужная Вселенная» Гарри Аршлоха. По предварительным данным, причиной нападения стал личный конфликт, не имеющий отношения к общественной деятельности потерпевшего.

– По словам очевидцев, неопрятно одетый мужчина проник в офис «Радужной Вселенной» под видом разносчика пиццы...

Стивен переключился на CNN.

– А сейчас Сьюзен Хильдегард расскажет нам о сексизме, с которым она столкнулась в своей компании, – анонсировал диктор CNN, обращаясь к немолодой чернокожей даме. – Как это было, Сьюзен?

– Это было ужасно, – захлебываясь отвечала женщина, – ужасно! Один из старших менеджеров разместил в рабочем чате объявление, что он… что он не женат!

– Отвратительно, – согласился диктор. – И как же вы поступили?

– Обратилась в отдел кадров с заявлением о сексуальных домогательствах, разумеется. Его уволили.

– В этом ваша ошибка, Сьюзен, – покачал головой диктор, – стоило сразу – в прокуратуру. Тогда бы вашего обидчика не просто уволили, а привлекли к уголовной ответственности.

– Но это еще не все! После этого случая другие мужчины компании стали позволять себе…

– Рассказывайте, рассказывайте, – ободрил диктор.

– Позволять себе… Я, право, стесняюсь!

– Ну же, Сьюзен! Все уже позади. Что именно стали они позволять?

Дама глубоко вздохнула и выпалила:

– Пристальные взгляды!

– О господи, – поразился диктор.

Стивен выключил телевизор, но тут же, словно испугавшись чего-то, включил его снова и принялся лихорадочно щелкать каналы.

– Что с тобой, Стив? – воскликнула вдруг Скарлетт. – Ты весь мокрый, с тебя так и льет.

– Вспотел, – пробормотал Стивен. Его действительно бросило в жар, а перед глазами все плыло и двоилось. – Жарко мне что-то.

Скарлетт положила ему на лоб прохладную ладонь.

– О, дружок! да у тебя температура. Прими-ка ты душ, – предложила девушка, – освежись. А я пока чашки помою.

– Да, пожалуй…

Стив, уже с трудом соображая, направился в ванную.

Только раздевшись и встав под теплые водяные струи, он осознал, что Скарлетт вовсе не пошла мыть чашки – она по-прежнему была с ним рядом…

Когда все закончилось, Стивен удовлетворенно выдохнул, провел рукой по запотевшему зеркалу и увидел в нем отражение заплаканного лица Скарлетт.

– Что-то не так? – испуганно спросил он.

– Не так?! Что-то?! – взвизгнула девушка. – Ты еще спрашиваешь? Все не так!

– Но ты же сама… сама пошла со мной в душ.

– А оставил ты мне выбор, проклятый маньяк?! Затащил девушку в ванную, оголился в ее присутствии…

– Послушай, Скарлетт…

– Не ори на меня!

– Я раскаиваюсь, правда, но…

– Не смей на меня давить! Ишь, доминантный альфа-самец какой выискался! Ты меня сексуально объективировал. Я тебе не дешевка какая-нибудь, не товар, чтобы… Да ты изнасиловал меня, понимаешь?! Понимаешь ты это, мерзавец, сволочь, негодяй? И разве это в первый раз? Маньяк! Ты маньяк, насильник! Тебе лечиться надо… Все, кончилось мое терпение, немедленно иду в полицию.

* * *

Судья Джон Бургер, полный румяный джентльмен лет шестидесяти, задумчиво массировал лысину. Он был в затруднении, давно уже не приходилось ему рассматривать столь неоднозначного дельца. Смутные сомнения терзали его душу. Хотя, чтобы заронить сомнения в душе самого Джо Бургера, надо было сильно постараться. Не далее как на прошлой неделе он без колебаний признал виновным в сексуальных домогательствах одного весьма состоятельного девяностолетнего паралитика, который взглядом раздевал сестру-сиделку.

Когда судейская лысина сравнялась цветом со щеками, Джон вздохнул и решительно набрал номер своего однокашника по Гарвардскому университету адвоката Рогира ван Эйка.

– Рогир, привет, это тебя Джон Бургер беспокоит, помнишь такого?

– Джон, старина! – жизнерадостно отозвался ван Эйк. – Как можно забыть старину Джона?

– Хо-хо! Я тоже рад тебя слышать. Смотрел вчера игру «Янкиз» с «Кардиналс»?

– Уснул после третьего иннинга – возраст, – вздохнул адвокат. – Да и питчер у «Кардиналс» ни к черту не годится… Но ты ведь не для этого мне звонишь, верно, Джон?

– Верно, Рогир. Мне нужен профессиональный совет.

Бургер коротко изложил приятелю обстоятельства дела.

– А в чем проблема? – удивился адвокат. – Виновность этого Стивена сомнений не вызывает?

– Ни малейших. Факт изнасилования в ходе судебного разбирательства доказан полностью. Причем неоднократного изнасилования. Жертва была запугана и не сразу набралась мужества заявить на мерзавца. Этот Стивен вообще – пещерный сексист и в придачу отъявленный гомофоб. А проблема… проблема в том, что по законам нашего штата я обязан осудить его на десять лет минимум.

– И что? Или потерпевшая просит суд о снисхождении?

– Нет, жертва как раз настаивает на изоляции подсудимого от общества.

– Не понял. Так и впаяй ему на всю катушку! Не вижу в том большой беды.

– Беда в том, что он бигендер, точнее, бигендерный андрогин.

– Это, конечно, смягчающее обстоятельство… А бигендер может быть гомофобом?

– Дело не в том! Он, точнее его тело, сочетает в себе как мужские, так и женские половые признаки. Мужские – подсудимого Стивена и женские – потерпевшей Скарлетт.

– Опять не понял… Постой, постой! Не хочешь ли ты сказать, что Стивен и Скарлетт – это одно лицо?!

– В том-то и дело, что юридически они признаны двумя разными, вполне самостоятельными личностями, просто совмещенными в одном теле. Процедура гражданской легализации обоих лиц осуществлена в судебном порядке, как положено. Теперь ты понимаешь? Если я упеку этого извращенца Стивена в тюрьму, он же там запросто сможет надругаться над несчастной Скарлетт снова!

– М-да, дилемма, – задумчиво протянул Рогир ван Эйк. – Послушай, Джон, а он действительно ее… в смысле, это возможно физиологически?

– Вполне, – подтвердил судья.

– Ясно… Знаешь, что, Джон? А ты приговори подсудимого, помимо лишения свободы, еще и к химической кастрации. Тогда уж он никак не сможет домогаться своей второй половины.

– А что? Это мысль! – обрадовался Джон Бургер. – Спасибо тебе, Рогир, огромное! Надоумил старика, так и сделаю. Премного благодарен, с меня причитается.

– Пустое, не стоит благодарности. Передавай привет супруге Биллу и детишкам.

– Непременно. А ты поцелуй от меня свою женушку Ханнелору. Она, кстати, в порядке? По-прежнему, как живая?

– Разумеется. Ты же знаешь – я каждые полгода повторяю процедуру бальзамирования, чтобы избежать иссыхания кожных покровов или, упаси господь, мумификации.

– Ну, долгих лет счастья вам обоим, – попрощался судья и с облегчением откинулся на спинку кресла. Он все ж таки разобрался с этим запутанным дельцем! Зло вновь повержено, а правосудие – торжествует.

Поэзия

Александр КОВАЛЕВ

Поэт, публицист. Родился в 1949 году в Донецке. Окончил Московский энергетический институт, доктор технических наук, профессор.

Более 30 лет профессионально работает и в литературе. Автор двух десятков книг поэзии и прозы, лауреат премии Ленинского комсомола, Всероссийской литературной премии им. Б. Корнилова, «Золотой теленок» и других.

Член Союза писателей России. Живет в Санкт-Петербурге.

ДЕЛАТЬ КАК ВСЕ?.. Я ХОТЕЛ, НО НЕ МОГ

* * *

Пережить бы критический возраст,
оказаться на том рубеже,
где – больней,
отвратительней подлость,
но обиды терпимей уже.

Где не в спешке,
не вдруг,
не на ощупь,
и не под шепоток со спины
с каждым днем и яснее,
и проще
пониманье добра и вины.

Где по-прежнему нет и в помине
ни удач,
ни в кармане гроша...
Но смиренней, чем прежде,
гордыня,
но просторней, чем прежде,
душа.

* * *

Сенатская.
Манеж.
Фонтанка.
Невский...

Чей звукоряд полней
очертит вечный круг?

Так первый раз в весеннем перелеске
синица воздух пробует на звук.
Так щеки холодит
сырой, туманный вечер.
Так ветры солоны
на стыке островов.
И нет других разлук,
и нет желанней встречи,
и света нет светлей,
и первородней слов.
И нет иных примет,
дарованных от века,
лишь стоит повторить,
припомнить голоса:
«Ночь, улица, фонарь, аптека...»,
«Бессонница. Гомер. Тугие паруса».

* * *

Вдруг ночи сделались тесны,
в мгновенье ока тают.
И мне уже не снятся сны,
в которых я летаю.

А снятся рельсы на снегу
и поезд – вдоль, по краю.
И я бегу за ним, бегу,
и вновь не успеваю.
Как будто продолженье дня,
бессмысленное, злое...

И я подумал: блажь, фигня,
наверно, возрастное.
Пройдет.
Охолони душой,
не ты один – про это.

И к полке книжной подошел,
и с полки снял поэта.
Открыл, уверенной рукой
перевернул страницу
где «Вечный бой»...

И все ж, покой,
хоть изредка, но снится.

Как все

Кто-то рискнул
на крутом вираже –
кровью умылся на встречном ноже.

Следуй по правой, своей полосе.
Делай как все.
Делай как все.

Клинит рули и
бессилен мотор –
что же ты шторму наперекор?
Жмись, как другие бортом к косе.
Делай как все.
Делай как все.

Срезалась связка
и в бездну – со скал.
Горький итог, ты иного искал?
Мог бы как все – по траве, по росе...
Ну почему
ты не хочешь, как все?

И, сквозь хорал
осуждающих труб,
из глубины окровавленных губ –
эта великая наша вина
всех поколений,
во все времена,
движущий миром,
беспомощный вздох:
Делать как все?..
Я хотел,
но не мог.

Облако

Посреди степного зноя,
космы в небе разметав,
это облако шальное
шло за мною по пятам.

Не гремело,
не сверкало,
молчаливее ножа,
настигало,
настигало,
ну а я бежал,
бежал.

Разрывая сухожилья
мчался, ноги кровеня.
А оно легко накрыло,
но не тронуло меня.

Только тень мою качнуло
в оседающей пыли,

замело,
перечеркнуло,
словно вытерло с земли.

* * *

Пора грустить, пора печалиться –
теперь уж в точности проверено –
увы, ничто не возвращается:
ни времена,
ни вдохновение.

А на подмостках рифмы пенятся,
имен без счета напророчено...
Но век серебряный не сменится
ни золотым,
ни позолоченным.

Вышивала мать на пяльцах

Вышивала мать на пяльцах
колокольчики крестом.
До чего проворно пальцы
колдовали над холстом.

Не дыша и не мигая
на такую красоту,
я смотрел, как голубая
нить бежала по холсту.

Вышивала мать на пяльцах
в приснопамятной стране.
Протекли года сквозь пальцы,
словно нитка мулине.

Голубое на зеленом
колокольчиков жнивье
отзвенело
в мире оном,
отцвело давно свое.

Чуть подрагивают пальцы
и стежок уже не спор –
вышивает мать на пяльцах
новый простенький узор.

Не дыша и не мигая, –
боже-боже, даждь ей днесь! –
я смотрю, как голубая
нить рисует край небес.

* * *

Не прощусь, уйду до срока,
попрошу один билет.
Ветер с северо-востока
под крыло ударит вслед.

И, стремительно заверчен
леденящею струей,
пристегнусь ремнями крепче
между небом и землей.

Проплыву в прощальном крене
перед тем, как взмыть в зенит,
выше всех твоих сомнений,
выше всех своих обид.

Но внезапно, острой болью
разорвав невзгод кольцо,
там, внизу, в квадрате поля
промелькнет твое лицо.

И уже через мгновенье,
высотой по горло сыт,
захочу земных сомнений,
захочу земных обид.

Владимир РЕШЕТНИКОВ

Родился в 1971 году в пос. Сухобезводное Семёновского района Горьковской области. Окончил Нижегородский строительный техникум и Нижегородский педагогический университет. Служил в исправительной колонии строгого режима в должности психолога. В настоящее время – майор в отставке.

Автор семи сборников стихов и многих публикаций в периодических изданиях. Член Союза писателей России. Лауреат литературных премий им. Бориса Корнилова (2011, г. Семёнов), «Болдинская осень» (2012, Н. Новгород), «На встречу дня» им. Б. Корнилова (2013, Санкт-Петербург), премии Нижнего Новгорода (2017). Живет в Семёнове.

Я БУДУ ЗДЕСЬ, ЕЩЁ ДОБРЕЙ И ЗЛЕЙ...

Верёвка

Было в радость для верёвки той
Веники вязать для русской бани,
Лазать по колодцам за водой,
Волочить нагруженные сани.

С той верёвки плакало белье,
Застывая в ранние морозы,
И окружность с помощью её
На лугу не раз чертили козы.

Довелось верёвке бельевой
Выполнять и чёрную работу:
Как-то раз, рискуя головой,
Намотал её на шею кто-то.

Как же люди подвести могли! –
От стыда верёвка проскрипела,
Что пришлось ей в качестве петли
Чью-то душу выжимать из тела.

Глаза

Мужик с азартными глазами
Колол под сердце раза три,
Но вот попал… и боров замер,
И что-то екнуло внутри.

Обмяк он, рухнул у забора,
Кропя и плавя белый снег,
Еще теплел сраженный боров,
Уже наелся человек…

Бесплодно вызывая жалость
У тех, жующих за окном,
Башка кровавая лежала
В сугробе кверху пятаком.

Глаза немного приоткрыты,
Глаза, счастливей многих глаз,
Всю жизнь смотревшие в корыто,
Смотрели в небо первый раз!..

Семёнов

Зазывая к себе перезвонами
Этот город пяти площадей,
Вдохновляет резными узорами
И прохладой зелёных кудрей.

Снисходительно старое к новому,
Ищет новое в старом ответ…
Неустанно во славу Семёнова
Здесь творят и ложкарь, и поэт.

Пахнет липой и квасом на солоде,
Я по улицам светлым пройдусь…
Отражается в маленьком городе
Вся святая великая Русь!

Так давай же согреемся, милая,
После долгой разлуки-зимы
Жарким словом Бориса Корнилова
И огнём золотой хохломы.

* * *

Владимиру Жильцову

От звона лишних словоблудий
На мне усталости печать.
Давай, Иваныч, просто будем
Про жизнь нелёгкую молчать.

Ты обожжён законом волчьим,
Моя судьба – закон читать,
Как хорошо с тобою молча
Всё вспоминая, забывать.

Забыть о прошлом, не иначе
Забыть о будущем, когда

Мы друг о друге вдруг заплачем,
Прощаясь, может, навсегда…

И чтобы врозь от словоблудий
Не впасть в агонию тоски,
Давай с тобою вместе будем
Молчать по-русски, по-мужски!

* * *

Когда меня не станет на земле,
Не значит, что меня не будет возле:
Я буду здесь, ещё добрей и злей,
Ещё свежее, как мадера в розлив.

Ты поднесёшь меня к своим губам
И, захмелевши, склонишься к другому.
А я промчусь, всё позволяя вам,
Лишь сквозняком по запертому дому.

Когда же вспыхнет сладострастный миг,
Которому, увы, не я виною,
Ты ощутишь, что я в тебя проник,
И я пойму, что ты сейчас со мною.

Не ревновать! – какой он там: седой,
Иль молодец безусый – чуть за двадцать.
Я просто стану утренней водой,
Которую ты будешь омываться.

Ко мне придёшь, и стану я лучом,
Что на погосте тенью крест обрубит.
«Меня любил он», – скажешь ты, причём
Себе добавишь, улыбнувшись: «Любит».

* * *

Поэты должны быть такими,
Какими б вы быть не смогли:
Голодными вечно и злыми,
По сути же – солью Земли.

Должны быть блаженны поэты
В миру и на тропах войны.
А если серьёзно, вообще-то –
Они ничего не должны!

Дверь

Неслись прохожие, пиная
Входную дверь туда-сюда,
И лишь прохожая иная
Не причинила ей вреда.

Она её поцеловала,
Другим входящим вопреки,
И след неровного овала
Сползал помадой по двери.

Изрядно настрадавшись за день,
Той двери было невдомёк:
Иную саданули сзади
И отобрали кошелёк…

Свежесть

Куда девалась Ваша свежесть,
Улыбка и манящий взгляд?
Печально, что в углу медвежьем
О Вас теперь не говорят.

А были первая из первых,
Неотразимы и легки,
Кухаркам вытянули нервы
И заточили языки…

Ушли Вы в каменные джунгли
И, в миллионах растворясь,
В быту гербарием пожухли.
И лишь стихи звучат для Вас.

Стихи ласкают, рвут на части,
Они и розы, и ножи…
Их автор бесконечно счастлив,
Что в них останетесь свежи…

Наталья УВАРОВА

Родилась в 1982 году в городе Дзержинске Нижегородской области. Окончила филологический факультет ННГУ. Лауреат и финалист всероссийских и областных поэтических конкурсов, фестивалей авторской песни. Двукратный призер фестиваля-слета молодых литераторов в Большом Болдине. Автор сборников «Голуби и крысы» (1999), «Бабочка» (2014). Живет в Дзержинске.

МИР СУЩЕСТВУЕТ ДЛЯ ТЕХ, КТО ИДЕТ ПО КРАЮ

Последний лес

Набитый хвоею живот
Бесстыже вспорот.
В сосновый лес который год
Вгрызался город.

И так иссушен, обожжен,
Да всем им мало –
Здесь будет город заложен
На сто кварталов!

А город-сад, а город-бред,
А город ближе,
И снег стыдливый напослед
Оближут лыжи.

А лес терял свой шум, свой свет
И тень, и запах,
И смят последний первоцвет
В железных лапах.

Рыдает мох, скрипят пеньки,
Трубят вершины:
Грядут бетонные полки –
Несокрушимы!

Русалки, лешие, шиши –
Молчат весною.
Здесь нынче делят барыши,
Стал лес – казною!

Стал лес – вразнос, стал лес – вразвес,
Пошла пирушка!
И становился гордый лес –
Лесами, стружкой.

Щетиной синею встают
Везде заборы.
Был лес как скит, был лес-приют –
Стал лес раздора.

Стал лес мишенью для словес,
Героем драмы.
Подумай, может, этот лес –
Последний самый?

Конец дачного сезона

Тени яростно остры
И в обоях старых стены.
Да глядит мое колено
Из мохеровой норы.

Запотевшие очки,
Муха в треснувшем стакане,
Притаились кабачки
под бочком остывшей бани.

Дом ссутулился, одрябл.
Окна вкось, крылечко гнило.
Разворачивай, сентябрь,
Свой трамвайчик сиротливый.

Жизнь – как рельсы, но они
Вразнобой лежат без дела.
Все за считанные дни
В этом мире проржавело.

Стая журавлей – кинжал,
Метко брошенный куда-то.
Солнце Бог в ладонях сжал
И за пазуху припрятал.

* * *

И застыла в памяти картина –
Как в один из зябких серых дней
На площадке возле магазина
Девочка кормила голубей.

Изменили мир в одну минуту –
Краснолапы, сизокрылы и легки.
Как они воркуют – стонут будто
И клюют доверчиво с руки.

Все пройдет – сомнения и страхи.
Снег февральский. Мартовская стыль.
Но я верю – этих крыльев взмахи
С сердца моего стряхнули пыль.

Вторая кожа

Город тонет в лаве заката,
Ты глядишь острее и строже.
Я в одном пред тобой виновата,
Что к тебе приросла всей кожей.

Я же думала – мы как реки,
Что начало дают полноводью.
Я же думала, мы навеки,
что единою стали плотью.

Я же думала – буду твоею.
(Усмирить бы истерику пульса.)
Я же взрослая, я сумею,
Ты теперь обо мне не волнуйся.

Выбивает сердце стаккато,
И ведет дорога к вокзалу.
Я в одном пред тобой виновата,
Что я раньше тебе не сказала,

Что же давит так сильно на плечи,
Что любовь – непосильная ноша.
Ты ответь, тебе станет легче,
Если прежнюю кожу сброшу?

Кармен. Майе Плисецкой

Нинья!
Расправь плечи,
Взметни юбки!
Острый каблук
в землю вонзи
шпагой!
В танце безжалостна будь,
Не иди на уступки.
Нинья, лети, соблазняй,
поднимайся,
Падай.

Нинья!
весь мир условен.
Вот будто люди
Носят плащи и маски,
как будто – лица.

Нинья,
не бойся тех,
кто тебя осудит.
Бойся –
поддаться,
отречься,
остановиться.

Нинья!
Что их усмешки,
косые взгляды?
Мир существует для тех,
Кто идет по краю.
Кто презирает
Приличья, советы,
Награды.
Танцем сразу их,
Вечная дева.
Майя!

Луна в городе

Моя осенняя тоска
Желта, как яблоко на блюдце.
Луна сегодня так близка –
Рукою можно дотянуться.

Дневные отложу дела,
К чему мои смешные драмы?
Луна сегодня так кругла –
В квадратной неуютно раме.

Луна пришла из той страны,
Где снег кружился белой молью,
Куда до наступленья тьмы
Закат рукой швырял уголья.

А ночь – неспящим благодать
Влюбленным – петь, забытым – плакать.
Луну, как яблоко, сорвать
И грызть мерцающую мякоть.

А есть ли оправданье мне,
Не находящей в мире места,
Как неуживчивой луне,
Которой и на небе тесно.

Николай ФОРТУНАТОВ

Публицист, критик, литературовед. Родился в 1931 году в Волгограде. Окончил историко-филологический факультет Горьковского государственного университета имени Н. И. Лобачевского. Работал учителем русского языка и литературы, старшим преподавателем и доцентом, заведующим кафедрой русской литературы Нижегородского госуниверситета, где преподает в настоящее время. Профессор, доктор филологических наук.

Член Союза писателей России. Живет в Нижнем Новгороде.

РЕКУРСИЯ КАК ФИЗИКА МЫСЛИ ОЛЕГА РЯБОВА

И физика, и лирика

Известная мысль А.С. Пушкина по поводу пьесы А.С. Грибоедова «Горе от ума» о том, что «драматического писателя должно судить по законам, им самим над собою признанным», повторялась уже столько раз, что стала почти анонимной и приобрела статус аналитической технологии при прочтении художественного текста.

Она необходима нам при обращении к творчеству нижегородского писателя Олега Алексеевича Рябова, политехника по образованию. Имеет ли ренессансный тип личности универсального человека в наши дни взаимосвязь со своими текстами? И если да, то как это проявляется в его индивидуальном почерке, вызывающем активный общественный отклик?

Рассмотрим его творчество с позиции писательской рекурсии, представляющей особый коридор из романных «зеркал», которые уже со времен Генри Филдинга «проносят по дороге» и для авторского самопознания, и для диалога с читателем. Роман как жертва человеческого кризиса приобретает под пером Олега Рябова классический смысл, экстраполированный в наше сегодня и совсем недавнее вчера, создавая цепочку узнаваемых образов и неожиданных заключений.

Начнем с заглавия романа, ибо заголовок должен схватить символическую суть всей вещи. Один из известных романов Олега Рябова имеет непривычно развернутое и не вполне понятное заглавие: «Убегая – оглянись, или Возвращение к Ветлуге» (2015). Даже для читателя, хорошо знакомого с картой средней полосы России, здесь необходима подсказка: Ветлуга – это небольшая река, затерявшаяся в лесах

недалеко от Нижнего Новгорода, стоящего, как известно всем, на берегах двух великих русских рек, Оки и Волги. С первой же фразы романа он приобретает, какой-то подчеркнуто «местный» колорит: «Желтая песчаная коса широким языком тянулась вдоль Ветлуги, вылизывая ее быстрое течение, изгибаясь с ней и образуя неглубокий заливчик из русла старицы…» Но спустя два-три столь же текучих, медлительных эпизода резко меняются декорации: действие переходит на одну из улиц Нижнего Новгорода, где произошло загадочное убийство, связанное с одним из героев. Лишь постепенно, исподволь начинает проясняться: это не столько конкретика узнаваемых мест или придуманных автором острых романных ситуаций, колоритных уже самих по себе, сколько раздумья писателя о многострадальной России последних нескольких десятилетий. Для одних читателей открывается возможность вновь пережить то, что было пережито ими когда-то, и увидеть в этом пережитом нечто такое, что они в свое время не могли рассмотреть и понять; для других же появляется шанс увидеть незнакомую им жизнь, развертывающуюся в увлекательном вымысле, оставляющем ощущение правды.

Художественный эксперимент Олега Рябова состоит в том, что он, сохраняя традицию устойчивости романных жанров, постоянно нарушает ее, смешивая их в какое-то новое единство. Воспитательный роман соединяется у него с приключенческо-авантюрным, тот – с романом путешествующего героя или с романом-испытанием, затем получает еще и острую социальную окраску в том или ином герое.

А их всего трое на весь упомянутый роман – закадычных друзей с молодых лет, колоритных и контрастных фигур: двое русских и один еврей. Их именами названа каждая «составляющая» романа-трилогии (Часть первая «Андрей»; Часть вторая «Лёвка Бородич»; Часть третья «Боря Иванов»). Андрей Ворошилов, сын крупного советского производственника, из-за своей уникальной, почти мистической способности озарения, становится заметным игроком в крупной карточной игре, его еще на студенческой скамье «вычисляют» криминальные авторитеты и используют в своих целях; Лёвка Бородич, талантливый математик и программист, оказывается выброшенным в Америку; третий – Боря Иванов, заметный физик-теоретик и экспериментатор, после трагедии (я сознательно не говорю подробнее о героях, чтобы не мешать будущему читателю романа) оказывается в психиатрической лечебнице, а затем в «норе», вырытой для себя в глухом лесу, где ведет жизнь нового Робинзона, но в отличие от классического персонажа должен непременно погибнуть и уже погибал однажды (спас случай). И только друзья способны найти его и вытащить из добровольной западни.

Герой романа Лессажа «Хромой бес» обладал способностью заглядывать под крыши бюргерских домов, Рябов же приподнимает навес Большого дома – России, где герою, полному энергии, приходится играть необычную роль. Андрей Ворошилов, кажется, истинный автор произведения (в нарратологии это особенно активно проявляющее себя действующее лицо), но над ним доминируют, определяя его судьбу, две силы, сменяя одна другую или оказываясь рядом: крупный советский чиновник и криминальный авторитет. Четыре года тюрьмы, как он признается, многому его научили, но в результате он все же оказывается где-то в Тунисе без права возврата.

Каждый персонаж, занимая свое место в трехактном повествовании, постоянно перемещается в нем, и Андрей эпизодическим лицом представлен во второй и третьей ее частях, Лёва Бородич – в первой и

третьей, Боря Иванов – в первой и второй. И все вместе они неудержимо стремятся к одному – непременно встретиться на ставшей для них родной реке, так что возникают порой довольно курьезные ситуации: двое нетерпеливо добиваются друг друга по международной связи, а оказывается, что один уже рыбачит на Ветлуге, а другой совсем рядом с ним собирает грибы. Но они не просто тянутся друг к другу, такие необычные по судьбам и контрастные по характерам люди. Это звенья одной художественной цепи, и составлена она не событиями, не сюжетом романа, не персонажами, а общими идеями автора, пронизывающими трилогию из конца в конец. Одна из таких сквозных тем – дружба, редкое по нынешним, да и во все другие времена чувство, когда протянутая тебе рука может определить человеческую жизнь, причем ни тот, кто протянул ее, ни тот, к кому она обращена, и не подозревают об этом. Или даже спасти тебя, как это происходит с Андреем, ради которого физик-теоретик и математик-программист, напрягая все силы, отставив неотложные дела в сторону, лихорадочно пишут диссертацию на чуждую им сугубо гуманитарную тему, чтобы тупица, занятый по службе охраной преступников, получив возможности карьерного роста, мог способствовать сокращению тюремного срока их другу. Да и судьба Бори Иванова, беседующего с призраками, то и дело теряющего разум, чуть ли не насильственно перемещенного из убогой лесной норы в добротный деревенский дом на Ветлуге, построенный одним из его друзей для самого себя, весьма показательна. Она вновь напоминает о «Трех товарищах» Ремарка, посвященных экономическому кризису Германии после Первой мировой войны, когда человеческие отношения проходят испытание на прочность.

Вечное в контексте злободневного

Однако художественная рекурсия и ремейк отнюдь не совпадают по своим функционально-выразительным возможностям. И это становится особенно очевидно при рассмотрении романной темы Родины, которая у Рябова стягивает его произведение в единое целое. Первый раз она возникает в связи с катастрофой, которую терпит Андрей. Опасностью в советское время для удачливых людей были большие деньги. Несчастье Андрея, кроме всего прочего, состояло в том, что деньги давали ему возможность иметь хорошую аппаратуру и редкие диски, доступные немногим. «Эммануэль» с ее порнографическими пряностями вскоре пойдет на большом (!) экране, но в те времена, о которых идет речь, да еще имея в виду предпринимательскую деятельность Андрея, ему можно было приписать любые прегрешения: проповедь враждебных идей, растление душ, нечистое ведение дел, да все что угодно в добавление ко всему, что действительно было, – и после недолгого судебного разбирательства он получает тюремный срок. Им были нарушены неписаные законы, какие входили в понятие Родины, которая никогда и ничего не забывает и никогда и никому ничего не прощает. Но отказаться от нее человек не может. Впервые эту тему формулирует сам Андрей Ворошилов: «Родина – это место, где ты родился, и вычисляется это место очень легко. Оно закодировано в твоем организме, в крови, в генах. Когда ребенку обрезается пуповина и он делает первый самостоятельный вдох, в определенных участках его организма фиксируются напряженности и векторы всех геофизических полей,

существующих на Земле: гравитационного, магнитного, электромагнитного, космического излучения и еще масса параметров, присущих данной точке Земли и никакой другой. И эта точка Земли – его Родина, и будет ему хорошо только здесь».

Если прибегнуть к исторической аналогии, то можно вспомнить, что подобная идея была высказана по крайней мере век тому назад русской литературой в попытке примирить вечно враждующих западников и славянофилов, иначе говоря, два общественных противоположных крыла, существующих и сейчас, – либералов и консерваторов. И высказана она была наиболее сильно Достоевским, идеологом почвенничества, как он определил это направление.

Так что герой трилогии рассуждает, не подозревая о том, провидчески: не менее актуально, чем подобная мысль звучала когда-то в «Подростке» Достоевского, где появляется русский европеец Версилов, больше европеец, чем сами европейцы, но только в том случае, если он во всем остается русским человеком. От своей земли никуда не уйдешь и рано или поздно все равно вернешься к ней.

Во второй раз та же тема родины возникает в средней части романа, перебрасывая арку связи от истории Лёвки Бородича к Андрею Ворошилову в момент неожиданной и тоже по-своему катастрофической перипетии в судьбе его приятеля, когда тот, лишенный прав гражданства, в течение двух недель должен покинуть Россию. Затем она получит развитие в мысли о православии, генетически оставшемся жить в народе, несмотря на атмосферу жестокого официального атеизма, и в вариативной форме передается в духе еврейских анекдотов старым сапожником (родственником Лёвы Бородича) как наставление мудрого старого человека ему, будущему крупному ученому: «Каждый еврей должен работать. Это у русских можно тридцать лет на печи лежать и говорить, что “душа не лежит” или “струнку не задели”. А еврейский мальчик в пять лет начинает играть на скрипке и в двадцать становится лучшим скрипачом. И талант тут ни при чем, и никто не узнает, сколько раз мать его била и наказывала, чтобы сделать из него скрипача». Наконец, в заключение всего романа та же идея появляется в облике второй малой родины: ставшей дорогой для всех героев небольшой реки Ветлуги, соединившей их всех вместе. Вот они в финале молча стоят, обнявшись по случаю встречи. Одновременно завершается и весь роман, стянутый композиционным обрамлением, повторив экспозицию в эпилоге так, что конец здесь действительно баюкает в руках начало.

Но среди троих молча обнявшихся друзей есть еще одно не названное лицо – это автор романа, скрывающийся за ними все это время. Ведь это его жизнь, его судьба, его любовь. И роман, оставаясь романом, приобретает черты, характерные для лирической медитации-раздумья над тем, что было пережито или могло быть пережито писателем.

Genius loci

Распространенный в наши дни концепт «гения места» обусловлен местом обитания человека, часто не обращающего на это место никакого внимания, но при расставании испытывающего ностальгию, потребность высказаться по поводу своих воспоминаний. Иными словами, это новая описательность, своего рода поиск «духа места» и прочие усилия, направленные на то, чтобы «оживить камни».

Не так у Рябова. Уровень нравственных, эмоционально высказанных в его произведениях идей определяется его любовью к родному городу. Здесь он родился и вырос, и потому нет ничего удивительного, что эта сторона кажется ему необыкновенно уютной, теплой и красивой, где дышится легко, а те места, которые полюбил с детства, представляются особенно поэтичными его уголками. Молодость имеет свои права, в ней нет преобладания рассудка над сердцем, непосредственное чувство не заглушено еще рефлексией, а так как Олег Рябов стремится мыслить и чувствовать, как мыслят и чувствуют его молодые герои, то это состояние переходит в его стиль, освещенный светом любви к близкому ему городу. В какой-то мере это можно считать продолжением темы, так занимающей его писательское сознание, – темы Родины.

Многообразную художественную функцию выполняет в романе упоминание мест Нижнего Новгорода. Читатель получает возможность рассчитать путь, по которому идут герои. Или вместе с автором он может увидеть, где происходят их встречи («от оперного театра рукой подать», «на улице Горького, недалеко от площади Свободы», «Дмитриевская башня кремля», «парк живых и мертвых», «маленькая обшарпанная будочка на центральной улице города», «книжный рынок в Пушкинском садике», «дом Ивана Петровича Склярова», то есть дом, где находилась квартира градоначальника, а затем губернатора Нижнего, кафе «Нижегородское», ресторан «Москва», Откос и т. п.).

Читатели-нижегородцы, провоцируемые таким повествованием, уже сами затем выстраивают важные для каждого и свободные ассоциативные ряды, толчок которым дает точная сценография романных мест. Причем эти обертоны смысла могут приобретать, судя по обстоятельствам, или комедийный, или драматический характер: площадь Свободы, например, – это бывшая Острожная площадь; она примыкала к острогу, и сейчас сохранившемуся, только закрытому высокими домами. Она была названа так в результате судорожных усилий новоявленных пересозидателей жизни, но так как это были люди чаще всего малообразованные, то и действовали по примитивной логике от обратного: и улица святой Варвары Великомученицы по той же причине становилась улицей Веры Фигнер, революционерки, проповедовавшей террор; Царская – улицей Народных комиссаров; «Парк живых и мертвых», как нижегородцы не без иронии окрестили его, был разбит на месте старого кладбища и носил и носит имя русского изобретателя-самоучки XVIII века Кулибина (у Островского ставшего прототипом Кулигина в «Грозе»). В самом начале парка при строительстве громадного здания ТЮЗа были потревожены давние захоронения; из костей и черепов строители в духе черного юмора соорудили небольшую пирамидку, которую вскоре растащили мальчишки, – подробность невеселая, но очень точная, ее может вспомнить только знаток Нижнего Новгорода, его старой и новой истории, как вспомнить тоже по ходу романа колоритную Больничную улицу, в сравнительно недавнее время совершенно исчезнувшую. И таких подробностей немало. Если протянуть через воображаемое пространство парка имени Кулибина прямую линию, то на противоположном конце ее окажется церковь во имя святых Петра и Павла, в свое время служившая детским (тоже для юных зрителей!) кинотеатром «Пионер».

Автор вовлекает читателя в игру, напоминающую компьютерную, а именно в «повествование через окружение» (environmental storytelling), где камера, вращаясь свободно, исключает последовательный набор

кадров, характерный для кино или сюжетной постройки, но зато оставляет простор для пространственного мышления при движении объектов по определенной территории. Действие петляет по улицам города или не особенно далеко от него, то попадая в охотничий домик лесника, то на глухую лесную опушку, где на крепких ветвях дерева выстроена скрытая площадка с прорезями для ружейных стволов, то на берег Ветлуги, в деревню, где строят большие рыбачьи лодки, легкие на ходу. А так как туда отправляется Андрей Ворошилов, чтобы приобрести изделие именно этих мастеров, притом на своей лодке, то это значит, что перед ним развертываются бесконечные «петли» Волги, и какая-нибудь церквушка, основанная древними зодчими на крутизне правого берега, будет часами стоять неподвижно, создавая впечатление, что при напряженном реве мотора вы не можете сдвинуться с места, и перед вами развертывается волшебство русского пейзажа с горизонталью бесконечного простора и острой вертикалью, устремленной к небу.

Краеведческий пласт романа продолжается в именах. Кирш, о котором толкует Лёве Бородичу его родственник-сапожник как о примере высокого профессионализма, был дамский портной, и к нему словно стремилась вся женская половина города. Подробность о крупном партийном чиновнике, горестно оплакивающем свое назначение в Москву (казалось бы, надо радоваться), очень остроумна, но самого-то чиновника мало уже кто помнит. Иногда автор считает необходимым зашифровать то или иное имя: например, Ким Ильин, директор областной библиотеки, как явствует из романа и что соответствует действительности, перед тем был догматичной выправки первым секретарем одного из райкомов партии; в целях «конспирации» в его фамилии отсечены лишь две последние литеры, превратив его в звучного русского Ильина. «Дядя Володя Фуфаев», играющий большую роль в сюжете романа (именно он убедил Лёву Бородича избрать математику в качестве приложения своих сил и способностей), – персонаж, прототипом которого, был известный представитель университетской научной элиты. Но «тот» Фуфаев, его реальный прообраз, был еще и заметным скрипачом-любителем и выступал с сольными номерами в концертах самодеятельности преподавателей и студентов университета и одно время носился с идеей организовать инструментальный ансамбль, напоминая в этом легендарного текстолога-пушкиниста С. М. Бонди, сменившего скрипку на альт ради того, чтобы такой ансамбль состоялся. Только музыка способна подравнивать филолога и математика-физика, потому что и там и здесь число играет громадную роль. Не случайно же Эйнштейн никогда не расставался со своей скрипкой.

Таким образом, проза Олега Рябова отличается тем, что дает энергичные импульсы читательскому восприятию. Местный колорит с еще большей силой высказывается в его сборниках рассказов, начиная с успешного «романа-сюиты», по авторскому определению, «КОГИЗа» (2009). Всегда какая-то особенная заразительность, теплота авторского чувства появляется в них, вызывая непосредственную эмоциональную реакцию читателей. Притом читателей, что неожиданно, и не имеющих никакого отношения к Нижнему Новгороду. Возможно, потому, что Олег Рябов часто рисует нижегородцев, принадлежащих к миру русской культуры. Как в рассказе «Лавочка Даля».

Вокруг этой лавочки, по свидетельству автора, открытой милостью божией поэтом Юрием Адриановым, или, по другому преданию, Велимиром Хлебниковым, приезжавшим в Нижний искать новые слова,

мало-помалу группируется целая толпа лиц: Даль, рядом с ним Павел Иванович Мельников, помогавший ему в работе над словарем, Максим Горький, два приятеля-поэта Юрий Адрианов и Олег Рябов и множество других; каждый хочет во что бы то ни стало хотя бы недолго посидеть на ней, как когда-то сиживал Владимир Иванович Даль, только после этого обязательного для себя ритуала отправлявшийся писать. Видимо, вросшая в землю скамейка обладала таинственной способностью собирать в себе творческую энергию и передавать ее другим. Или рассказ о мастере светотени и острых сюжетов фотографе Максиме Петровиче Дмитриеве («Кисть рябины с каплями дождя»), или в таких же конкретных подробностях возникающие на страницах рассказов люди и события старой и новой истории Нижнего Новгорода.

Cui bono?

Латинское выражение «Кому на пользу?» имеет в филологической аналитике значение аутентичности, той подлинной правдивости, в которую читатель верит безоговорочно, воспринимая авторскую оптику как свою собственную. Однако истинность писательских наблюдений определяется не документом и топографией, которые в принципе меняют художественную структуру текста, заменяя логикой факта поэзию пережитого и прочувствованного.

Если попытаться определить главную черту манеры письма Рябова, то ее можно назвать импровизационной. Она так эмоциональна, так непосредственна потому, что, увлекаясь сам, автор увлекает и других, своих читателей. Он не прочь побалагурить или весело рассказать о былом, что давно или только что прошло перед глазами, хотя это «былое» выдумано им от начала и до конца и представляет собой плод его откровенной фантазии.

Рассказ «Борис Борисович и его жены» по сюжету всего лишь забавный анекдот, но в нем появляются два резко контрастных образа Нижнего Новгорода. Один, отмеченный суровой красотой: в нем – Печерский монастырь, вознесшийся над обрывом у Волги, с его легендами об узниках, имена которых никому не были ведомы и оставались тайной, однако в нем же инок Лаврентий создал свою летопись, прославившую его во все времена. И другой, современный Нижний – в колдобинах, выбоинах и ухабах, отступи только на шаг от центральных улиц, с вандализмом надписей на стенах недавно приведенных в порядок домов. И Екатеринбург, ухоженный, чистый, куда оказывается перенесен герой рассказа; город президента России, где тот начал свою карьеру, и не мог быть иным. Сейчас этот уровень, следует добавить, давно уже оставлен позади когда-то пыльной, запущенной Казанью, ставшей образцовым европейским центром. В сравнении с ними Нижний Новгород, как это ни грустно, – запущенная провинция. То, что возникает на страницах романа и рассказов Олега Рябова, не случайность, а скорее проявление какой-то грустной закономерности. Глубокая старина с ее преданиями и абсолютное равнодушие к ней; толки о патриотизме и тут же – не воспитание, а уничтожение этого чувства в детском и молодом поколениях; вместо изданий по литературе, истории, образованию и культуре Нижнего Новгорода бесконечно тиражируемые аляповатые альбомы кустарных промыслов и видов города, в последние годы к ним добавились еще и комиксы!

Одни раны, нанесенные городу, зарубцевались, другие продолжают кровоточить, но появляются и новые. В том-то и дело: настоящее краеведение – это любовь, как в фантазиях, в вымыслах, иными словами говоря, в беллетристике Олега Рябова. Сейчас ее нет там, где она должна быть, – в самой реальности. Так что в прозе своей Олег Рябов в большей степени краевед, чем сами профессионалы-краеведы. У писателя иной уровень мышления. Любовь рождает боль; боль – сострадание; сострадание концентрирует в себе громадную эмоциональную энергию. Не холодная рефлексия ума с невольным нарушением фактов или слабой аргументацией, а ум сердца, подчиняющий читателя так же, как и автора, – рекурсия происходит не по «знаниевому» принципу, а за счет пережитого, выстраданного, волнующего писательское сердце.

Шуткой может открыться непринужденный рассказ, а закончиться драматической ситуацией, которую не пожелаешь и врагу. Скажем, новая административная метла так жестоко по-новому метет, что закаленный, испытавший многое в жизни человек, оказывается сломлен и погибает («Убийство Отъемова»), или молодая женщина, строя карьеру в ближайшем к родной деревне райцентре, годами не показывается у матери и спокойно проносится в машине мимо нее, расположившейся у входа в село с грибами и ягодами на продажу («Жить разучились»). Он схватывает грустные приметы нового времени, когда говорит о забытых стариках («Это недалеко», «Смерть старика») или начинает развертывать нешуточную историю криминального толка с начавшейся чередой убийств («Душегубы»). Но он не навязывает никому своих представлений о морали и нравственности. Басня есть (живо рассказанная история), а мораль пусть вырабатывается самими читателями, это не дело писателя. Поэтому в рассказах Олег Рябов не формулирует своей точки зрения, никогда не проговаривается. Но она есть, скрытая в сюжете, в характерах героев, и лишь временами отчетливо проявляется в размышлениях о писательском ремесле или в редких интервью. Если собрать крупицы таких авторских признаний, то логика их довольно ясна. Писатель, утверждается в них, не может не писать, потому что высказывает боль своей души, перешагнувшей давно сам порог боли, ее уже невозможно терпеть. Есть те, кто работает ради денег, но это люди иной веры, и ему с ними не по пути.

Известно, как в тридцатых годах прошлого века, в эпоху террора, ночами исчезали люди, и Шостакович выходил на лестничную площадку, чтобы незваные посетители не перепугали домашних во время его ареста; он был уверен, что так случится. Но, по свидетельству автора рассказов, подобное происходило и средь бела дня, у всех на глазах, когда знакомый человек уходил в сопровождении незаметных людей в скроенных на один манер серых длиннополых пальто, и последние реплики с воли не сулили скорого возвращения:

– А эти товарищи наши или из Москвы?

– Из Москвы.

– Это плохо. Очень плохо… («Шура и Машка»)

Плохо потому, что это верный признак: человека ждет долгий срок тюремного заключения, или ссылка, или каторга, а то и расстрел после истязаний и захоронение в общей могиле где-нибудь на расстрельном полигоне под Москвой. Но чтобы в один прекрасный день, не такой уж и прекрасный, вдруг исчезли все калеки великой войны, недавние солдаты, сокрушившие фашистское нашествие, а теперь – кто без рук,

кто без ног – добывающие пропитание себе и своим близким милостынею в промерзающих вагонах местных железнодорожных линий или у входов в заводы и театры, – такая страшная подробность могла быть зафиксирована только Олегом Рябовым, его памятью и способностью воскрешать такие детали. Причем без нажима, без стенаний, без сентенций; просто в качестве точной подробности. Эти люди мешали величию фасада победившего государства и потому были безжалостно уничтожены, как раньше и позднее уничтожались сотни тысяч мнимых противников режима.

Себя он чаще всего ставит в комические ситуации и невольно, без заранее обдуманного намерения, объясняет многое в том, почему, что и как пишет. Например, эпизоды его бесконечных странствий по миру и в России свидетельствуют, что он всегда открыт к общению, очень контактен, а не просто наблюдателен и обладает хорошо тренированной памятью. Запас впечатлений оказывается неисчерпаем. Выхваченные из потока событий лица объясняют его в таких случаях в значительно большей мере, чем самих себя. В странствиях по Индии он случайно несколько раз сталкивается с американцем. Ничем не примечательный, невысокого роста энергичный человек, несмотря на устойчивые стереотипы («А вы, как и все русские, опять задумали что-то противозаконное?»), отличается какой-то стойкой привязанностью к русским: несколько лет жил в России на нелегальном положении разведчиком. В последний раз он попадается путешественникам в безвыходном для них положении; восставшие студенты в Дели перекрыли все улицы, и им уже не успеть в аэропорт: путь преградила баррикада. В этот момент появляется на роскошном «кадиллаке» американец Джонни, как его называет автор. Поговорив с полицейским и получив вежливый отказ, он неожиданным ударом сбивает его с ног, а другие блюстители порядка вместо того, чтобы арестовать его, пропускают автобус и тут же, надсаживаясь, снова закрывают баррикаду. Кто этот «Джонни», бог весть, но он уже не может быть забыт с этим его странным отношением к русским («Американец Джонни»); или точно такой же случай, но теперь уже, тоже невольные, встречи автора с люмпеном-пролетарием в Париже («А то – пожалуюсь русскому»).

И так во всем. Эта легкая, непринужденная манера письма несет в себе перспективу мышления. До сих пор немногие знали краеведа Смирнова по его замечательной книге о старом Нижнем Новгороде, опубликованной издательством «Книги» (им руководит, к слову сказать, Олег Рябов), а теперь это для меня, как и для многих, – живой человек; одной-двух фраз достаточно. Или Слава, как он требовал называть себя при первом же знакомстве, – гениальный виолончелист Мстислав Ростропович, но ведь он еще и выдающийся дирижер. Как дирижера нижегородская публика его так и не узнала. Разве только в первых шагах его помнят меломаны, когда он только начинал свои выступления, недавний ученик Израиля Гусмана, возглавлявшего Нижегородский симфонический оркестр в те времена, когда он вывел его в число лучших коллективов республики! И вот сейчас Мстислав Ростропович стоит у всех перед глазами и смотрит со страниц сборника рассказов, торжествующий, радостный, с каким-нибудь антикварным раритетом в руках (вроде тарелки с изображением Троцкого). А все потому, что писатель наблюдал, сопровождал и восхищался многогранной натурой великого музыканта.

Алгебра как путь к гармонии

Интерес к человеку и в жизни, и в творчестве – отличительная черта натуры Рябова. Между тем каждый мастер – всегда тайна, всегда свой, особый мир. Но творчество Олега Рябов – тайна вдвойне. Оно нередко оставляет впечатление простых зарисовок с натуры, где автор либо свидетель, либо непосредственный участник событий. А между тем в ней заключено какое-то скрытое очарование. Но в чем оно – загадка. Об Олеге Рябове писали в разное время Захар Прилепин, Павел Басинский, Роман Сенчин, Платон Беседин, Андрей Рудалев. Парадокс этих отзывов состоит в том, что чаще всего это оказывался невольный разговор о самом себе, о том, как на тебя действует эта странная проза, и ассоциативные связи уводили далеко от литературы, чаще всего в музыку. И это естественно. Как объяснить эту прозу словами? Музыка, и в самом деле, выше слов.

Иллюзия простоты и легкости разбивается о существенную черту прозы нашего современника, тоже скрытую, ничем не подчеркнутую, не выставленную напоказ. Она заключается в том, что автор тщательно моделирует текст, стремясь передать его внутренний ритм. Каждая часть романа непременно завершается акцентированной взрывной ситуацией. Вот Андрей, только что вернувшийся на родину, жадно пьет волжскую воду, черпая ее горстями: ни с чем не сравним вкус волжской воды! Во второй части он долгое время тщетно пытается найти Лёву Бородича через друзей в США и Канаде, через родственников, через еврейские общины в Израиле и России и, вспомнив, что он компьютерный человек, бросает клич в социальных сетах и, наконец, находит его. Финальный эпизод второй части завершается совершенно неожиданной концовкой (телефонным разговором друзей по международной связи):

«– Андрей!.. Ты где?

– Ни за что не отгадаешь. Я на Ветлуге, сома ловлю…

– А я тоже на Ветлуге. Грибы собираю…

– Так мы с тобой где-то рядом!»

Часть третья завершается сценой в глухом лесу, где Борю Иванова, все еще впадающего в беспамятство и беседующего с потусторонним миром, находит незнакомый человек. Ему только что звонил Андрей из Туниса, а ему соответственно Лёва Бородич из США с просьбой отыскать отшельника и во что бы то ни стало перевезти из опасной лесной «норы» хозяином в добротный дом в одной из деревень на Ветлуге. Во всех исходах трех частей романа инициатором неожиданных развязок оказывается один и тот же герой – Андрей Ворошилов. Вряд ли это обстоятельство, как и характер концовок частей, можно считать результатом предварительного холодного расчета, скорее это интуиция, но моделируется текст с поразительной отчетливостью. Это вообще-то одна из загадок эпической прозы, достаточно редко встречающаяся у сильных мастеров. При пестроте неожиданных развязок или в хаосе сюжетных перипетий архитектоника общей романной постройки оказывается на удивление строго выдержанной.

Автор пускает в ход даже такое редкое средство текстового моделирования, как разницу в шрифтах. Вступление к каждой из трех частей неизменно набрано курсивом, но так как введение к первой части выполняет одновременно роль пролога ко всему роману, то и текст эпилога, более краткий (тоже представленный курсивом), берет весь кор-

пус трилогии в замкнутое кольцо. Курсив, чисто техническое средство, становится в руках писателя одной из структурирующих сил трилогии.

Такие отчетливые приемы в организации художественного текста скорее область стихотворных форм, ощутимых по своему построению: ритм, рифма, строфа, метр (размер), аллитерации, чего только здесь нет! Проза всего этого лишена и вынуждена искать свои возможности. Так ведь Олег Рябов, поэт, и прозу свою пишет как стихи! Временами она представляет собой лирическое иносказание, построенное на фонетической образности. Искренность в творчестве необходима прозе, как и стихам. Но не в элементарном истолковании, которое обычно предлагает литературная критика: искренность – когда нельзя кривить душой, а нужно писать о том, во что веришь. Здесь речь идет об искренности в понимании Толстого: степень силы чувства, переживаемого писателем и особыми путями передающегося читателям. Стихи требуют обязательной правды эмоционального состояния поэта, без этого они превращаются в рифмованное плетение словес; в настоящей прозе – точно такой же правды изображения.

Есть еще одно свойство прозы Олега Рябова, которое заставляет вспомнить поэзию. Он структурирует свои романы, повести, рассказы подобно стихам. А это уже воздействие красоты как таковой: с гармонией эпизодов и целого, с законченностью драматургии всего произведения, с выдержанной соразмерностью, скрытой в композиционных решениях, в ассоциативных повторах и перекличках, присущих лирике, но никак не современной прозе. В ней главную партию обычно ведет сюжет; событие произошло, и его не повернуть вспять. А здесь идут в ход формальные приемы. Какой-нибудь самый откровенный вымысел, произвол может поспорить с жизнью и пустить по ложному следу. Ведь стали же искать после выхода в свет его сборника «Девочка в саду» (2016 год) «лавочку Даля», на которой якобы любил посидеть великий этнограф!

Завершая свое повествование, автор обычно стремится перебросить арку повтора или к заглавию, и оно начинает звучать, как скрытая метафора всего произведения, или к экспозиции, или к какому-то разделу разработки. Именно эти невербальные связи повторяющегося однородного материала, хотя принято считать, что единственный материал писателя – слово, стягивают повествование в компактную целостность, и сквозные образы-чувства вовлекают в свои потоки читателя.

Произведения Олега Рябова относятся к живой литературе не по своей сетевой принадлежности, а за счет органики формы и значимости выражаемых ею идей, которые нас окружают . Такие художественные тексты следует изучать при формировании навыков чтения как потребности самопознания и самовыражения столь редкой сегодня фигуры настоящего читателя, способного рекурсивно найти в актуальном контенте подчинение великим литературным традициям и порождение новых маршрутов для своего собственного пути.

София ИВАНОВА

Родилась в деревне Черемисское Кстовского района Горьковской области. Окончила Горьковский институт иностранных языков и факультет по подготовке практических психологов Волго-Вятской академии госслужбы.

Работала учителем иностранного языка, гидом-переводчиком, школьным психологом. Печаталась в альманахах «Земляки», «Русский смех», «Арина», журнале «Нижегородская провинция».

Лауреат конкурса «Душа поет» на Нижегородском областном радио. В 2010 году в издательстве «Книги» (Нижний Новгород) вышла книга ее стихов «Забытые слова». Живет в Кстове.

СОВПАДЕНИЕ ИЛИ ПРОЗРЕНИЕ?

Загадки чеховских сюжетов

«Мое пророческое чувство меня не обманывало никогда, ни в жизни, ни в моей медицинской практике», – писал А. П. Чехов Е. М. Линтваревой 27 октября 1888 года. Интуиция – одна из важнейших составляющих любого художественного творчества. Она окружена тайнами и загадками, а между тем это такой же мыслительный процесс, как и логика, но в отличие от логики промежуточные операции совершаются в свернутом виде и человек их не осознает, а мозг сразу же выдает результат. Это не означает, что результат приходит ниоткуда: просто мозг какое-то время напряженно над чем-то работал, часто бессознательно. Иногда это бывает мгновенное озарение, иногда сон, как, например, в случае с периодической системой Менделеева. Но не приснилась же она его лаборанту.

Все это так, но как объяснить случаи, когда человек заранее знает, что с ним произойдет через какое-то время, иногда через много лет? Конечно, это знание часто приходит в достаточно смутной форме, в виде аллегории или неясного предчувствия, но оно всегда безошибочно. Тот, кто научится понимать знаки судьбы, может избежать многих несчастий. Интуиция часто противоречит здравому смыслу – он велит делать одно, а интуиция – совсем другое, иногда даже противоположное, ваш внутренний голос буквально кричит: «Не делай этого!», а вы пренебрегаете им, а потом горько сожалеете, что не послушались его мудрого совета.

Рассказ, который навел меня на следующие размышления, написан Чеховым в 1888 году, как и письмо, цитата из которого приведена выше. К тому времени я уже достаточно много знала о жизни Чехова и

его близких, причем из авторитетных источников. Незаметно для себя я стала немного чеховедкой, и были случаи, когда замечала неточности, когда речь шла о Чехове, например, в передачах канала «Культура». Рассказ называется «Именины», главная героиня – Ольга Михайловна, молодая помещица, недавно вышедшая замуж и ожидающая своего первого ребенка. Петров день, именины ее мужа Петра Дмитрича. Съехалось много гостей, которых Ольга Михайловна как хозяйка должна занимать разговорами, развлекать. А между тем ей совсем не до этого – она устала, хотела бы отдохнуть, посидеть в тишине и подумать о «маленьком человечке», который должен появиться на свет через два месяца. Вдобавок она чувствует раздражение оттого, что ее муж пользуется вниманием дам и немного красуется. «Он был избалован женщинами, знал, что нравится им, и в обращении с ними усвоил себе особый тон, который, как все говорили, был ему к лицу». Кому-то из дам пришла в голову мысль ехать пить чай на остров, и эта поездка и чаепитие окончательно утомили хозяйку, а до отъезда гостей было еще так далеко.

Наконец гости разъезжаются в первом часу ночи. Ольга Михайловна чувствует безмерную усталость и какое-то неудобство во всем теле. Она начинает высказывать мужу свои обиды и подозрения, ей кажется, что он женился на ней из выгоды, хотя знает, что это не так. Муж, вместо того чтобы ее успокоить, помня о ее положении, уходит из спальни. От обиды, усталости, напряжения у Ольги Михайловны начинается истерика, вскоре она чувствует сильные боли внизу живота и спины. Мучения ее длятся очень долго, она то и дело теряет сознание от боли, не ощущает течения времени. Приезжает акушерка, потом появляются два врача, которые делают ей операцию. Когда она приходит в себя от наркоза, то не слышит ни детского плача, ни поздравлений – ребенок родился мертвым.

Рассказ этот довольно длинный, многоплановый, главное в нем, на мой взгляд, непонимание друг друга близкими людьми, нежелание и неумение высказать вовремя свои чувства, а также боязнь нарушить светские приличия, даже когда риску подвергается самое дорогое – будущий ребенок. Разве не могла Ольга Михайловна извиниться перед гостями, попросить кого-то из наиболее близких ей женщин временно исполнить роль хозяйки, а прежде всего сказать мужу о своем плохом самочувствии, тем более что он вовсе не был бездушным человеком. В конце рассказа он говорит ей, стоя у ее постели со слезами на глазах: «Зачем мы не берегли нашего ребенка? Ах, да что говорить!»

Прошло 14 лет со времени написания «Именин». Чехов уже постоянно живет в Ялте, не прошло еще и года со времени его женитьбы на Ольге Книппер. Она обещала приехать на Рождество или на Новый год, но не смогла. Она играла главные роли в нескольких спектаклях Художественного театра, а дублерок у нее не было, может быть оттого, что актеров в молодом театре было пока немного. Наконец она все же вырывается в конце февраля на неделю в Ялту, а уезжает оттуда беременной, хотя, разумеется, не знает об этом. Как будто только за этим и приезжала… Ребенка они оба очень хотели, называли его в шутку Памфилом, а Антон Павлович – «маленьким полунемцем». Но этому ребенку не суждено было родиться. 30 марта 1902 года Ольга Леонардовна поступила в Клинический повивальный институт в Петербурге, где МХТ был на гастролях. У нее произошел выкидыш, связанный, скорее всего, с воспалением яичников, которое у нее обнаружилось.

11 апреля она поехала в Ялту. В Ялту тогда обычно ездили через Севастополь, а оттуда на пароходе. В дороге Ольге Леонардовне стало хуже, и в Ялту она прибыла с температурой 39. С пристани в дом Чехова ее несли на носилках. У нее возник перитонит, заболевание очень опасное, особенно в то время, когда не было антибиотиков. Даже, как потом ей сказали, была опасность для жизни. Только 25 мая они с Чеховым смогли выехать в Москву, и в июне она еще была очень слабой. Так детей у них и не было.

После кончины Антона Павловича Ольга Леонардовна еще некоторое время продолжала писать ему письма, как она привыкла это делать при его жизни. Это как-то помогало справиться с горем. В последнем из них она писала: «В ноябре было бы уже два года младенчику моему, если бы не было катастрофы. Отчего это случилось! Ребенок у меня все бы перетянул, я это чувствую. Как бы ты его любил! Хоть помечтать об этом!»

Не знаю, когда именно я задумалась о том, было ли это случайное совпадение. Пришли на ум другие рассказы Чехова, которые содержали в себе обстоятельства, похожие на события из жизни Чехова и близких ему людей. Возник исследовательский интерес. Я решила прочитать 12-томное собрание сочинений Чехова, но ничего, кроме того, что обнаружила раньше, не нашла. Но зато я прочитала ранние рассказы Чехова, многие из которых не читала вообще и, возможно, никогда бы не прочитала, и это было бы для меня большой потерей.

Рассказ «Володя» был написан Чеховым в 1887 году, годом раньше «Именин». Сюжет его вкратце таков: Володя, семнадцатилетний гимназист, приезжает с матерью на дачу их богатой родственницы. Мать Володи, промотавшая свое и мужнино состояние, не хочет понять, что к ней относятся снисходительно и за глаза подсмеиваются над ней. Володя, чуткий и неглупый юноша, все это видит и страдает. Ему предстоит переэкзаменовка по алгебре, и, если он не выдержит экзамена, его оставят на второй год. Вдобавок ко всему он еще влюбляется в Анну Федоровну, тридцатилетнюю замужнюю женщину, которая тоже гостит у Шумихиных, довольно пустую особу, мало того – она оказывается ночью в поисках капель для хозяйки дачи в комнате Володи и даже в его постели. На следующее утро он не едет в город и не попадает на экзамен. К своему ночному приключению он чувствует отвращение, тем более что эта женщина, прежде чем уйти, назвала его «гадким утенком». Таким он себя и чувствует на следующий день. По дороге на станцию он высказывает матери все, что накопилось у него на душе. В поезде его душевное смятение продолжается. «И чем тяжелее становилось у него на душе, тем сильнее он чувствовал, что где-то на этом свете, у каких-то людей есть жизнь чистая, благородная, теплая, изящная, полная любви, ласк, веселья, раздолья...»

Дома, в городе, его душевные муки только усиливаются. Бесцельно бродя по квартире, где они с матерью снимают две комнаты, он заходит в комнату одного из жильцов, отлучившегося ненадолго, и обнаруживает у него на столе револьвер. Конечно же, никаких мыслей об уходе из жизни у него еще за минуту до этого не было, но его душевное смятение было так велико, что он, никогда до этого не бравший в руки оружия, совершает самоубийство. Наверное, чаще всего так и совершаются самоубийства, когда травмирующие душу события идут сплошной чередой и одно из них становится последней каплей.

К 1917 году из пятерых братьев Чеховых осталось в живых только двое: Иван и Михаил. Иван Павлович был учителем, у него был единственный сын Владимир. Он с последних гимназических лет мечтал о сцене, но отец и слышать не хотел об этом и требовал, чтобы сын сначала окончил университет. Иван Павлович был единственным из детей Павла Егоровича Чехова, кто унаследовал его крутой характер. Он не получил ни высшего, ни даже законченного среднего образования и работал учителем начальной школы. Видимо, еще и поэтому он так хотел, чтобы сын окончил университет (Владимир учился на юридическом факультете). Родители часто хотят, чтобы дети достигли того, чего не сумели достичь сами, и немало драм и даже трагедий происходит из-за этого эгоистического стремления. Желание стать актером Художественного театра появилось у Владимира после того, как он подружился с Михаилом Чеховым, своим двоюродным братом, будущим великим актером, но из этого ничего не вышло. И вот в 1917 году он покончил с собой, застрелившись из браунинга, украденного из ящика стола Михаила Чехова. Предсмертной записки он не оставил, так что настоящей причины его смерти никто не узнал. Как писала в своих воспоминаниях его двоюродная сестра Евгения Михайловна Чехова, «...говорилось и о неудаче с работой, о разочаровании в жизни, и о несчастной любви, но все это были догадки...». Скорее всего, как и в случае с героем чеховского рассказа, было просто нагромождение психотравмирующих факторов. И ведь даже имена одинаковые, и в том и другом случае застрелились оба из взятого тайком чужого оружия. Ну как тут не подумать, что это не простое совпадение…

Как известно, Чехов не написал ни одного романа. В первые годы своего писательства он мечтал об этом, в письмах говорил, что бережет героев и сюжеты для романа и не хочет их растрачивать на рассказы. Но он писал для газет и журналов, то есть был связан не только сроками, но и размером своих рассказов и повестей. Он со своего приезда в Москву из Таганрога фактически стал главой семьи, и именно от него зависело ее благополучие. Отец работал у купца Гаврилова конторщиком и там же и жил, хотя, надо полагать, давал денег семье, но их не хватало. Старший брат Александр имел уже свою семью и сам нуждался, ну а Николай даже о себе никогда не мог позаботиться. Так что знаменитый чеховский афоризм «Краткость – сестра таланта» родился не от хорошей жизни. А когда появились деньги и жить стало легче, в литературные планы вмешалась болезнь.

Вскоре после кончины Чехова стали появляться в печати воспоминания о нем. Литератор А. С. Лазарев (Грузинский) писал: «...Чехов рассказал мне сюжет романа, который он в то время собирался писать. Первая глава начиналась по-чеховски, очень оригинально. – Представьте тихую железнодорожную станцию в степи, – рассказывал он, – недалеко имение вдовы-генеральши. Ясный вечер. К платформе подходит поезд с двумя паровозами. Затем, постояв на станции минут пять, поезд уходит дальше с одним паровозом, а другой паровоз трогается и тихотихо подкатывает к платформе один товарный вагон. Вагон останавливается. Его открывают. В вагоне гроб с телом единственного сына вдовы-генеральши».

Когда я прочитала эти строчки, у меня мурашки забегали по коже – Чехов ведь тоже вернулся из своего последнего путешествия из Германии, из Баденвейлера, куда он уехал с женой в июне 1904 года,

в товарном вагоне, в котором стоял гроб с его телом. Обстоятельства смерти Чехова известны, к тому же писать об этом очень тяжело, поэтому ограничусь только цитатой из воспоминаний О.Л. Книппер-Чеховой: «Помню, когда я везла тело Антона Павловича из Баденвейлера в Москву, на одной глухой, заброшенной, никому не известной станции, стоявшей одиноко среди необозримого пространства, подошли две робкие фигуры с полными слез глазами и робко и бережно прикрепили какие-то простые полевые цветы к грубым железным засовам запечатанного товарного вагона, в котором стоял гроб с телом Чехова».

Концовка повести «Черный монах» также вызывает ассоциации с обстоятельствами смерти Антона Павловича. Герой ее, Коврин, умирает в Крыму, куда его привозит женщина, с которой он живет. Они только что приехали. Его спутница, Варвара Николаевна, спит за ширмами в номере гостиницы в Севастополе, а Коврин читает письмо своей бывшей жены, в котором она обвиняет его в своей разбитой жизни. Письмо приводит его в беспокойство, и он снова, как и раньше, видит черного монаха, с этого видения и началась когда-то его душевная болезнь. У Коврина идет горлом кровь, он хочет позвать свою подругу, но называет ее именем бывшей жены. Варвара Николаевна выходит из-за ширм и видит Коврина лежащим на полу. Он уже мертв.

Так и Чехов умирает в чужом городе, в чужой стране, в номере гостиницы, ночью. Впервые сам просит позвать врача, врач приходит, но ничем уже не может помочь. Я раньше все недоумевала, почему Чехов сказал «я умираю» по-немецки. Потому и сказал, что рядом был врач-немец. Умер он в полном сознании и очень легко, хоть в этом его судьба пощадила. Почти 30 лет спустя Ольга Леонардовна Книппер-Чехова писала в своих воспоминаниях:

«...то, что я испытывала и переживала, стоя одна на балконе и глядя то на восходящее солнце и на звенящее пробуждение природы, то на прекрасное, успокоившееся, как бы улыбающееся лицо Антона Павловича, словно понявшего что-то, – это для меня… пока остается тайной неразгаданности… Таких минут у меня в жизни не было и не будет...»

В 1897 году Чехов написал рассказ «О любви». В нем отражена история его взаимоотношений с Лидией Алексеевной Авиловой, популярной в те годы писательницей. В конце жизни Лидия Алексеевна написала автобиографическую повесть «А. П. Чехов в моей жизни». Из нее следует, что Чехов и она любили друг друга, но на момент их знакомства Авилова была замужем и имела ребенка. Никаких других документальных свидетельств их отношений нет, поэтому большинство чеховедов считают мемуары Авиловой чистой беллетристикой. Конечно, она писала эту повесть в преклонном возрасте, что-то могло забыться, хотя такие вещи человек помнит до конца жизни. Собственно, никакого романа между ними не было. Они переписывались (Авилова жила в Петербурге), а когда Чехов приезжал в Петербург, то встречались, но кроме разговоров ничего не было. Из писем Чехова абсолютно ничего почерпнуть нельзя, ведь он понимал, что пишет замужней женщине. В письмах он говорит о ее рассказах, делает критические замечания, дает советы. Свои же письма Авилова забрала после смерти Чехова у его сестры и сожгла, кроме нескольких, которые Чехов не успел положить в связку ее писем. Но все же не на пустом месте возник рассказ «О любви», где история главных героев

похожа на то, о чем пишет Авилова. Каждый волен сам решать, было это или нет.

А пророческой оказалась концовка рассказа. Главная героиня, Анна Алексеевна, уезжает в Крым и уже не вернется в город, где жила раньше – ее мужа переводят по службе в другую губернию. Алехин, от чьего имени написан рассказ, вместе с другими знакомыми идет провожать ее на вокзал и перед третьим звонком входит в купе, чтобы передать ей одну из корзинок, которую она чуть не забыла. Тут душевные силы оставили их, и Алехин обнял и стал целовать Анну Алексеевну. «...я признался ей в своей любви, и со жгучей болью в сердце я понял, как ненужно, мелко и как обманчиво было все то, что нам мешало любить». Потом Алехин пошел в соседнее пустое купе, так как поезд уже шел, сел там и плакал до следующей станции.

Читая рассказ, Авилова плакала над ним, а потом написала Чехову письмо, о котором сразу же пожалела – там были несправедливые упреки в том, что он хладнокровно описывает чувства, которых давно уже не испытывает. Она вообще была довольно обидчива. Между тем сдержанность и холодность – вещи абсолютно разные. В ответном письме Чехова не было ни обиды, ни раздражения, – он был великодушным человеком.

Чехов и Авилова, так же как и герои рассказа, встретились в последний раз на вокзале. Произошло это 1 мая 1899 года. Она была в Москве проездом, и Чехов, зная об этом, приглашал ее приехать к нему пить кофе. Но она была с детьми и гувернанткой, их надо было кормить завтраком, и она не приехала. Их поезд уходил через два часа. Вскоре на вокзал приехал Антон Павлович. Времени до отхода поезда оставалось немного. Антон Павлович легко нашел общий язык с детьми, посадил к себе на колени маленькую дочку Авиловой Ниночку, и она, к удивлению матери, нисколько не дичилась. Чехов стал приглашать Авилову посмотреть вместе с ним «Чайку», которую Художественный театр должен был показывать вечером для него одного – театральный сезон уже кончился. Но Лидия Алексеевна не согласилась – ведь тогда надо было бы везти детей и гувернантку в гостиницу, давать телеграмму о задержке. Чехов помог внести в вагон саквояж, Лидия Алексеевна вышла потом за ним в коридор, он быстро пожал ее руку и вышел. Больше они не встречались. Авилова написала ему, но ответа не получила, так же как и на второе и на третье письмо. В последнем письме она уже не могла скрыть ни своей любви, ни своей тоски. А не ответил Чехов скорее всего потому, что началось его знакомство с Ольгой Книппер, которое окончилось женитьбой. Потом было еще несколько писем их друг другу, но это была уже чисто деловая переписка, связанная с их литературной деятельностью.

Я долго размышляла, стоит ли включать в этот ряд «Даму с собачкой», и все же решила, что стоит. Рассказ появился в печати в декабре 1899 года и вызвал много восторженных откликов. Рассказ настолько известен, что нет необходимости напоминать его сюжет. Летом этого года Чехов близко познакомился с Ольгой Книппер. Они договорились встретиться в Новороссийске (Ольга Леонардовна перед этим гостила у брата на Кавказе), приехали вместе в Ялту. Книппер жила у своих знакомых Срединых, а Чехов – в гостинице «Марино». Они часто встречались, гуляли по набережной, он показывал свой тогда еще только строившийся дом. В августе они вместе уехали в Москву. До Бахчисарая ехали на лошадях, а в Бахчисарае сели на поезд.

Герой рассказа Гуров встречает женщину, которая становится настоящей его любовью, когда ему уже почти 40 лет. «Время шло, он знакомился, сходился, расставался, но ни разу не любил, было все что угодно, но только не любовь. И только теперь, когда у него голова стала седой, он полюбил, как следует, по-настоящему – первый раз в жизни».

Чехов в таком же возрасте, ему 39 лет. Вернувшись из Москвы в сентябре 1899 года, он пишет: «Милая, необыкновенная актриса, замечательная женщина, если бы Вы знали, как обрадовало меня Ваше письмо. ...Я привык к Вам и теперь скучаю и никак не могу помириться с мыслью, что не увижу Вас до весны...» Если это не любовь, то по крайней мере влюбленность.

Герои «Дамы с собачкой» не свободны, у обоих семьи. У Чехова и Книппер такого препятствия нет, зато есть другое – Антон Павлович из-за болезни должен жить в Ялте, Ольга Леонардовна – в Москве, она первая актриса Художественного театра, и Чехов не хочет лишать ее любимого дела. Еще в 25 лет он написал в письме брату Александру: «Лучше быть жертвой, чем палачом». И хоть они достаточно времени проводили вместе, все же и тот и другой тосковали в разлуке, но им хотя бы не надо было скрываться, как Гурову и Анне Сергеевне. А женой Ольга Леонардовна была хорошей – доброй и заботливой, к тому же умницей и очень обаятельной женщиной. К сожалению, сейчас делаются попытки исказить их отношения, оклеветать Ольгу Леонардовну. Ведь современным просвещенным мещанам непременно все надо опошлить, им просто трудно представить, каков был уровень воспитанности, интеллигентности и благородства этих людей. Осталась обширная переписка Чехова и Книппер, за редкими исключениями они писали друг другу каждый день. Каждое их письмо – это магическое окошко в неповторимый мир, где все еще цветет вишневый сад и стоят у калитки три сестры, слушая музыку, под которую полк покидает их город. «Музыка играет так весело, так радостно, и, кажется, еще немного, и мы узнаем, зачем живем, зачем страдаем… Если бы знать, если бы знать!»

Навстречу 800-летию Нижнего Новгорода: эпохи, судьбы, факты

Николай БЕНЕДИКТОВ

Российский политический деятель, писатель, философ. Родился в 1949 году в Горьком. Окончил историко-филологический факультет Горьковского государственного университета. Доктор философских наук, профессор. Избирался депутатом Государственной думы третьего и четвёртого созывов.

Автор ряда книг, в том числе «Русские святыни» (Москва, 2003) – о системе ценностей русского народа. Член Союза писателей России. Живет в Нижнем Новгороде.

«ПО ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ…»

(Нижегородская губерния в 1914 – начале 1918 гг.)

Слова, вынесенные в заголовок, – это название двухтомного сборника документов, опубликованных комитетом по делам архивов Нижегородской области в 2018 году. Составители и редакционная коллегия во главе с Б.М. Пудаловым проделали огромную работу, и их труд, безусловно, заслуживает нашей благодарности. Хронологические рамки сборника охватывают интервал с 1 января 1913 до 18 июля 1918 года. Большая часть документов печатается впервые. На мой взгляд, выход подобного сборника является серьезным событием в нашей жизни и, безусловно, информацией к размышлению.

Жизнь наших предков есть иносказательно наша, собственно, жизнь как народа, только в другое время и в других условиях, это те же «мы» в других обстоятельствах. Пытаясь узнать их лучше, мы познаем сами себя. И тогда период, обозначенный в названии сборника, принципиально важен, поскольку он рисует нашу – как народа – жизнь и наш выбор в исключительно судьбоносное время. Время это определило путь нашего народа в прошлом веке и продолжает определять сейчас.

Публикация имеет и не только местное, но и общероссийское значение. Ведь правление династии Романовых началось в 1613-м, и неоспоримо важнейшую роль в восстановлении государства и приходе династии к власти сыграло Нижегородское ополчение. Неслучайно празднование 300-летия дома Романовых после столицы продолжалось

в Нижнем Новгороде. Роль наших земляков в Смутное время и в Великую Отечественную войну 1941–1945 гг. была гигантской. Можно сказать так: своего рода проверочным показателем прочности государства и режима являлась Нижегородская земля. Если все прочно и хорошо в Нижнем Новгороде, то можно надеяться на прочность и благополучие во всей России! Очень правильно сделали редакционная комиссия громадного двухтомного сборника, расширив хронологические рамки переломного военно-революционного времени и на 1913 год. Это оправданно и весьма показательно для всей России. К тому же самосознание и народных масс в то время быстро росло, как и их активность. Понятными и близкими выглядят документы с требованиями рабочих забастовщиков, потому, что в них были не только экономические претензии, но и сугубо человеческие: «вежливое отношение мастеров с рабочими», «вежливое обращение администрации с рабочими».

Удивительно, что пока нет реакции историков на эту интереснейшую серьезную работу. Ведь сегодня общественное сознание практически порвано в клочья, различные социальные слои воспринимают кардинальные повороты нашей истории по-разному. Появилось множество наших земляков, декларирующих православные и монархические начала, но в то же время существует масса людей, настроенных однозначно на демократические ценности и западные образцы, сохраняется и мощная ностальгия по советскому времени и коммунистическим идеалам. Разрушение советской системы образования привело к незнанию собственной истории, к тому же искажаемой безответственными средствами массовой информации. В подобной ситуации исключительно важно разобраться с ключевыми поворотами истории. Рецензируемый сборник архивных документов дает нам великолепную возможность сделать это с опорой на факты реальной жизни наших предков.

Боль и сожаления об ушедшей эпохе живы и в наше время. Многие сюжеты современности вынуждают сразу же видеть аналогии в прошлом.

Вот говорят: кому война, а кому мать родна. В сборнике приводятся примеры капиталистического обогащения на военных поставках и на трудностях военной поры. В свое время писал о подобном наш земляк профессор А.В. Седов: «Олицетворением буржуазного хищничества на военных поставках и нуждах военного времени в Нижнем Новгороде явилась деятельность самого городского головы», «беззастенчиво используя свое высокое служебное положение, Сироткин через ВПК прибрал к рукам наиболее выгодные военные заказы. Только на поставках в армию сапог и подков он нажил несколько миллионов рублей… Задешево фрахтовал транспорт для перевозки хлеба, а разницу в цене клал в карман». Сироткин был председателем Нижегородского биржевого комитета Всероссийского союза городов, председателем Нижегородского областного и биржевого военно-промышленных комитетов, уполномоченным Министерства продовольствия по закупке хлеба для армии в районе Средней Волги.

В сборнике публикуется подборка документов, далеко не всех, о махинациях этого «даровитого предпринимателя», дабы напомнить «забытые» факты его деятельности, коробящие потомков-земляков и ставящие под сомнение правомерность установления в Нижнем Новгороде памятника «герою», бежавшему за границу с разоренной им же родины». Сегодня некоторые ученики А.В. Седова (в частности, Ф.А. Селезнев) пишут хвалебные статьи о Сироткине. Предполагаю,

что по их логике «вор» (по-советски) есть лишь «успешный» деятель (по-современному). Вот свидетельство человека, которого никак нельзя обвинить в «советских» оценках. В донесении начальника губернского жандармского управления И.П. Мазурина директору Департамента полиции Р.Г. Моллову от 9 октября 1915 году говорится:

«Городской голова Сироткин до образования городского союза, в который он вошел в качестве члена, ничем не обращал на себя внимание, слыл лишь хорошим и ловким дельцом, не забывающим свое личное "я" и составившим из ничего довольно солидное состояние. К моменту возникновения войны он был неограниченным распорядителем в городском самоуправлении, но городскими делами занимался лишь в исключительных случаях, когда это ему создавало рекламу, часто отсутствуя по своим делам, так в 1914 г. не жил в Нижнем 240 дней. С момента вступления членом городского союза он, как старовер, благодаря поддержке Рябушинского, занял там видное положение и, пользуясь периодической печатью, стал усиленно рекламировать себя и вместе с тем приобретать все большее и большее влияние.

Как делец, искусно пользуясь текущим моментом, захватил и стал распоряжаться неограниченно всеми денежными средствами казны, отпускаемыми на нужды союза по Нижегородской губернии, причем более преследовал личные цели, чем названного союза. При самом начале войны, желая обеспечить близких и нужных ему лиц от призыва, Сироткин стал устраивать их на должности по судоходству, причем занес в списки служащих по судоходству даже сторожей конторы общества "Волга", где он являлся хозяином предприятия, и на созданную им в то время должность городского общества "Волга" провел своего бухгалтера, который, не неся полицейских обязанностей, лишь получал кроме жалования по своей прямой должности еще жалование городового…»

Документ обширный, а о махинациях Сироткина и не единственный. Ведь далее в весьма объемном жандармском донесении идет речь о махинациях с овсом, сапогами, кожей, перевозками хлеба, продажей земли под военные заводы и т.д., и т.п. И таких документов масса! Вот, например, сообщение губернатора В.М. Борзенко министру торговли и промышленности В.И. Шаховскому о признании городской думы в том, что «никаких решительно оснований для повышения таксы (на зерно. – *Н.Б.*), тщательно проверенной и обдуманной, не имеется», однако «по настоянию городского головы Сироткина, который как заинтересованный почти во всех местных предприятиях делец явно сочувствует всякому повышению цен», такса (цена) на муку была повышена.

Печальным недоразумением выглядит постановка памятника Сироткину на Верхневолжской набережной. Об этом весьма серьезно как о достижении говорил в 2012 году тогдашний глава городской администрации О. Кондрашов, выделив на это «достижение» 1,35 миллиона рублей из городского бюджета. Теперь и О. Кондрашов находится в розыске как подобный Сироткину «успешный» предприниматель! Стоит напомнить, что подобные памятники есть, видимо, показатель современного отношения к подобным «успешностям», которые во все времена назывались воровством. Так, поставили на площади Лядова памятник старшему товарищу Сироткина «успешному» предпринимателю Н.А. Бугрову (он хоть и старовер, но и весьма аморальный тип). Умер Н.А. Бугров до войны, известен был и своей благотворительностью. К слову сказать, памятная доска установлена городской

администрацией и еще одному сомнительному деятелю из другой эпохи – князю Г. Грузинскому.

Обратим внимание на такую сторону дела. Двинувшись от государственного атеизма к религиозности, как всегда, перешагнули рамки. Так, памятная доска князю Грузинскому появилась лишь потому, что он показательно рекламировал себя православным. Неофиты (нередко вчерашние партийные работники) закричали «Ура князю Грузинскому!» – он, мол, и православный, и князь, значит, надо ставить памятник. Но ведь он еще и жулик, и хам, а в своей церкви в Лыскове требовал вести богослужение на грузинском, то есть на непонятном местному населению языке (где уж тут память о святых Кирилле и Мефодии, считавших, что служить Богу каждый народ обязан на своем и понятном языке, а русским – на русском!), бил морды и рвал бороды! А это по-современному вроде бы как и не считается, поэтому поставьте памятник за государственный счет. И ведь поставили! Похожая ситуация с Бугровым. Прочитать хотя бы Горького о Бугрове: «успешный» (вор) предприниматель и аморальный тип. Ну и что? Не ограничились даже памятной доской – поставили памятник! И вот – Сироткин. «Успешный» (вор) предприниматель, из народа, да еще старообрядец. И ему – памятник…

Очень хочется вечной ясности: вор есть вор! Старообрядец и православный – вовсе не гарантия от воровства, от аморальности, лицемерия.

И то же самое о монархизме. Сироткин на юбилейных торжествах 1913 года восторженно говорил о династии Романовых, о народной и его личной преданности монархии, а после февральской революции говорил о вековых мечтах русского народа освободиться от монархии, о счастье свободы без романовского режима. Так кто он? Монархист? Республиканец? Мне кажется, он аферист и жулик. По плодам их узнаете их, сказано в Писании. А плоды мы видим из опубликованных документов.

Писал эту статью, а по телевидению шел сюжет о вынесении приговора бывшему главе города и «успешному» предпринимателю О. Сорокину. Человек «из народа», как и Д. Сироткин. Вспоминается в связи с этим размышление героя романа «Унесенные ветром» М. Митчелл, капитана Ретта Батлера, о том, что в начале большого состояния всегда стоит вор, разбойник, пират, а потом уже много лет спустя его потомки становятся джентльменами. У покровителя Д. Сироткина Рябушинского дети стали джентльменами, учеными, исследователями. У человека из народа Демидова появились потомки князья Сан-Донато. Весьма расхожая интернациональная история, однако и происхождение из народа не дает гарантии от преступлений, воровства, взяток. Сколько нужно было талантов из народа тому же Д. Сироткину уморить с голоду, чтобы когда-то в его роду появились воспитанные люди («джентльмены»)? Да и так ли точно появятся они – чистые «сироткинские потомки»? Не уверен.

И, к слову, о памятниках. В.И. Даль, П.И. Мельников-Печерский, В.Г. Короленко, композитор Б.А. Мокроусов, гениальный математик Н.И. Лобачевский до сих не запечатлены в Нижнем Новгороде в полноценной скульптуре, довольствуются мемориальными досками. Список, конечно же, неполный… Однако и он делает, мягко выражаясь, нелогичной постановку памятников сомнительным личностям.

Вернемся к прошлому. Выше речь шла в основном о городской власти. Другая, вышестоящая, губернаторская власть, в Нижегородской губернии была явно слаба: губернаторы сами были инертны, а люди

к ним безразличны (указ. соч., т. 1, с.12). Полномочия губернаторов весьма серьезно были увеличены из-за войны, но они явно не справлялись с обязанностями. Настроение населения в первые дни войны было тревожно-настороженное или обреченно-терпеливое, но никак не патриотически-приподнятое. Да, мобилизованные бодрятся, один-два слегка выпимши, поют песни, но вся масса родных громко и горько рыдает (док. 44). Из донесения начальника жандармского управления И.П. Мазурина следует, что «в общем мобилизация прошла спокойно», хотя ровно половину донесения занимает описание погромов и грабежей казенных винных лавок в Васильском (Василь-на-Суре, нынешний Васильсурск. – *Н. Б.*), Макарьевском, Семеновском и Варнавинском уездах (последний входил тогда в состав Костромской губернии) новобранцами (док. 53).

Уже в августе 1914 года в Нижний Новгород стали приходить поезда с ранеными. Первый поезд был торжественно встречен, а затем к поездам не подавали даже гужевой транспорт, не подносили ни хлеба, ни папирос. Вопрос о единой системе помощи раненым оставался открытым на протяжении всей войны (док. 65, 73). Реальные возможности губернии были превышены уже в первые месяцы войны, а согласно циркуляру министра внутренних дел Н.А. Маклакова на государстве оставались лишь заботы об армии и семьях мобилизованных, а все остальное (отопление, освещение, социальная и медицинская помощь и т. п.) должно было удовлетворяться за счет общественных и частных пожертвований. Нижегородская губерния – производящая, а не продовольственно-сельскохозяйственная, поэтому в ней стала быстро нарастать проблема питания и помощи раненым, беженцам, страдающему населению и т. п. Естественно, началась спекуляция воинским обмундированием (в числе присланного домой мобилизованными на действительную военную службу нижегородцами были брезентовые палатки, солдатские шинели, подштанники, рубашки, полотенца, сухарные мешки, сукно, седла, уздечки, стремена, вожжи и т. п., о чем свидетельствовали описи, составлявшиеся уездными исправниками). В то же время нередки были и добровольные акции населения по помощи фронту самым необходимым (теплые вещи, белье, посылки с подарками, колбасой, хлебом, чаем, табаком, мылом, писчей бумагой, конвертами, карандашами и т. п.).

В начальный период войны беда сплотила людей, революционные настроения заметно ослабли. Однако осмысление происходящего быстро приводило к критическому отношению к войне. Уездные исправники и жандармские чины в донесениях и рапортах стали фиксировать возрастающее недовольство народа: так, крестьянин Ф.П. Ширыпаев своими выступлениями сорвал выделение сельским сходом села Бакшеево денежных сумм на нужды семейств призванных, заявляя, что «война нам не нужна, а воевать мы не заставляли», а крестьянин села Быковка В.С. Сухов был арестован жандармами за речи о том, что «царь лезет в карман за наживой, из-за которой он и ведет войну, и что совсем бы воевать не надо». А уже в феврале 1916 года произошел показательный случай. Семейная ссора в селе Малая Пуза Лукояновского уезда закончилась сожжением в печи портрета Николая II из-за нежелания рядового Я. С. Шашина возвращаться из отпуска и «служить такому болвану».

В Нижний Новгород было эвакуировано к 27 октября 1915 года 26 промышленных предприятий, государственных учреждений, банков

и учебных заведений. Прибыли рижские заводы «Фельзер», «Новая Этна», «Молот», фабрика акционерного общества Отто Эрбе, военно-амуничная и сапожная фабрика из г. Вильно и др. Уже в 1915 году стало не хватать продовольствия: «почти полное отсутствие запасов пшена, крайняя недостаточность запасов соли». Однако правления товариществ Д.В. Сироткина, М.Е. Башкирова, Я.Е. Башкирова, Н.А. Бугрова продолжали вывозить муку до 100 тысяч пудов в сутки, вывезли за три недели 1,5 млн пудов и оставили в городе около 500 тыс. пудов, чего едва могло хватить населению. Указанные «предприниматели» требовали резко повысить таксу цен на муку и не исключали вывоз остальной муки (док. 204). В результате этих склок губернатор В.М. Борзенко под предлогом болезни покинул Нижний Новгород, а вместо него появился губернатор А.Ф. Гирс. Уже к 1 июля в губернии «нужды было хоть отбавляй» и требовались дополнительные средства.

Еще один интересный момент выявляют документы того времени. На территории губернии появились чужаки, и в большом количестве. Это и беженцы из западных губерний, эвакуированные раненые и военнопленные. Все они требовали дополнительных затрат, резко обостряли продовольственный вопрос, создавали много неудобств местным жителям. На решение всех этих проблем выделялись и государственные деньги, проводились сборы в помощь. И вначале люди охотно откликались на просьбы помочь. Больные кожными, легочными, желудочными болезнями, завшивленные и в лохмотьях беженцы в количестве более 60 тысяч человек появились в губернии, в которой не было денег на их содержание. А в уже возвращенные в 1916 году западные губернии их запретили отпускать по распоряжению штаба Верховного главнокомандующего. «Гостям» «польской, еврейской, литовской национальностей, кроме государства, оказывали помощь национальные комитеты помощи беженцам». В результате русские переселенцы оказывались в худшем положении. В результате, конечно, появились грубые формы ксенофобии, антисемитизма. Негатив по отношению к представителям немецкой нации, лицам, носящим иностранные имена и фамилии, последовательно нагнетался властями губернии (док. 99, 102).

К концу 1915 года в губернии было уже 1,5 тысячи военнопленных. И в документах рисуется довольно противоречивая картина. Так, отношение местного воинского начальника к чужим солдатам и офицерам более радушное, чем к своим: «местным воинским начальником военнопленные резко выделяются от наших русских воинов как в обращении, так и в пищевом довольстве… С военнопленными всегда обращение вежливое и даже заискивающее, с русскими же сугубо строгое; приварок и хлеб военнопленным отпускается лучшего качества и мяса больше. Вообще военнопленные устраиваются здесь лучше наших русских воинов» (док. 231). Это отношение к иностранцам есть какая-то особенность русских, и эта особенность не до конца объясненная.

Прибывали и раненые. Всего к сентябрю 1915 года в губернском центре были оборудованы лазареты на 10 тысяч мест. Всего в 100-тысячный город прибыло 25 тысяч фронтовиков, которых толком нечем было лечить. Были эвакуированы в Нижний Брест-Литовский крепостной и Варшавский сводный госпитали, Осовецкий крепостной лазарет и другие крупные военно-медицинские пункты с имуществом и более чем двухтысячным персоналом, занявшие несколько городских помещений. Заметим здесь, что Осовец и его крепость стали знамениты своей фантастической обороной и удивительной «атакой мертвецов»,

составившими, может быть, самые героические страницы Первой мировой войны. Возможно, стоит в архивах поискать каких-либо свидетельств именно из этого лазарета. Ведь Осовец не был взят немцами, был оставлен по приказу, а значит, герои обороны Осовца могли попасть в Нижний Новгород, оставить какие-то следы или воспоминания.

А далее начался 1916 год, год высшего военного, производственного напряжения, год военных успехов и усталости страны. А в Нижнем началась борьба за приватизацию Выксунских горных заводов группой «успешных» предпринимателей во главе с Д.В. Сироткиным. Общественность заметила это и оценила как очередной акт «успешного» грабежа общества. Подобные попытки перепрофилирования или перехода заводов и производств из рук в руки нередко приводила к реальному падению производства.

Усугубился продовольственный вопрос. Уполномоченным Министерства земледелия по заготовке ржи, овса и гречневой крупы для армии и населения в районе Средней Волги был назначен Д.В. Сироткин. Результат был ожидаемым: «в губернии может наступить голод со всеми вытекающими из него серьезными и тяжелыми последствиями», – писал председатель Нижегородской земской управы П.А. Демидов 7 ноября 1916 года министру земледелия А.А. Бобринскому. Рост цен на крупу, муку, масло составил более 100% за 1916 год, а паек семьям военнослужащих практически не рос. «Особенно страдают дети, лишенные двух главных продуктов питания – молока и сахара» (док. 336). Устрашающие приказы против спекуляции и угрозы штрафами и арестами не помогали, почему в конце октября 1916 власти ввели в губернии карточную систему. По губернии прокатились «сахарные погромы» – в Канавине, Гордеевке, на Бору, в Балахнинском, Семеновском, Княгининском, Лукояновском уездах. Для справки: если в стране в 1915 году было зафиксировано только 9 народных протестов против спекуляции и дороговизны, то в 1916-м уже 203…

А в 1917-м цены выросли в 3–5 раз. Перед уже начавшей голодать губернией все яснее вставала жуткая перспектива. 15 сентября 1917 года губернским комиссаром М.И. Сумгиным в Министерство внутренних дел была направлена телеграмма о том, что «в губернии наступает продовольственный голод». Крах наступал по всем позициям. Сама схема управления все больше демонстрировала свою негодность. На состоявшемся в Севастополе в мае 1916 года специальном совещании губернаторов было сделано заключение: «По общему отзыву присутствующих работа местных военно-промышленных комитетов не дала никаких результатов. Закрытие их не отразилось бы ни на деле, ни на настроении рабочих, но породило бы протест в среде так называемой интеллигенции. Ввиду этого к закрытию их прибегать не следует, но надлежало бы в состав комитетов ввести представителей государственного контроля и фабричной инспекции, так как правильность расходования кредитов вызывает большие сомнения». «Большие сомнения» вызывает и деятельность Нижегородского областного военно-промышленного комитета. К началу 1918 года стали очевидны ее итоги, свидетельствующие о его реальном вкладе в обороноспособность страны в 1914–1917 гг. Согласно ведомости заказов, принятых техническим отделом комитета с момента его основания по 1 января 1918 года, из всего ассортимента продукции для армии «оружие войны» (бомбометы, снаряды, гранаты и т. п.) занимало только 6 позиций из 70 наряду с ручными ножницами, двуколками, подковами, лопатами, бидонами, чайниками, пуговицами

и т. п. (док. 542). Причем имели место недовыполнение и аннулирование ряда заказов. Хозяева тогдашней жизни набили свои карманы, а выполнить обещанное не смогли.

Нижегородская губерния была и в этом качестве показательной для России. Страна не прошла полностью индустриализацию, руководилась начальством, не думавшим о тыле и производстве до войны, и предпринимателями, «успешно» наживающимися во время войны. Россия быстро катилась к катастрофе. Свержение царизма вызвало недолгий всплеск радости и ожиданий, были разрушены последние опоры порядка, режима и власти, и наступили жуткие времена. В сборнике приводятся записи из дневника жены архитектора нижегородской ярмарочной конторы М.В. Мичуриной:

«*Июнь1917 г.*

А у нас делается что-то ужасное. Войну мы проигрываем. Солдаты с фронта бегут. Немец двигается почти беспрепятственно. В Нижнем делается что-то ужасное. Солдаты не хотят идти на войну. Все улицы полны солдат. Растерзанные, грязные, без поясов, с бабами, шляются всюду. Ходят с бабами по домам под предлогом обыска муки, воруют все, что надо, швыряются в сундуках, комодах. И ничего нельзя сделать. Милиция бессильна. Это ужас какой-то. Провизии нет, мясо – 1 р. 30 коп., картофель – 7 р. мера… Сахара нет, чая нет. Белый хлеб уже не продают, а дают по 2 ф. муки в месяц на челов.

<…>

Октябрь 1917 г.

Со дня на день ждут погромов. Говорят, будут бить жидов, буржуев, интеллигенцию, громить разные продовольственные комитеты, управы, бить, громить… Только и слышим. К этому уже привыкли, говорят хладнокровно, называют сроки – теперь срок воскресенье – жидовский погром, а то, говорят, 20-го будут ходить по домам и резать интеллигенцию. Газеты полны описаний ужасов, всюду бьют, режут, грабят. Защиты нет, нет ни полиции, ни войска, никакого начальства. Каждую ночь грабежи. В 8 ч. на улицу страшно выходить – раздевают, разувают. Как темнеет – пустеют улицы, город точно умирает, ни прохожих, ни проезжих.

Муки нет. Продают на пристанях потихоньку ржаную муку 40 р. пуд. Говорят, в городе муки на неделю, а там голод и все ужасы.

Вся надежда на Царицу Небесную. Пресвятая Богородица, сохрани Котика (сын автора дневника. – *Н. Б.*).» (док. 541).

Вот положение в губернии в период Октябрьской революции. В Нижнем достаточно долго существовало двоевластие, которое окончательно кончилось в декабре 1918 года...

Разумеется, в одной публикации невозможно охватить весь объем информации, представленной в большом массиве опубликованных документов, многое еще нуждается в осмыслении. Тем более нельзя не отметить огромную работу составителей и авторов сборника по сбору, систематизации, описанию и комментированию документов. Для серьезных исследователей и вдумчивых читателей они не просто свидетельства давно минувшей эпохи. Они помогают лучше понять настоящее и рисуют многие черты будущего.

Людмила КАЛИНИНА

Родилась в поселке Керженец Горьковской области. Окончила историко-филологический факультет Горьковского госуниверситета, Высшие литературные курсы и аспирантуру в Литературном институте. Работает главным редактором газеты «Нижегородский университет».

Автор пяти сборников стихов и книги очерков «До слез любя страну родную…» (Аввакум, Н. Клюев, С. Клычков, Ф. Сухов, А. Люкин, Б. Корнилов).

Член Союза писателей России. Живет в Нижнем Новгороде.

«ВСЕ МОИ ПРИЯТЕЛИ»

Страницы из жизни поэта Бориса Корнилова (1907–1938)

Несет река Керженец сквозь темные леса свои воды, напитанные вековыми торфяниками, матушке Волге. Течет, меняется жизнь, а Керженец все так же поет омутами, огибает валежины, дарит людям прохладу. Так и стихи Б. Корнилова живут, несмотря на бурные перемены и крутые повороты жизни.

На одной из центральных улиц районного городка Семенова в массивном краснокирпичном усадебном доме купца-старообрядца П.П. Шарыгина ныне размещается районный историко-художественный музей. В 20-е годы прошлого века здесь был коммунистический клуб. Собиралась молодежь, ставились спектакли, выпускалась газета «Комса» и сатирический журнал «Ложкой по лбу», где и увидели свет первые стихи Бориса Корнилова Ему было восемнадцать, когда публикации его юношеских стихов под псевдонимом Борис Вербин стали появляться в губернской газете «Молодая рать». Нижегородские литераторы узнали и запомнили это имя.

Как рассказывала мне младшая сестра Б. Корнилова Александра Петровна Козлова (Корнилова), спектакли в стихах вместе с доморощенными артистами переместились в районный клуб из их дома. Автором и заводилой всегда был Борис, энергия его била ключом, вокруг него собиралась уличная ребятня. В доме по вечерам устраивались семейные чтения вслух, детям на дни рождения дарили книги. Борис, казалось, успевал везде – он хорошо учился, много читал, сочинял поздравительные куплеты, сценарии праздников.

В музейной экспозиции жилой комнаты семьи учителей Корниловых – этажерка с книгами, на столе шахматная доска с самодельными фигурками (любимая игра отца и сына), ягодный туесок, семейные

фотографии, открытки, письма – все завещано и передано в дар музею матерью поэта Таисией Михайловной Корниловой (1884–1979 гг.).

Вот на фотографии Борису пять лет, в руке книга – подарок отца на день рождения. Вот праздничная открытка, старательно написанная восьмилетним Борей Корниловым: «Евгению Ивановичу Самосскому, 1915 год: Дорогой кока! Поздравляю с Днем Вашего ангела. Бабу Лизу с дорогимъ именинником и желаю быть Вамъ здоровым. Боря». Здесь, в заволжском крае, до сих пор в народе крестного отца и крестную мать называют так – «кока». Борис окрещен на второй день после рождения в Вознесенском соборе г. Семенова 17 июля по старому стилю.

Кто же он, этот именинник, выбранный родителями крестным отцом своего первенца? Евгений Иванович Самосский – первый уездный врач в Семенове, уважаемый в округе человек, горячо почитаемый Корниловыми. Е.И. Самосский был ангелом-хранителем семьи Корниловых, к нему обращались за поддержкой, за житейским советом, врачебной помощью. Свет высокой духовности, щедрости этой личности вольно или невольно распространялся на окружающих, конечно, и на детей Корниловых. О детстве будущего поэта мы узнаем из записей Таисии Михайловны.

В музее хранятся написанные ровным учительским почерком две школьные тетради в линеечку: «Воспоминания Корниловой Т.М.», мать поэта написала их по просьбе музея в последние годы жизни. Таисия Михайловна рассказывает о семейных нуждах, с какими трудностями они, сельские учителя, строили дом в Семенове, много о муже, детях, о Борисе, меньше всего о себе. Она как бы рассуждает, что ничего особенного нет в ее биографии: родилась в семье служащих мануфактурного магазина в Семенове, учительскую профессию получила здесь же, в родном городке, была направлена на работу в начальную школу села Покровское Семеновского уезда. Неподалеку, в селе Безводном, учительствовал, тоже в начальной школе, Петр Тарасович. «В 1906 году поженились, в 1907, 16 июля по старому стилю, 29 по новому родился Борис. Елизавета – в 1909, Александра – в 1910».

Петр Тарасович Корнилов (1884–1938 гг.), как видим в записях, один из пяти сыновей сельского батрака, своим трудом пробивал он жизненную дорогу. Успешно учился в церковно-приходской школе в селе Перелаз Семеновского уезда. Старательного восьмилетнего мальчика приметил уездный врач Евгений Иванович Самосский и взял в семью. Он платил за учебу своего воспитанника в Семеновском городском училище и на двухгодичных курсах учителей начальной школы в Нижнем Новгороде, которые Петр Тарасович окончил в 1903 году Петр Тарасович относился к своему покровителю почтительно, как к родному отцу, это почтительное отношение передалось его детям.

В селе Покровском семья молодых учителей жила при школе (не уцелела во время пожара), здесь первые полтора года жизни провел их первенец Борис. Село стоит на берегу реки Керженец, из-под крутого берега подает голос родник, не замерзающий и в лютые морозы. Поет, не умолкая. Бережно относятся к своему роднику сельчане, смотрю, подновили сруб, мостки, вокруг чистота. А на скамейке – берестяной рожок, чтоб воды зачерпнуть, утолить жажду, набраться сил.

Дважды дотла выгорало Покровское, это участь многих окрестных лесных деревень, проходит год, два, и эти села отстраиваются на том же месте. Испокон веку живут здесь старообрядцы, а они, как известно, не меняли родные места, не предавали свою веру. Здесь «гуляют и лось

и лиса // И на каждой лесной версте, // У любого кержачьего скита // Русь, распятая на кресте, // На старинном, на медном прибита. // Девки черные молятся здесь, // Старики умирают за делом // И не любят, что тракторы есть – // Жеребцы с металлическим телом», «На Керженце». Так в ранних стихах воспел свою Родину Б. Корнилов, и в годы, овеянные беспощадной революционной романтикой, исторической забывчивостью, отрицанием бытового уклада народной жизни, он в поэзии возвращается и возвращается в свой край, домой.

Как личность, как поэт он вырос здесь, в керженском краю, где столетьями в раскольничьих скитах жил аввакумовский стоицизм, формировался свободолюбивый «кержацкий» характер. Сюда, к Светлояр-озеру, поглотившему Китеж-град – красоту и тайну Руси, шли за разгадкой этой тайны просвещенные люди.

Его ранние стихи и первые стихи ленинградского периода признаны классикой: «Ольха», «Лошадь», «Айда, голубарь, пошевеливай, трогай…», «На Керженце», «Начало зимы», «Чаепитие», «Дед» и другие, написанные в возрасте от 18 до 27 лет, свидетельствуют о том, что в творчестве он шел самостоятельно, независимо от чужих влияний и мнений. Б. Корнилов жил и учился в Ленинграде в годы суровой революционной ломки. Он останавливал себя («Замолчи, нам про это не петь», «На Керженце»), переходил на современные темы и снова, снова возвращался к истокам.

В пять лет Борис научился читать. В начальной школе с. Дьяково, куда переехала семья из Покровского, он учился в классе отца, и учился охотно. Из «Воспоминаний» Т.М. Корниловой: «К 1925 году у него имелась тетрадь со стихами. В детстве любил природу, реку, рыбную ловлю. Часто с товарищами уходил на рыбалку на реку Санохту, что в полутора километрах от Семенова, а то и на Керженец, за 8 километров. Книга всегда была его спутником. У нас в хозяйстве имелась лошадь, за которой ухаживал Борис, уводил ее в ночное и приводил утром домой. Любил торжественно приехать верхом, а то и вскачь, чтоб я из окна видела». Вспоминаются ранние стихи Б. Корнилова, которые своей теплотой покорили ленинградских поэтов: «Дни-мальчишки, // Вы ушли, хорошие, // Мне оставили одни слова, // И во сне я рыженькую лошадь // В губы мягкие расцеловал…»

«Муж вернулся с войны в 1920 году после тифа. Был очень слаб, стройка дома не двигалась. В Дьякове у нас была своя полоска земли, которую засеяли рожью. Всей семьей работали не покладая рук, дети трудились не отставая. Урожай получили хороший и стройка сдвинулась».

Из Дьякова семья переехала в уездный городок Семенов. Сначала жили на съемной квартире на улице Сластюнинской. Неподалеку на Верхнебазарной площади приземистое кирпичное здание школы, сейчас около входной двери мемориальная доска: «Здесь с 1918 по 1924 год учился поэт Борис Петрович Корнилов». Рядом – памятник поэту из красного гранита (скульптор А.А. Бичуков), где всегда 29 июля, в день рождения Б. Корнилова, лежат цветы.

Судьба даровала матери поэта долгую жизнь, Таисия Михайловна Корнилова прожила 96 лет, словно вобрав жизни дорогих людей – мужа, сына, рано умершей дочери Елизаветы. Так и не узнала всей правды о гибели своих родных. В марте 1937 года арестован Борис, долгие годы ни слуху ни духу. Вскоре забрали Петра Тарасовича и еще нескольких семеновских учителей, потом сообщили, что муж умер 10 июня 1939 года

в тюремной больнице. Тогда же в Ленинграде были арестованы младшая сестра Таисии Михайловны Клавдия Михайловна и зять, это у них некоторое время жил Борис.

Ждала мать, хранила всякую дорогую сердцу вещицу, связанную с сыном. По-семеновски круто окая, желающим слушать наизусть читала стихи, где сын обращался к ней: «Ну, одену я одежу – // Новую, парадную, // Ну, приеду... Что скажу, // Чем тебя порадую?» Жизнь матери и жены репрессированных складывалась непросто. В доме она осталась одна, младшая дочь учительствовала в селе. Было время, с ней, матерью поэта, не здоровались земляки, проходили мимо, не поднимая глаз. Что уж говорить о том, что никогда не вспоминали о сыне, не отмечали ее никакими поощрениями за долгий учительский труд…

Здесь, в районном историко-художественном музее, в 1920-е годы был не только клуб, еще уездный райком комсомола (уком), кипела комсомольская жизнь. Я представила, как юноша Борис Корнилов, работавший в укоме, ходил по этим комнатам, смотрел в эти окна, проводил пионерские слеты. Вот на музейных фотографиях он вместе с друзьями, вдвоем с Павлом Шляпниковым, в группе с Василием Молчановым, Кузьмой Краюшкиным (стал учителем, в 1929 году убит «кулаками»), Алексеем Егоровым. В архивных списках есть документы о рейдах «особого назначения» семеновских комсомольцев, где мелькают эти фамилии, но в них, как свидетельствуют музейные работники, не значится имя Б. Корнилова, всего скорее потому, что он отвечал за другие участки работы (вожак пионерии, делопроизводитель).

Стихотворение «Открытое письмо моим приятелям» написанное Б. Корниловым в 1931 году в Ленинграде, навеяно лирическими воспоминаниями о друзьях молодости. Удивительно складно «ложится», казалось бы, протокольная тема: «Все мои приятели – // Все бюро райкома – Лешка Егоров, // Мишка Кузнецов, // Комсомольцы Сормова, – // Ребята – иже с ними. // Я такой же аховый – // парень – вырви гвоздь… // Точка. – Снова вижу вас // Глазами косыми // Через пятилетие, большое насквозь…» Поэт легко переходит к раскованной, песенной манере: «Ишь ты, поди ж ты, // что же говоришь ты…», «Ты ль меня, я ль тебя…» И делает вывод: «…мальчики что надо, // каждый знает дело, не прет на авось,– // “Молодость и дружба” – сквозная бригада // через пятилетье, большое насквозь».

Одна из музейных выставок, посвященная поэту, называлась «Все мои приятели». Первая книга Б. Корнилова – «Молодость» (1928 г.), следующая «Все мои приятели» (1931 г.). Как видим, обращение к заветам дружбы, верности идеалам молодости не оставляют поэта в первые и в последующие годы жизни в Ленинграде. Как истинный талант он явился миру сразу сформированным мастером стиха (таковыми пришли из провинции в столицу С. Есенин, Н. Клюев, С. Клычков, П. Васильев).

Семеновский уком комсомола принимает решение «об откомандировании Бориса Корнилова в государственный институт журналистики или в какую-нибудь литературную школу, так как у т. Корнилова имеются задатки литературной способности». Как пишет близко знавший поэта писатель и редактор К.И. Поздняев, в Ленинграде он сумел попасть лишь на Высшие курсы искусствознания при Институте истории искусств (да и то не сразу). Я вспоминаю, как на одном из поэтических праздников в Семенове однокурсник поэта Д.А. Левоневский (ему посвящен цикл стихов Б. Корнилова «Апшеронский полуостров»), рас-

сказывал: «Корнилов, к удивлению нас, истинных питерцев, выделялся своей начитанностью, глубиной филологических знаний и тогда уже очевидным выразительным поэтическим талантом».

Александра Петровна, сестра поэта, как-то обронила, что «его из дома увели стихи», и, наверное, это так и есть: «Из газет тогда мы узнали, что Сергей Есенин переезжает жить в Ленинград, и Борис загорелся желанием ехать туда, чтобы познакомиться с поэтом, стихами которого бредил. Мама отпустила его, скрепя сердце, и то потому только, что в Ленинграде жила ее сестра, наша тетя Клава, и жили они вдвоем с мужем, инженером одного из заводов, обеспеченно и в хороших условиях, Борис поехал к ним. Предварительный билет был куплен в середине декабря на 5 января 1926 года, Есенина он уже не увидел».

В литературном объединении «Смена» под руководством Виссариона Саянова он с первых выступлений произвел на всех неизгладимое впечатление. Уверенный в себе, с уже сложившимся поэтическим взглядом, читал первые свои стихи, в которых было нескрываемое подражание запрещенному в то время С. Есенину. На такое мало кто осмеливался. Подкупали неподдельная искренность, открытость, знание быта русской уездной жизни, темперамент. Русская поэзия ждала заполнения искусственно создаваемых пустот, и Борису Корнилову рукоплескали.

Природная одаренность брала свое, удивительно, как самые, казалось бы, заданные темы у Б. Корнилова одухотворены, мелодичны: «И вот опять секретари в райкомах // Поют переживания свои», «Кипит вода, лаская // Тяжелые суда, // Зеленая, морская…» И разговорные словечки: «ать-два», «амба», громоздкие, «неотесанные» обороты всегда к месту. Естественность чувства, словно светлый родник, пробивается сквозь искусственные напластования заданных тем. Необыкновенный, редкостный песенный дар был у поэта Б. Корнилова, умение самую, казалось бы, «сухую» тему приподнять и высветить.

Кто же были они, товарищи Б. Корнилова? Их снова в городке их молодости Семенове вместе собрала музейная выставка «Все мои приятели».

Первым председателем семеновской уездной комсомолии был Евгений Иванович Жидилов (1899–1977 гг.). Это был старший товарищ Бориса Корнилова, с которого хотелось брать пример. Родился в селе Спасском Семеновского уезда, работал телеграфистом, вступил в ряды партии большевиков, в Красную армию, окончил Нижегородские пехотные курсы красных командиров. В Первую мировую воевал под Перекопом. Зная жизненный путь своих старших товарищей, слушая рассказы отца, Б. Корнилов живо рисует героические образы, сожалея, что «опоздал родиться».

На мемориальной доске, установленной на здании диорамы «Штурм Сапун-горы» в Севастополе значится сводный отряд 7-й морской бригады под командованием полковника Е.И. Жидилова. Это он, Евгений Иванович Жидилов, вместе со своими матросами все 250 героических дней оборонял Севастополь. В послевоенные годы генерал-лейтенант Е.И. Жидилов служил на Дальнем Востоке, обучал военному делу десантников. Что помогало выдерживать нечеловеческие тяготы? Кержацкий характер, настроенный на преодоление, выносливость.

Среди семеновских ровесников поэта Сергей Васильевич Афоньшин (1908–1984 гг.) – фронтовик, газетчик, учитель, писатель, автор удивительных сказок. Человек неподкупный, преданный учительской

профессии. У него есть рассказ «Серебряный горн», где он поведал о знакомстве с Борисом Корниловым в ранней юности, как был очарован его лирикой, может, писать-то начал от этого впечатления. Долгие годы работал учителем начальных классов на дальнем лесном кордоне на берегу Керженца, не стал приспосабливаться к предлагаемым обстоятельствам, «сослав себя в добровольную ссылку», подальше от нахлынувшей после войны несправедливости.

Оставил свои воспоминания и поэт Константин Мартовский. Прогуливаясь по нижегородскому Откосу с наезжавшим из Ленинграда Б. Корниловым, вспоминали семеновскую молодость, первые публикации: «Я тогда учился в сельхозинституте. Борис это не одобрял, говорил, что поэзии надо отдаваться целиком или совсем не писать. Жестко, резко говорил. Сам он много читал, относился к стихам как к ежедневной работе, много печатался».

Всего один раз мальчишкой видел на городском празднике Бориса Корнилова, приехавшего домой из Ленинграда, семеновский краевед Карп Васильевич Ефимов, но, как он говорил: «поэт прошел со мной по всей жизни, многому научил». Он так описывает в очерке «Дело поэта» (семеновская районная газета «Ленинский путь», 27 июля 1991 г.) свое состояние, когда после многолетних поисков сведений о гибели Б. Корнилова оказался в управлении КГБ Ленинграда: «Сотрудник открыл дипломат, взял из него средней толщины том следственного дела и передал мне. Дрожащими от волнения руками я взял папку, прижал к своей груди, и мне показалось, что я как будто встретил и обнял Бориса Петровича». Воистину, пока есть такие люди, нам не грозит беспамятство.

На один день приехал Карп Васильевич в Ленинград, чтобы побывать в квартире Корниловых в писательском доме. Двери ему не открыли. Спускался по ступенькам, по которым вели арестованного Б. Корнилова, ясно представив эту картину. Посидел во дворе, поговорил с бывшей соседкой Корниловых. Достопримечательности Северной столицы не видел, не было настроения, поездом уехал домой, в Семенов.

В музейной экспозиции можно увидеть семейную фотографию, запечатлевшую молодую семью Бориса Корнилова и Ольги Берггольц в один из приездов из Ленинграда к родителям. Петр Тарасович бережно держит на коленях внучку Ирину (1928–1936 гг.). Помню, как сестра поэта Александра Петровна, которая многие годы жила и учительствовала в деревне Беласовка Семеновского района (на местном кладбище похоронена Таисия Михайловна), рассказывала о том, как горько переживали Корниловы, получившие известие о семейной драме Бориса, а позже о смерти его дочери. В одном из писем домой, в Семенов, Борис сообщил о предстоящей длительной командировке и просил кого-нибудь приехать в Ленинград и забрать дочку из семьи Берггольц. Спешно собравшись, поехала за внучкой Таисия Михайловна. Вернулась домой расстроенная, ведь семья сына распалась, а мать Ольги Федоровны оставила Ирину у себя и не отдавала даже на время.

Нам остается только догадываться о потрясениях Б. Корнилова, оставшегося сначала без жены, без семьи и дома, и вот еще удар – не стало единственной дочери. Как тут не вспомнишь его строки: «Меня ни разу не встречали // Заботой друга и жены…»

Б. Корнилову удалось не сломаться, остаться самим собой, выдержать и жизненную неустроенность, и нещадные обвинения критики в «есенинщине», «ремизовщине», «диком таланте», «яростной кулацкой пропаганде». Кержацкий характер! Стихи Б. Корнилова остались, пото-

му что он был «сентиментален, оптимистам липовым назло» («Елка», 1934 г.). Ну и попало ему за эту строчку от пишущей братии. Вновь и вновь являлись ему сокровенные мгновенья, чаще всего связанные с памятью детства, юности, юношеской любовью к семеновской красавице Тане Степениной, когда хотелось петь не хором, а один на один, от сердца к сердцу: «Моя девчонка верная // Опять не весела, // И вновь твоя губерния // В снега занесена…» («Лирические строки», 1927 г.), «Гуси-лебеди пролетели, // Чуть касаясь крылом воды, // Плакать девушки захотели // От неясной еще беды» («Вечер», 1934 г.). Сколько же в нем было потаенной, подспудной силы, до конца так и не раскрытой, никем не познанной.

На первом съезде советских писателей в 1934 году о поэзии Б. Корнилова тепло отозвался не только старший собрат по перу Николай Тихонов, поэзию которого он ценил, но и крупный партийный идеолог Николай Бухарин, известный точными оценками в литературе и основной докладчик по поэзии: «Следует особо сказать о Борисе Корнилове. У него есть крепкая хватка поэтического образа и ритма, тяжелая поэтическая поступь, яркость и насыщенность метафоры и подлинная страсть… У него “крепко сшитое” мировоззрение и каменная скала уверенности в победе». В то время как А. Безыменского докладчик упоминает по-братски, как бы похлопывая по плечу, «наш Саша», многих поэтов, которые тогда были на слуху, не упоминает.

В его оптимистической, уверенной песне нет-нет да пробьется тревожная нота: «Сосны падают с бухты-барахты, // Расшибая мохнатые лбы, //Из лесов выбегая на тракты, // Телеграфные воют столбы…» («Прадед», 1934 г.), «Злая осторожность добермана // До конца похожа на мою…» («Собака», 1936 г.)…

Что мы находим в стихотворении «Елка» (1934 г.) при сегодняшнем прочтении? Осознанную картину окружающего: «Здесь все рассудку незнакомо, // Здесь делай все, хоть не дыши, // Здесь ни завета, ни закона, // Ни заповеди, ни души…» Для Б. Корнилова такой мир «темный и пустой». Как в мире пустоты не потерять себя, устоять?

А я пророс огнем и злобой,
посыпан пеплом и золой, —
широколобый,
низколобый,
набитый песней и хулой.
Ходил на праздник я престольный,
гармонь надев через плечо,
с такою песней непристойной,
что богу было горячо.

Таланту подлинному дается дар предчувствия, так было и с Б. Корниловым – он видел близость конца. В «Прадеде» рисует свой портрет с прадеда Якова, укрывшегося в дремучем лесу со своими единомышленниками, они не хотели жить по общим правилам: «Я такой же, // С надежной ухваткой, // Мутным глазом // И песней большой, // Вашим голосом, // Вашей повадкой, // Вашей тягостною душой». Поэт называет себя «последний из вашего рода» и предрекает таким свободолюбивым людям, как прадед: «Вас потом поведут под конвоем // Через несколько лет в Соловки». Сбылось, но с одной поправкой – не «вас», а «нас потом поведут…»

Да, стремился идти в ногу со временем, словно запевала, своеобразно запечатлевая в стихах советский миф («Интернациональная, «Октябрьская», «Пограничная», «Рассказ красноармейца» и другие). Он был постоянным автором солидных изданий, газеты «Известия», журнала «Новый мир». Его поддерживал генеральный секретарь ЦК ВЛКСМ Александр Косарев, Б. Корнилову не отказывали в длительных командировках по стране, свою поэму «Триполье» он читал на бюро ЦК ВЛКСМ в присутствии А. Косарева.

Поэма Б. Корнилова «Триполье» (1933 г.) посвящена трагической гибели комсомольского отряда. Б. Корнилов к этому времени выбыл из комсомола и не стал, как друзья его юности, партийцем. Это отмечено в графе «партийность» следственного дела по обвинению Корнилова Б.П. № 23229. От протоколов допроса (их восемь) остается ощущение преднамеренной заданности.

Из тайников Белого дома, как ленинградцы называют управление КГБ, поднято это следственное дело с пометкой «хранить вечно». Недоступность документов опровергло время. Перелистаем некоторые из этих всего вероятнее заведомо составленные документов.

В день ареста 20 марта 1937 году состоялся первый допрос Б. Корнилова, который вел оперуполномоченный младший лейтенант госбезопасности Лупандин, он же 19 марта арестовывал поэта.

Не верится, что поэт мог так оговорить себя: «…кроме того я являюсь автором контрреволюционных литературных произведений, к числу которых относятся: “Елка”, “Чаепитие”, “Прадед”. Во всех этих произведениях я выражал сожаление о ликвидации кулачества, давал контрреволюционную клеветническую характеристику советской действительности, воспевал кулацкий быт…»

Представляет интерес квитанция, подшитая в дело, в ней перечислены вещи, изъятые при определении заключенного в камеру: рубашка, запонки галстук. Отправиться на «черном вороне» при параде? Возможно это была, своего рода, бравада, вызов.

В одном из протоколов вопрос: «С кем из участников контрреволюционной троцкистско-зиновьевской террористической организации поддерживали отношения?» В перечне значится фамилия семеновских приятелей Б. Корнилова Александра Клинова и его жены Антонины. С ними вместе юный Б. Корнилов работал в Семеновском уездном комитете комсомола (их портреты хранятся в музее). На музейной выставке «Все мои приятели» с фотографий смотрят веселые лица, Антонина в кожаной куртке и повязанной по моде того времени косынке.

В статье «Друзья-приятели» в районной газете «Ленинский путь» от 28 февраля 1991 года краевед К.В. Ефимов об Александре Алексеевиче Клинове (1904–1936 гг.) пишет, что он был членом бюро укома комсомола, где и подружился с Б. Корниловым. Родился в бедной многодетной семье в деревне Кривцово Семеновского уезда (эта деревня сейчас не существует). В 1925 году принят в ряды партии, учился в совпартшколе, работал в краевом отделе народного образования, учился на вечернем отделении пединститута. В 1932-м его направили на учебу в институт адъюнктов при Ленинградской военно-политической академии (адьюнкт – лицо, готовящееся к преподаванию в военных академиях). Окончив учебу, преподает в академии историю СССР, затем возглавляет кафедру. Приказом народного комиссара обороны ему было присвоено воинское звание «батальонный комиссар» (подполковник). Научные труды А.А. Клинова по истории СССР выпуще-

ны отдельными изданиями и хранятся в Государственной библиотеке имени Ленина в Москве.

Младшая сестра А.А. Клинова Лидия жила в Ленинграде в семье брата (ей тогда было двенадцать лет), нянчилась с маленькой племянницей Инной. Инна родилась в Нижнем Новгороде в 1931 году, и на крестинах девочки присутствовал Б. Корнилов.

К.В. Ефимов нашел Лидию Алексеевну в г. Дзержинске Горьковской (Нижегородской) области. Немало интересного она рассказала о ленинградской жизни. Б. Корнилов один и вместе с гражданской женой Людмилой часто бывал в доме своих семеновских друзей. Хозяйку дома Антонину по старой привычке он называл «Антанта», друга – «Сашка», не иначе. В этой семье умели ценить по-мальчишески открытый, ершистый характер незабронзовевшего поэта. У Клиновых было много книг Б. Корнилова с автографами. Детская память Лиды сохранила, как шумно веселился «дядя Боря», какие устраивал сюрпризы. С получением гонорара за сказку «Как от меда у медведя зубы начал болеть» удивил всех – принес Клиновым чемодан конфет, все наелись до отвала.

Лидия Алексеевна вспоминала: «18 июня 1936 года семья выехала на родину. На вокзале нас провожали брат и Корниловы. После отъезда от Александра Алексеевича получили несколько писем, но затем они перестали приходить. Мы, естественно, забеспокоились. И вот получаем открытку от 24 июля: “Таня (так брат называл жену Антонину), милая, дорогая! Прими, милок, для себя печальную весть спокойнее. Я арестован и с 10 июля 1936 г. нахожусь в НКВД в ДПЗ (дом предварительного заключения), поэтому долго молчал. Не плачь, Танюша, не убивайся. Помни и задумайся больше не обо мне, а о ребенке (в августе родился сын). Лишнее расстройство отразится на нем, поэтому побереги силы и перенеси горе спокойнее».

Мы сразу же вернулись в Ленинград. Квартира была опечатана. Соседи рассказали, что арест прошел в ночь с 10 на 11 июля. Вечером у Александра Алексеевича были Б. Корнилов, Гурвиц, Щербаков. Часов в 10 они ушли, а в 12 пришли пять работников НКВД и сделали обыск. Наутро они увезли брата».

К.В. Ефимов считает, что причиной ареста А.А. Клинова могло послужить партийное собрание в Военно-политической академии от 15 марта 1928 года, где коммунисты поставили вопрос о недостаточно четком и твердом руководстве Вооруженными силами со стороны Реввоенсовета и Политического управления. К. Ворошилов откликнулся на резолюцию партсобрания негативной оценкой. Началась чистка руководства академии. Но Клиновы приехали в Ленинград в 1932 году. И тогда в академии бродили настроения недовольства руководством Вооруженными силами, и А.А. Клинов, возможно, разделял протестные настроения, поступая по совести, а не как было положено. 180 работников академии арестовали в ночь с 10 на 11 июля 1936 года. Обвинили в троцкизме, правом уклонизме. К тому же убийство Кирова в Ленинграде, как известно, повлекло волну арестов.

Клиновы, Антонина без работы, двое маленьких детей, Лида – третий ребенок были обречены на полную нищету. Б. Корнилов позвонил им сразу же по приезде семьи в Ленинград, в этот же день пришел. «Успокаивал, сказал, что навестил Сашу в ДПЗ. Когда был репрессирован брат, от нас отвернулись друзья, но Корниловы не изменили прежнее отношение, помогали чем могли. Борис приходил сначала днем,

потом ночью с неизменным чемоданом с продуктами. Однажды сказал, что его выследили, проверили чемодан, пригрозили, приказали забыть этот дом. 28 августа Антонина Дмитриевна родила сына, назвала его Александром. В роддоме и после выписки ее навещали Корниловы».

Не миновала Клиновых участь ссыльных, их срочно, не дав собраться, отправили в Казахстан. В это время Корниловы помогали семье в сборах, не боясь привлечь внимание НКВД. 11 декабря проводили на вокзал, помогли устроиться в вагоне. Новое поселение стало для семьи Клиновых вечным, горькая участь миновала лишь Лиду, которая смогла вернуться в родные места.

Рискованно было показываться на вокзале перед составом отъезжающих переселенцев. Лидия Алексеевна рассказала, что Борис появился неожиданно со своим неизменным чемоданом, передал на дорогу 200 рублей со словами: «“Купите фруктов Сашке”, еще какие-то продукты и теплую одежду нам, которая очень пригодилась».

Молодость. Это состояние души несло его по жизни, не давая отложить перо и бумагу. Он обдумывает свое бытие: почему все вместе, а он в стороне… «Здесь пухлым елкам нет числа. // Как много их… // Но тут же сбоку // Еще одна произросла…» Это состояние отъединенности, упрямое, не подверженное влияниям кержацкое нутро, несхожесть с другими подметил Ярослав Смеляков в стихотворении «Три витязя» (литературные сверстники, друзья: Б. Корнилов, Я. Смеляков, П. Васильев): «…он тогда у общего кормила, // недвижно скособочившись стоял…»

А елка его семеновской молодости «растет, шумя плечами». Поэт напутствует: « Ну, живи, // расти, не думая ночами // О гибели и о любви, // Что где-то смерть, // Кого-то гонят, // Что слезы льются в тишине // И кто-то на воде не тонет // И не сгорает на огне». Поэт подводит жизненный итог за три года до гибели: «Уйду из этой жизни прошлой // Веселой злобы не тая, – // И в землю втоптана подошвой – как елка – молодость моя» («Елка», 1934 г.).

К делу Б.П. Корнилова приложены документы 1955 года, предшествующие реабилитации: письмо-ходатайство Ленинградской писательской организации за подписью Холопова и Чивилихина и заявление О.Ф. Берггольц – первой гражданской жены Б. Корнилова. Она чистосердечно берет на себя вину за развал семьи, признает талант и добрые человеческие качества мужа и отца Б. Корнилова.

Наконец, документ, подводящий черту в деле, гласит: «Приговор военной коллегии Верховного суда СССР от 20 февраля 1938 года в отношении Корнилова Бориса Петровича в связи с открывшимися обстоятельствами отменить, дело прекратить за отсутствием состава преступления»…

В 1935 году Б. Корнилов выпускает 11-й сборник стихов «Новое», в следующем году создает удивительный по жизнеутверждающей силе лирический цикл о Пушкине. Его поэзия выдержала водоворот похвалы и опалы, 20-летнее умолчание. Возрождение началось в шестидесятые годы прошлого века. Эта поэзия достойно выдержит и нынешнее время переоценки ценностей как явление подлинное, природное. Б. Корнилов ушел тридцатилетним, оставив нам мелодию родниковой чистоты, голос, узнаваемый каждой строчкой в хоре поэтических голосов.

В старом городке Семенове, как и прежде, несуетный, размеренный быт. Здесь свои радости – открылся музей истории хохломы, семеновские сувениры представляли Россию на сочинской Олимпиаде,

на чемпионате мира по футболу. Действует старообрядческий приход, чего давно добивались верующие. В Доме культуры отремонтировали большой зал, где проходят выставки художников и читают стихи поэты.

Каждый год 29 августа, в день рождения Бориса Корнилова, городок Семенов заметно оживает – из распахнутых окон Дома культуры звучит ставшая воистину народной песня «Нас утро встречает прохладой…» (музыка Д. Шостаковича, слова Б. Корнилова), в библиотеке книжная выставка и встреча с писателями, в музее – обновленная экспозиция. Электричка Нижний Новгород – Семенов, районная библиотека и улица названы именем Б.П. Корнилова. И снова Борис Корнилов зовет за собой в дорогие ему места, «в синь семеновских лесов».

На одном из праздников поэзии я познакомилась с близкими родственницами Бориса Корнилова, жителями г. Семенова, – его племянницей Фаиной Васильевной Козловой-Смирновой и ее дочерью Светланой Геннадьевной Гудковой, она продолжает учительскую традицию семьи, сейчас директор Семеновской школы № 2.

Улыбается хохломской раскраской магазинная витрина, мимо школы, где учился будущий поэт, мимо памятника Борису Корнилову спешат юные художницы местной профтехшколы в фабричные цеха. Не иссякла здесь тяга к древнему ремеслу, красоте. Богата земля талантами, но дар поэта особый, редкостный. Такова поэзия Бориса Корнилова – голос из голосов, сгусток энергии, эмоциональности, выплеск эпохи.

Юбилеи

Валерий ШАМШУРИН

Родился в 1939 году в городе Агрыз Татарской АССР. Окончил историко-филологический факультет Горьковского госуниверситета им. Н.И. Лобачевского. Работал учителем, директором школы, журналистом и редактором в печатных СМИ, редактором Волго-Вятского книжного издательства, Горьковской студии телевидения, председателем правления Горьковской (Нижегородской) областной организации Союза писателей России, секретарем Союза писателей России.

Поэт, прозаик, публицист. Автор многих трудов и романов на тему нижегородской и российской истории. Лауреат российской литературной премии имени Н.М. Карамзина, премии Международной ассоциации писателей-баталистов и маринистов имени В.С. Пикуля, Большой литературной премии России.

Член Высшего творческого совета Союза писателей России, Профессор Международной славянской академии. Живет в Нижнем Новгороде.

Редакция журнала поздравляет Валерия Анатольевича с юбилеем и представляет подборку его стихотворений разных лет.

...ЧТОБЫ ТЕМ СЛОВОМ ДУШУ СБЕРЕЧЬ

Валерию Шамшурину – 80 лет

СВЕРЯТЬ СЕБЯ ПО ВРЕМЕНИ

Вроде бы недавно были такие времена, когда поэты, оставив свои дела, закидывали за плечи рюкзачки и отправлялись в дорогу. Куда? А это куда позовет тот жизненный компас, который все время превращал их в непосед. Он приобщал их ко времени, в котором они жили. Даже маститым многокнижным поэтам совсем не чуждой была романтика дорог. А что уж говорить о тех, кто только входил в поэтическую славу.

– Старик, не махнуть ли нам с тобой на БАМ? Ты по своим журналистским делам, ну и я чем могу помогу.

Одно утаил нижегородский поэт Валерий Анатольевич Шамшурин, приглашая в дорогу: он-то ехал явно за стихами. Но лучше слукавить, а вдруг разминется путь с той неведомой музой, которая обитала в таежных краях, и ограничится поездка теми газетными строками, которые удастся привезти.

Валерий Шамшурин был чуть постарше тех, кто приехал строить Байкало-Амурскую магистраль. И это было очень кстати. У него уже был опыт целины, и он хорошо знал, как варить щи и простирывать рабочую робу. Без жизненного рукоделия хоть поэт ты, но все нахлебник, неумейка, созерцатель и явно лишний человек на разворачивающейся стройке. Никто и не заметит, как ты приехал и уехал. И кто ты был, никто не скажет! Так, тень на великой стройке!

Помню, как к нам подошли ребята из комсомольского штаба:

– Валерий Анатольевич, просим вас, помогите провести свадьбу. Ребята всё молодые, никто не знает, как это делается.

Как тут откажешься. Вперед! Слышу только:
– Старик, танцы и пляски за тобой.
– Да, Анатолич, я танцор аховый.
– Тогда пляши без устали.

Что это была за свадьба! «Горько» перемежалось взрывами смеха… Родители не рискнули приехать, и напутствовать молодых на дальнюю жизненную дорогу было некому.

И тут зазвучали стихи… И свадьба замерла… Такого не водилось, чтоб с «правдашними» стихами, только что написанными, тепленькими, узнаваемыми… Землякам – от поэта-земляка, за столько верст...

А когда вышли на крыльцо клуба в прохладу таежной ночи, по небу, над сопками, полоснул метеорит… Вы забудете это когда-нибудь?

Вот так мы ездили за стихами.

Когда-то поэты сверяли себя по времени, определяя в нем свою нужность. Это было им необходимо. Отзучал колоколом БАМ… А отзвучал ли?..

Стихи Валерия Анатольевича Шамшурина — это цельный дневник его жизни. Можно представить, каков он стал по объему за восемь десятков лет, с которыми мы его и поздравляем. И наш БАМ в этом дневнике лишь небольшой вкладыш. Но главное, что он есть.

Вячеслав ФЕДОРОВ

Стихи разных лет

Из книги «Ливни» (1968)

* * *

Умирала старуха утром.
Угасала, как свечка, просто.
Рассыпала берёза кудри
Над тоскливым сельским погостом.

Хоронили старуху
вместе
Со старинной тягучей песней,
С пересудами о богах
И с мозолями на руках.

На могиле речей не читали.
Только бабы две причитали.
А в избе лежал, как покойник,
Опрокинутый кем-то подойник.

Ливень

В асфальт, в дома, в собак, в людей,
В портреты, в гомон площадей
Прямой решительностью линий
Ударил ливень.

Всё вмиг намокло, потекло.
И вспененные, точно в мыле,
Дома по улицам поплыли,
Отфыркиваясь тяжело.

* * *

О таинство природы!..
Летний гром
Шатает небо, лес и всё заречье.
И дождь, звеня разменным серебром,
Стремится к нам с невысказанной речью.

Деревья – оперение Земли –
Взъерошены, растрёпаны, помяты.
На луг вповалку травы полегли,
Как до смерти уставшие солдаты.

Гром – будто взрыв. Он – вызов тишине.
Как будто бы она его взбесила…
А я смеюсь, давно известно мне:
Впустую он растрачивает силы.

* * *

Головою в ладони:
Сны мои, сны мои.
В снах тех – дикие кони
Синие, синие.

Синий всплеск, точно выстрел.
И из чистых озёр
Поднимается быстрый
Конь, как синий костёр.

Вот заржал он, и звёзды
С неба падают в степь.
Как ему это просто –
Спрятать ветер в хвосте.

И помчаться, помчаться.
Удержаться невмочь.
И, как счастье, как счастье, –
Под копытами ночь.

Вновь дорога любая
Далека и легка.
И трава голубая
Вновь щекочет бока.

Пусть не знают погони
Сны мои, сны мои,
Где живут эти кони
Синие, синие.

Из книги «Красный день» (1976)

* * *

Встану – строчку зачеркну,
скрипну половицей,
гляну в ночь и зачерпну
из ведра водицы.

И заплачу оттого,
что живу на свете,
что над белою травой
белый месяц светит,
что над стогом спит звезда,
что при всех удачах
так я больше никогда
в жизни не заплачу.

* * *

Тамаре

Хозяйка целовала нас,
когда мы просыпались,
улыбкой,
словно солнышком,
была озарена.
В глазах
и на губах её,
в её морщинах, плавясь,
светилась
незабытая далёкая весна.

Опали горы снежные,
что нанесло метелью…
Мы были очень молоды,
и рядом на стене
висела фотография
над нашею постелью,
где жили
лица мальчиков,
убитых на войне.

Мы были очень молоды,
мы только поженились,
и многого,
конечно же,
нам было не понять.
Мы были очень молоды,
и радуги нам снились…
И подтыкала простыни
хозяйка,
словно мать.

Варна

Прихлынет к берегу волна
и отплеснёт,
светясь янтарно.
И вырастет из пены Варна,
вся-вся до камушка видна.
Причалы,
лодки,
катера,
обрывы,
заросли
и пляжи,
сады у скал,
а дальше-дальше
весь город,
солнечный с утра…
Чуть шире пояса юбчонка,
волос лиловый водопад –
идёт по городу девчонка
туда, где улицы кипят…
Блуждать ей в парке,
как в лесу,
задорно слиться с пёстрым людом,
и жизнь считать
весёлым чудом,
и пить в сладкарницах бозу.
Смуглянка, бестия, огонь,
она мне щедро,
словно сердце,
стручок краснеющего перца,
ликуя,
бросит на ладонь.
И мне захочется, как ей,
дерзить,
смеяться
и резвиться.
И, словно в юности моей,
безоговорочно влюбиться.

Из книги «Волжские пристани» (1981)

Волжские пристани

Глядят по-старушечьи пристально
Крылатым «Ракетам» вослед
Бессменные волжские пристани,
Забывшие, сколько им лет.

Стоят теремки деревянные,
Старинным постройкам сродни,

И в ночи глухие туманные
Особо уютны они.

Любому приют они исстари
Среди полуночной воды.
За ними откосы лесистые
И улочек сельских ряды.

Повеет то клевером скошенным,
То хлебным дымком от села…
Надраены, как и положено,
Щербатые колокола.

И многого мне не хватало бы,
Как будто полжизни проспал,
Когда бы на старые палубы
Я в детстве порой не ступал.

Когда бы опоры испытанной
Не чувствовал я под собой
На Волге, ветрами пропитанной,
Зовущей в простор голубой...

И вновь добродушно и пристально
Глядят торопыгам вослед
Бессменные волжские пристани,
Забывшие, сколько им лет.

И жизнь молодая, широкая
Ведет свой стремительный счет.
И Волга своею дорогою
Из вечности в вечность течет.

* * *

Тамаре

Не могу не поверить примете,
Что с далекой поры дорога:
Вновь пас тянет, родная, на эти
Нашей юной любви берега.

Вновь мы утром сойдем с «Метеора»
Там, где старых берез шепоток,
Где взбирается лихо на гору
По мощеной тропе городок.

Мы с тобою не стали другими,
И сирень у домов молода,
И на досках резных берегини
Улыбаются нам, как всегда.

Городок Городец – малый Китеж,
Он резьбою, богат – не казной:

С каждой улицы Волгу здесь видишь
В деревянной оправе резной.

И нужны нам с тобой как дыханье,
Чтоб любовь оставалась жива,
И над Волгою зорь полыханье,
И веселой резьбы кружева.

Из книги «На свирепом ветру устоять» (2004)

Похороны Моцарта

Когда дроги с телом Моцарта добрались до городского вала, за гробом шел лишь один человек. Это был Сальери.

Зло без добра не проживет –
Об этом ветры пели.
До самых городских ворот
За гробом шел Сальери.

Дрожала вскинутая бровь.
В глазах слеза застыла.
О ненависть, ты как любовь –
До холода могилы!

Дощатый немудреный гроб.
Три гульдена за дроги...
Морщина рассекает лоб,
Душа его в тревоге.

Метель бушует впереди.
Клячонка тянет еле.
Но даже этому пути
Завидовал Сальери.

Пути, который до креста,
До самого финала,
Где меркнет всякая звезда,
Как ярко б ни сияла.

Молчала Вена.
Мир молчал.
И выл ветрами вечер.
Казалось, Реквием звучал
Из гроба злу навстречу.

Да, Моцарт жив!
Да, Моцарт жив!
Он встанет из могилы.
Он уличит тебя во лжи,
Мир черствый и постылый.

И он тебя переживет
В своей могучей вере...
До самых городских ворот
Один бредет Сальери.

* * *

Забытье... Немота... Ковыли...
Русь глубинная – вся ты, как есть,
Где погосты репьем заросли
И на плитах имен не прочесть.

Отчего ты забыла себя,
Для кого ты открыла пути
И, погибель свою торопя,
Водкой боль заглушаешь в груди?

Беспокойные сны октябрей
Поминальной свечою горят.
Ветры воют тоской пустырей,
Все живое сметая подряд.

И к чему этот глум, этот грим,
Эти пляски во время чумы?..
Он в мечтаниях был – Третий Рим,
Но его разбазарили мы.

Нет, не ждет впереди благодать.
И всего-то лишь надо теперь
На свирепом ветру устоять,
Выжить после бессчетных потерь.

Беспросветно вблизи и вдали,
Будто пала вселенская тьма.
Забытье... Немота... Ковыли...
Путь немереный, посох, сума...

* * *

Многое сделано без меня,
Многое сказано до меня,
Но только и моего огня
Нужна была эта частица,
Чтоб негасимую свечку
зажечь,
Чтобы заветное
в слово облечь,
Чтобы тем словом
душу сберечь
И теплом поделиться.

Вехи памяти

Олег РЯБОВ

Поэт и прозаик. Родился в 1948 году в Горьком. Окончил Горьковский политехнический институт имени А.А. Жданова. Работал в Научно-исследовательском радиофизическом институте (занимался проблемами внеземных цивилизаций), облкниготорге, издательстве «Нижполиграф».

В настоящее время – директор издательства «Книги». Член Российского Союза антикваров, Национального Союза библиофилов. Главный редактор журнала «Нижний Новгород», редактор-издатель альманаха «Земляки».

Член Союза писателей России с 2002 года. Живёт в Нижнем Новгороде.

ГЛЕБ

Глеб ушел… Трагедия, по крайней мере – беда, во всяком случае, беда для меня. По любым меркам Глеб для меня – гигант.

Я познакомился с Глебом Горбовским в 1977-м дома у Паркаевых в Староконюшенном переулке. Он вошел большой, шумный и, учуяв замечательный французский запах духов от шубы моей жены, висящей в прихожей, загудел: «Фу, ну и вонища у вас тут!»

Мне много раз приходилось ночевать в этом доме, часто с Глебом в одной комнате. И то, что он относился ко мне вполне серьезно как к поэту, выражалось не в том, что он однажды оценил мое стихотворение и попросил его прочитать ещё раз, а совсем в другом: в чём-то братском и совсем не покровительственном.

Я и с Паркаевым-то познакомился, может, благодаря Горбовскому, а точнее стихам Горбовского. А случилось это так.

Юра Адрианов, поэт и мой очень хороший друг, попросил как-то раз меня на моем «Запорожце» встретить семью его друзей, которые приплывали на теплоходе к нам в город, и привезти их к нему домой. Этой семьей оказалась семья Паркаевых: Юра, Валя и три их девочки. И вот, стоя на палубе того теплохода, на котором они приплыли, только что встретившись и только что познакомившись, мы с Юрой Паркаевым решили выяснить отношения: не наши личные взаимоотношения, а наши отношения с современной советской поэзией. Он читал: «Могу представить Блока согбенным старичком, жена белеет сбоку и тросточка торчком…» На что я отвечал: «В березовой рубахе, в душистых сапогах идет по полю пахарь с букетиком в руках…» Оказалось, что Горбовского мы с Паркаевым могли читать до вечера, и потому решили

оставить это занятие до другого раза. Так что, когда я встретил Глеба у Юры в доме в Москве в Староконюшенном переулке, я и не очень удивился.

Если мы часто повторяемся, что существовала «московская четверка» (Женя, Андрей, Роберт и Белла), то так же часто забываем, что была не менее конкурентная и «питерская четверка» (Кушнер, Бродский, Соснора и Глеб). Хотя Бродский к тому времени уже и уехал, но мы все ещё его держали за своего, и стихи его в руки к нам попадали. И потому, учитывая литературный статус Глеба на тот момент, рецензия его на одно из моих стихотворений в виде просьбы повторить прочтение была для меня более чем комплиментарна.

Серьезное отношение Глеба ко мне, несмотря на очевидное и объективное наше расположение в разных весовых категориях, проявлялось каждый раз, когда мы встречались в столице, и в совершенно разных формах. То он приглашает и тащит меня послушать Рената Ибрагимова, который исполнял песни на его слова, в концертный зал «Россию», то ведет на премьеру оперетты «Гори, гори, моя звезда», которую они сделали со Стасом Пожлаковым.

Так вот, однажды, находясь с Глебом в абсолютной духовно-нравственной противофазе, я пил уже третий или четвертый день подряд крепко и болезненно, возвращаясь никакой по вечерам то из редакции «Молодой гвардии», то из ЦДЛ, а он в те же дни радовал окружающих своей полной трезвостью и творческой плодовитостью. Мы жили в одной комнате, и он, как опытный (был, был опыт!) и старший товарищ, с полным пониманием относился к моему недугу. Каждое утро он давал мне дельный совет, как выправить положение и прийти в себя. А тут, на четвертый-то день, с утра он сам вдруг заварил крепкий чай и спросил: «А ты сможешь послушать – я тут нацарапал кое-что за эти дни?»

Он открыл тетрадку в 24 листа (были такие) – она была исписана полностью. Он читал час или больше, а потом спросил у меня мнение по поводу написанного. Чай, даже крепкий и свежезаваренный, не мог меня спасти от скепсиса и критиканства, и я честно для моего того состояния сообщил Глебу, что из двух десятков стихотворений, которые он прочитал, мне понравилось только одно: про жирафа, который шел по городу и задевал башкой за провода. Глеб как-то мрачно промычал: «Да, пожалуй, ты прав!» Затем он открыл тетрадь, вырвал оттуда страничку со стихотворением, о котором мы только что говорили, спрятал в карман, а саму тетрадь своими огромными ладонями, ну просто лапами, разорвал на четыре части и выбросил в ведро. Я до сих пор с изумлением вспоминаю эту сцену и до сих пор поражаюсь его строгому отношению ко всему, что выползает подчас из-под пера пишущего человека: не всё написанное даже мастером достойно того, чтобы быть обнародованным!

Он часто делился со мной рассказами о своем ленинградском литературном житье-бытье: о Михаиле Александровиче Дудине, которого очень уважал и который, к слову, был крестным отцом моих первых публикаций, об отказе участвовать в альманахе «Метрополь», об Анне Андреевне Ахматовой, с которой был близко знаком и которая его высоко ценила, об Иосифе Бродском, с которым долгие годы дружил, потом вел с ним, уже уехавшим, долгую переписку, и разорвал эти отношения по банальным, с моей точки зрения, нравственным соображениям. Особое место в жизни Глеба Горбовского занимал Боря Тайгин с его издательством «БТ». У них были просто замечательные «проекты»,

как теперь положено говорить: Боря был легендой советского самиздата, публикатором первых книг Рубцова, Бродского, Бобышева. Да и Горбовского-то он напечатал, по некоторым сведениям, больше ста книг, без которых сейчас невозможно было бы собрать и издать семитомник Глеба. Но обо всем этом должен был написать Глеб сам… А теперь – не знаю, напишет ли кто!

Горбовский был обласкан властями и заслуженно был орденоносцем, притом что и вышел он из самых низов, и был «сидельцем», и сделал себя сам, как любят теперь говорить. Его «Когда фонарики качаются ночные…» кому только не приписывались, как только не переделывались, а часто и многими просто упоминались как песня народная. Многие ли могут похвастаться, что написали «народную песню».

С его Лидой Гладкой (Царство ей Небесное!) я познакомился случайно в Комарове в ноябре. Все дачки и все деревья были в снегу. Она так обрадовалась нашему очному знакомству, что я вновь ощутил через её слова и тепло, и мужество моего друга и большого поэта. Наверняка он что-то говорил ей про меня. Глеб был в Питере, и она настояла, чтобы мы с супругой приехали в гости. Мы приехали на восьмидесятилетие. Остановились мы в кельях Александро-Невской лавры, там же в Подворье проводился и вечер, который вел Иван Краско. Пел Саша Морозов, красиво говорил Битов. Глеб подписал мне новую книгу.

Вот из-за Битова-то (Царство ему Небесное!) и неприятность тогда получилась: я уговаривал его приехать к нам в Болдино на пушкинский праздник, а он отговаривался тем, что и так написал про Большое Болдино больше, чем сам Пушкин. За этими разговорами и приглашениями я вышел проводить Андрея на улицу, а когда вернулся – мою книжечку с приятными пожеланиями от Глеба, которую я оставил на подоконнике, кто-то спёр!

А как Глеб обрадовался, узнав, что мы готовимся выпускать толстый литературно-художественный журнал «Нижний Новгород». Он приветствовал рождение нового русского журнала. Он первым прислал нам свою подборку стихов и согласился войти в состав редколлегии. Нижегородской земле он внутренне был обязан, хотя об этом редко говорил. После войны Глеб сбежал из колонии для малолетних преступников и по всей стране разыскивал своего отца, которого нашел у нас в Заволжье, в деревне Жилино – там отец работал учителем в школе после освобождения из лагеря.

Господи, Глеб ушел!.. Позвала его Лида. Там он ей, видимо, нужнее. Каким же большим и сильным человеком он был.

Николай СИМОНОВ

Родился в 1950 году в городе Горьком. Сорок пять лет проработал судосборщиком и слесарем-судомонтажником на заводе «Красное Сормово». Возглавляет сормовское литературное объединение «Волга».

Его произведения публиковались в нижегородских, московских и питерских изданиях, вошли в антологии: «Русская поэзия. XXI век», «И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово», изданные в Москве, в издательстве «Вече». Стихотворение «Прощай, Париж!» было переведено на французский язык и напечатано в студенческой газете университета Сорбонна. Автор десяти сборников стихов.

Лауреат премий журнала «Нижний Новгород» (1997), имени Александра Люкина (2002) и Нижнего Новгорода (2013). Призёр и участник одиннадцати всероссийских фестивалей «Русский смех». Член Союза писателей России. Живёт в Нижнем Новгороде.

ВЕСЁЛЫЙ СОЗДАТЕЛЬ КНИГИ МУДРОСТИ

Исполнилось 250 лет со дня рождения великого баснописца Ивана Андреевича Крылова

Вряд ли сын капитана Андрея Крылова, маленький Ванюша, думал о всероссийской литературной славе, когда спрятанный в большой корчаге, сопровождаемый матерью, переодетой в деревенское рубище, трясся по уральскому бездорожью на крестьянской телеге. Путь беженцев лежал из Яицкого городка (нынешнего Уральска), где его отец служил комендантом крепости, в более надёжный и укреплённый Оренбург. Кругом бушевала пугачёвщина и офицеры из маленьких крепостей отправляли своих жён и детей абы куда, лишь бы подальше от головорезов крестьянского царя Емельки. До Оренбурга добрались благополучно, но в осаждённом городе рвались ядра бунтовщиков и царил ужасный голод. И, может быть, именно тогда будущий баснописец потерял чувство страха, приобрёл ощущение вечного голода и в головке четырёхлетнего малыша зародились сюжеты первых басен, типа «Волк и Ягнёнок», «Демьянова уха» и других.

После подавления восстания, правительственная комиссия нашла в пугачёвских бумагах списки приговорённых к повешению. Среди сотен имён значилась и семья Крыловых в полном составе. Поэтому можно считать, что русской литературе крупно повезло – остался в живых главный баснописец. Не хочется умалять заслуг баснописцев – предшественников Крылова: Сумароков, Хемницер, Дмитриев и прочие

русские поэты много сделали для развития басни. Но к главному своему жанру Иван Андреевич пришёл не сразу.

Получив в наследство от отца, заядлого книгочея, сундук с книгами, он занялся изучением русской и мировой литературы. Когда Крыловы жили в Твери, состоятельные соседи разрешили Ване присутствовать на занятиях своих детей. Так он изучил французский язык. В более зрелом возрасте он выучил итальянский язык и научился играть на скрипке, но до старости по-русски писал с ошибками.

Потом, приехав с матерью в Петербург и найдя место в одном из столичных департаментов, Крылов стал профессиональным чиновником, несмотря на юный возраст. Он увлёкся театром. Стал посещать все премьеры, завёл знакомства со знаменитыми актёрами и даже с директором императорских театров Соймоновым.

А вскоре, вдохновлённый театральной атмосферой, подросток написал пьесу «Кофейница». Молодой Крылов был необыкновенно плодовитым автором. Во многом благодаря этому он вошел в близкие отношения с театральным комитетом и получил поручение перевести либретто французской оперы. Однако будущий баснописец не удержался от острой сатиры в адрес ведущего драматурга того времени Якова Княжнина и его жены, дочери самого Александра Сумарокова. Крылов вывел их под именами Рифмокрада и Тараторы в комедии «Проказники». Этот эпизод рассорил Крылова с Княжниным и закрыл молодому сочинителю дорогу в драматургию.

С тех пор его немногочисленные пьесы если и ставились на столичной сцене, то дохода не приносили. Крылов, бросив государственную службу, становится профессиональным картёжником, гастролирующим по России. Бывали случаи, когда он выигрывал по нескольку десятков тысяч. Вполне ли честными были эти выигрыши, мы никогда не узнаем, однако за руку Ивана Андреевича никто не поймал. В любом случае, его оправдывает то, что большую часть выигрышей он пускал на издание журналов, которые в конце концов прогорали, так что нажиться на картёжной игре он не сумел.

В 1791 году, в 22 года, Иван Крылов полюбил дочь священника из Брянска Анну. Девушка ответила ему взаимностью. Когда молодые люди решили жениться, родные Аннушки воспротивились этому браку. Но невеста так тосковала, что родители наконец согласились выдать ее замуж за Ивана Крылова, о чем написали ему в Санкт-Петербург. Крылов ответил, что у него нет денег, чтобы приехать в Брянск, и попросил привезти Анну к нему. Родные девушки были оскорблены ответом, и брак не состоялся. Иван Крылов так никогда и не женился. Официально у него нет детей. Современники баснописца утверждали, что у Ивана Андреевича была гражданская жена – его домработница Феня. Жениться на ней Крылов не мог, так как общество бы его осудило. Феня родила девочку Александру, которую считают внебрачной дочерью Крылова. О том, что это может быть правдой, говорит тот факт, что после смерти Фени Александра осталась жить у Крылова. А после её замужества Крылов с удовольствием нянчил её детей и переписал на них всё своё имущество.

Так, сочиняя театральные опусы, издавая убыточные журналы и проводя ночи за картами, меняя вист на штосс, Иван Андреевич дожил до сорока лет.

Стихи, написанные им по сию пору, были откровенно слабые. Заслуживали внимания лишь немногочисленные эпиграммы:

Федул твердит, что Фока плут,
Его позорит и ругает;
Но я не вижу толку тут:
Кто уголь сажею марает?

Но однажды Иван Крылов от нечего делать прочёл своему тёзке Ивану Дмитриеву несколько своих переводов басен Лафонтена, или Фонтена, как он называл французского баснописца.

«Да это же ваше призвание, батенька!» – воскликнул поражённый поэт. Крылов поначалу с недоверием отнёсся к такой высокой оценке, но, напечатав три басни в журнале «Московский зритель», получил такое количество восторженных отзывов, что решил покончить с драматургией и всерьёз заняться баснями.

О баснях Крылова не скажешь, что это памятник русской литературы. Это произведения живой, цветущей до сего дня отечественной поэзии. А ведь Крылов был современником Фонвизина и Радищева, Державина и Карамзина. Кажется невероятным, что всего лишь за двадцать лет до вступления баснописца в русскую литературу творил В. Тредиаковский, стихи которого для современного читателя нужно переводить почти как иностранные. И даже Г. Державин, при всей звучной полновесности его языка, оставался в плену тяжёлого классицизма. А воспитанный на этих образцах Крылов вдруг заговорил языком, не принадлежащим восемнадцатому веку, а взятым из будущего, пушкинского девятнадцатого, а то и из двадцатого и двадцать первого столетий. Он не просто изменил язык русской поэзии, он дал ей широту, вывел её из литературных салонов на российский простор. Право голоса вдруг получила простонародная Россия, ранее только сочинявшая и передававшая из поколения в поколение сказки, былины, песни и легенды. В баснях Крылова нашёл прибежище не только язык этих народных творений, но и сокровенные мысли и надежды простого люда, его оценки событий общественных и бытовых, государственных и частных, его нравственные постулаты, его укоренённые в веках взгляды на всё и вся. Это было неожиданно, ново и дотоле невиданно. Это было естественно для русской души. Иван Андреевич и сам являл собой чисто русский характер.

В юности Иван Андреевич увлекался кулачными боями, из которых благодаря своей силе часто выходил победителем. Это увлечение развивало не только его физические способности, вполне вероятно, что именно тогда он впервые обратил внимание на народный быт и нравы. Он посещал с особенным удовольствием торговые площади и народные сборища, где толкался между пёстрой толпой, с жадностью прислушиваясь к речам простолюдинов.

Басня издавна являлась жанром, особенно близким народной поэзии и имевшим прочную традицию в русской литературе. Её связь с народными пословицами и поговорками, простота и ясность образов, народная мудрость её морали – всё это делало басню особенно любимой народом. Басня широко известна была уже в Древней Греции и Риме. Басни Эзопа и Федра вобрали мудрость своих народов и передали следующим поколениям многочисленные сюжеты. Когда Ивана Андреевича Крылова спросили, почему он пишет именно басни, он ответил: «Этот род понятен каждому: Его читают и слуги, и дети».

Может быть, его трудное детство и нелёгкая судьба, как говорится, «жизнь на колёсах», развили в нём наблюдательность и желание помочь другим, по крайней мере советом. Чем и характерна басенная

мораль. Баснописец не боится критиковать современную действительность и клеймить проходимцев всех рангов, хотя бы надев на них личины животных.

Н. В. Гоголь так писал о Крылове: «Выбравши себе самую незаметную и узкую тропу, он шёл по ней почти без шуму, пока не перерос других... Выбрал он себе форму басни, всеми пренебрежённую, как вещь старую, негодную для употребленья и почти детскую игрушку, – и в сей басне умел сделаться народным поэтом. Эта наша крепкая русская голова, тот самый ум, который сродни уму наших пословиц, тот самый ум, которым крепок русский человек, ум выводов… Его притчи – достояние народное и составляют книгу мудрости самого народа».

«Во всех отношениях самый народный наш поэт» – говорил о Крылове А. С. Пушкин.

Иван Андреевич Крылов слыл обжорой, циником, азартным игроком, ленивцем, скандалистом и неряхой. Дедушка Крылов как будто просился на страницы собственных басен. Даже, когда он скончался от пневмонии, по Петербургу прошёл слух о том, что Крылов умер, объевшись блинами.

И. С. Тургенев, написал выразительный портрет Крылова последних лет, встретив знаменитого баснописца в доме «одного чиновного, но слабого петербургского литератора»: «Он просидел часа три с лишком неподвижно между двумя окнами – и хоть бы слово промолвил! – вспоминает Тургенев. – Ни сонливости, ни внимания на этом обширном, прямо русском лице, – а только ума палата, да заматерелая лень, да по временам что-то лукавое словно хочет выступить наружу и не может – или не хочет – пробиться...»

Несмотря на свою активную деятельность, Крылов был крайне флегматичным и медлительным человеком. После обеда он имел привычку спать не менее двух часов. Более того, часто находясь на людях, Иван Андреевич уделял очень мало внимания своему внешнему виду, не любил менять одежду и причесываться. Известен анекдот: собираясь на маскарад, Крылов спросил у знакомой дамы, как ему лучше одеться, чтобы остаться неузнанным. Ответ был прост и изящен: «А вы помойтесь, причешитесь – вот вас никто и не узнает».

Однажды солидного Крылова нагнали на улице два торопливых студента. Обходя его, один вполголоса сказал другому: «Смотри, туча идёт!» – «И лягушки заквакали», – незамедлительно добавил Иван Андреевич.

В Летнем саду стоит памятник Крылову, и вокруг него всегда резвятся дети. На них, однако, довольно пессимистически глядел поэт Пётр Шумахер, посвятивший памятнику следующие стихи:

Лукавый дедушка с гранитной высоты
Глядит, как резвятся вокруг него ребята,
И думает себе: «О милые зверята,
Какие, выросши, вы будете скоты!»

Иван Андреевич Крылов никогда не забывал, что сатира должна быть разящей и служить пользе Отчества. Его басни одинаково лишали покоя и плута из низов, и бездельника вельможу, и придворных холопов, и самого царя. А силу его строкам давало качество, которого

в такой полноте не было ни у одного современного ему писателя, – народность его творчества.

Посмотрите, сколько мудрых поэтичных пословиц и поговорок внёс баснописец в нашу национальную сокровищницу, в русскую народную книгу мудрости. Одно это – ярчайший показатель народности его творений: «И в сердце льстец всегда отыщет уголок»; «А ларчик просто открывался; «Услужливый дурак опаснее врага»; «По мне уж лучше пей, да дело разумей»; «У сильного всегда бессильный виноват»…

И т. д. и т. п.

Когда-то Белинский размышлял над вопросом: почему Крылов – народный поэт?

Ответ критика был таким: «…в его баснях, как в чистом полированном зеркале, отражается русский практический ум, с его кажущейся неповоротливостью, но и с острыми зубами, которые больно кусаются; с его сметливостью, острою и добродушно-саркастическою насмешливостью... В них вся житейская мудрость, плод практической опытности – и своей собственной, и завещанной отцами из рода в род».

Прошло двести пятьдесят лет со дня рождения Крылова, а его произведения живут во всех социальных кругах и во всех поколениях русского народа и будут жить, пока живёт русский народ».

Почел себя обязанным откликнуться на памятную дату

Вильям ПЕРОВ

Литературовед, критик, филолог, широко известный в узких литературных кругах. Автор множества статей, эссе и монографий.

СВЯЗЬ ВРЕМЁН

Пародия на современных критиков-литературоведов, умеющих привязать что угодно к чему угодно

Параллели в творчестве Вильяма Шекспира и Ивана Крылова

Критико-литературоведческое эссе

Вильям Шекспир – и никто другой – поведал человечеству, вступая во второй – трагический период своего творчества, о том, что «распалась связь времён». Одна за другой последовали великие трагедии: «Гамлет», «Ромео и Джульетта», «Отелло», «Макбет»…

Но связь времён не порвалась. Через двести с лишним лет после смерти гениального английского драматурга в России появляются басни Ивана Андреевича Крылова: «Кот и Повар», «Кукушка и Петух», «Стрекоза и Муравей», «Волк и Журавль»…

Об этом и пойдёт речь в данном исследовании, в котором мы постараемся провести параллели в творчестве Шекспира и Крылова.

Я давно собирался написать об этом, но, начитавшись современной критики, боялся попасть впросак. Ибо я уже усомнился в существовании и Шекспира, и Крылова.

Если принимать на веру исследования одного маститого английского критика, – под псевдонимом «Вильям Шекспир» писали Кристофер Марло, Роджер Бэкон и королева Елизавета I Тюдор. А один из наших литературоведов выдал, что большинство басен Крылова написаны Эзопом, Федром и Лафонтеном, и пока дедушка Крылов ел блины, дрался на кулачках и дремал в кресле, шустрые переводчики с древнегреческого, латыни и французского, быстренько всё это перевели и издали, воспользовавшись именем Ивана Андреевича. Но позвольте, возражу я: а как же «Крестьянин и работник», «Волк на псарне», «Тришкин кафтан», «Демьянова уха». Эти басни могли появиться только на российской почве. Тут русские имена, медведи и волки, которых в южных странах давно уже нет, тут намёк на Кутузова и Наполеона. Нет! Мы ещё повоюем за честные имена Шекспира и Крылова!

1. Кот и Гамлет

В многоуровневой иерархической структуре Датского королевства отчётливо выделена оппозиция: принц Гамлет – король Клавдий.

Узнав от призрака, что его отец вероломно отравлен родным братом, Гамлет клянётся мстить. Но он медлит. Почему, затягивая свою месть, он обрекает себя на гибель?

Этот вопрос ребром стоял в центре внимания многих поколений писателей и литературоведов, писавших о Гамлете и Шекспире. Все они, в сущности, приходили к выводу, что Гамлета удерживала от скорой и решительной мести именно сложность его натуры. Великий Иоганн Вольфганг Гёте слишком оттеняет в образе Гамлета «слабость воли при высоком сознании долга». Вскоре после Гёте, немецкий исследователь Август Шлегель приходит к выводу, что в нерешительности принца датского проявилось противоречие между мыслью и действием: Чрезмерная склонность к рассуждениям, рефлексия убивает решимость, волю и стремление к действиям. Так трагедия Гамлета начинает рассматриваться как извечная трагедия интеллигенции. Эту мысль развивает Иван Сергеевич Тургенев в своей знаменитой речи «Гамлет и Дон Кихот». По словам В. Г. Белинского, «Гамлет проявляет слабость воли, но только вследствие распадения, а не по природе своей».

Сюжет «Гамлета» абсолютно идентичен басне И. А. Крылова «Кот и Повар».

Король Клавдий безнаказанно убивает своего брата – отца Гамлета, а Гамлет в это время философствует:

> Быть иль не быть, вот в чём вопрос. Достойно ль
> Смиряться под ударами судьбы,
> Иль надо оказать сопротивленье
> И в смертной схватке с целым морем бед
> Покончить с ними…

У Крылова:

Какой-то Повар, грамотей

застаёт Кота, который безнаказанно

Мурлыча и ворча, трудится над курчонком,

подобно Гамлету философствует на тему: «быть иль не быть…» курчонку, и укоряет наглого Кота.

А Васька слушает да ест.

Иван Андреевич Крылов призывает Повара, а вместе с ним и Гамлета, и ему подобных слабовольных, философствующих интеллигентов к действию:

А я бы Повару иному
Велел на стенке зарубить:
Чтоб там речей не тратить по-пустому,
Где нужно власть употребить.

2. Ромео и Кукушка

Мораль басни Крылова «Кукушка и Петух» такова:

За что же, не боясь греха,
Кукушка хвалит Петуха?
За то, что хвалит он Кукушку.

Но если вчитаться внимательнее, то увидишь в этой басне поистине бескорыстные отношения между Кукушкой и Петухом.

Ну ради чего им хвалить друг друга?

Если бы они льстили друг дружке в собрании других птиц и зверей, это бы делалось в целях рекламы. К примеру, Лисица льстит Вороне из меркантильных соображений, чтобы у неё выпал из клюва сыр. Но лесть Кукушки и Петуха друг другу – бескорыстна и имеет только одно объяснение: – они влюблены друг в друга. Так как бескорыстная лесть – занятие влюблённых. Раскрываем Шекспира. «Ромео и Джульетта».

Акт второй. Сцена вторая.

Ромео:
Но что за блеск я вижу на балконе?
Там брезжит свет! Джульетта, ты как день!
Стань у окна, убей луну соседством;
Она и так от зависти больна,
Что ты её затмила белизной!

Джульетта:
Ромео, под любым названьем был бы
Ты верхом совершенств, какой он есть!

Возвращаемся к басне Крылова:

Кукушка:

Тебя, мой куманёк, век слушать я готова.

Петух:

А ты, красавица, божусь,
Лишь только замолчишь, то жду я не дождусь,
Чтоб начала ты снова…

В басне Крылова:

Тут Воробей,случась, примолвил им: «Друзья!
Хоть вы охрипните, хваля друг друга –
Всё ваша музыка плоха!..»

В трагедии Шекспира скептик Меркуцио говорит Ромео:

А эта чёртова твоя любовь – как слюнявая юродивая,
Которая ходит из угла в угол, укачивая деревянную чурку
И кутая её в тряпки…

Связь трагедии с басней налицо, и там и тут присутствует высокое чувство любви, и лесть героев бескорыстна.

3. Стрекоза и Отелло

Третья параллель – это рассказ о страшных чувствах ревности и зависти, изложенный в прямо перпендикулярных жанрах. Герои Шекспира и Крылова, Отелло и Муравей – совершенно разные существа, но их обоих сжигает жаркое пламя страстной любви, жгучей ревности и тяжёлым камнем давит зависть к сопернику. В трагедии Шекспира чёрный мавр, талантливый военачальник Отелло, поддавшись на искусную клевету коварного злодея Яго, душит искренне любящую его и ни в чём не повинную жену – светлую возвышенную Дездемону, приревновав её к честному и верному своему помощнику Кассио.

Отелло:
Ты перед сном молилась, Дездемона?
Молись скорее. Я не помешаю.
Рядом подожду. Избави Бог
Убить тебя, души не подготовив…

Дездемона:
Дай эту ночь прожить! Отсрочь на сутки!

В басне Крылова – лёгкая воздушная Стрекоза пропорхавшая, проплясавшая и пропевшая всё лето в ярких муравах, почуяв приближение холодов, ищет помощи и сочувствия у Муравья. Видимо, не зря она обращается именно к нему. Наверняка она уже не раз зимовала у него, со всеми выходящими из этого последствиями и сложными отношениями, часто переходящими в любовь. А как известно: от любви до ревности и ненависти порой бывает только один шаг.

Но это маленькое чёрное насекомое, рождённое не летать, а ползать, лелея в чёрной душе своей, ревность и зависть даже к неизвестным ему соперникам, с которыми порхала, пела и плясала Стрекоза, обрекает её на гибель. Он не задушил Стрекозу, как Отелло Дездемону. Мелкая душонка скареда, тащащего всё в свою убогую хижину, не позволила ему «накормить и обогреть» бедную попрыгунью. Он просто выгоняет её на мороз, обрекая тем самым на верную гибель.

Стрекоза:

Не оставь меня, кум милый!
Дай ты мне собраться с силой!

Муравей:

Ты всё пела? Это дело.
Так поди же, попляши!

4. Последние параллели

Если далее сравнивать произведения драматурга и баснописца, мы ещё много отыщем параллелей в их творчестве. Например, в басне «Волк и Журавль», Крылов рассказывает:

Журавль свой нос по шею
Засунул Волку в пасть…

…так, подобно крыловскому Журавлю, доверчивый король Дункан, герой трагедии Шекспира «Макбет», прибыл в замок лорда Макбета, где его встретила Смерть в образе коварной леди Макбет.

И так мы можем продолжать, пока не исчерпаем все произведения наших классиков.

И последняя параллель: Карл Маркс и Фридрих Энгельс чрезвычайно высоко ценили творчество Шекспира. Много раз в своих сочинениях великий Маркс использовал шекспировские образы, а великий марксист В. И. Ленин часто пользовался в своих выступлениях яркими крыловскими образами.

Александр ЦИРУЛЬНИКОВ

Родился в 1937 году в городе Николаеве УССР. После эвакуации с 1941 года живет в Нижнем Новгороде. Окончил историко-филологический факультет Горьковского госуниверситета имени Н.И. Лобачевского.

Работал редактором общественно-политических и информационных программ Горьковской студии телевидения, собкором Гостелерадио СССР, ГТРК «Останкино», телекомпании ОРТ в Нижегородской области, представителем издательства «Воскресение», ведущим и старшим редактором Нижегородской государственной телерадиокомпании НТР.

Прозаик, поэт, публицист, автор 29 книг прозы и стихов. Член Союза писателей России. Лауреат литературной премии «Болдинская осень», премий Нижнего Новгорода, областной премии имени А.М. Горького, кавалер ордена Дружбы, ордена Почета.

ПОЭТ В ДЕРЖАВЕ РУССКОГО СТИХА

К 80-летию со дня рождения Юрия АДРИАНОВА (1939–2005)

Юрий Андреевич Адрианов – выдающийся русский поэт, прозаик, публицист, краевед – сам объединял эти свои ипостаси емким словом «литератор». Автор сорока с лишним книг, многочисленных публикаций в периодике, он всей жизнью и творчеством принадлежит к числу замечательных людей земли нижегородской.

Юрий Адрианов родился 18 июня 1939 года, за два года до начала Великой Отечественной войны, его детская память, как он сам признавался, почти не запечатлела образ отца – Андрея Васильевича, ушедшего на фронт и пропавшего без вести во время обороны Крыма в осажденном врагом Севастополе. Самым дорогим, что осталось от отца, были его фронтовые письма, в которых есть прямые обращения к маленькому сыну. И всю жизнь Юрий Адрианов в стихах и прозе вел диалог с не вернувшимся с войны младшим лейтенантом морской пехоты. Отец продолжал жить рядом с сыном, вместе с сыном. Безусловно, особая заслуга в этом принадлежала Юриной маме Екатерине Ивановне, которая так организовала семейный быт, что в нем всегда ощущалось присутствие третьего – главного члена семьи – отца. У Юры никогда не было чувства безотцовщины, просто было долгое отцовское отсутствие, в первые послевоенные годы перемежавшееся даже с потаенной надеждой на счастливое возвращение: ведь не было получено похоронки!

Юрий всегда гордился своей причастностью к старому нижегородскому (впрочем, не только нижегородскому!) роду Адриановых, он ощущал близкими себе людьми и пращура-священника, который повел за собой солдат на Бородинском поле, и генерала, бывшего одно время градоначальником Москвы, и славного железнодорожника, проложившего пути через сибирскую тайгу, в честь которого там доныне станция зовется Адриановкой, Юрий по праву гордился дедом – Василием Васильевичем Адриановым, замечательным математиком, одним из основателей первого в Росссии Нижегородского астрономического общества и председателем ученого совета, учредившего в Нижнем Новгороде в 1916 году Народный университет, и братом деда, создателем армейского компаса Адрианова и автором рисунка герба Советского Союза. Это брат его отца Николай Васильевич Адрианов стал разработчиком поистине ошеломляющего проекта, благодаря которому в Горьком в 1941 году по трамвайным рельсам через Окский мост и потом по Советской улице ночами двигались воинские эшелоны с сибирскими дивизиями с Ромодановского вокзала на Московский вокзал и дальше на выручку к Москве.

Это все формировало характер Юрия Адрианова, его мироощущение и мировоззрение, его место в жизни. Все это он коротко уместил в два слова «Нижегородская отчина». Так он поименовал свою главную книгу, над которой работал всю жизнь.

Первые публикации его стихов приходятся на последний год учебы школе и студенческую пору времен «оттепели» (1957–1962). Он учится на историко-филологическом факультете Горьковского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, участвует в уборке целинного урожая на Алтае, в фольклорных студенческих экспедициях по всему Поволжью.

Юрий Адрианов много ездил по родной стране, побывал в Англии, ГДР, Венгрии, по путевкам ЦК ВЛКСМ участвовал во всесоюзных и международных фестивалях поэзии, и встречи в пути воплощались в стихи и прозу. До сих пор добытчики апатита на Кольском полуострове, геологи Камчатки, рыбаки Байкала поют написанные Адриановым песни, даже не зная имени их автора.

Адрианов обладал и незаурядным талантом художника. Где мы только не бывали вместе с Юрой – на уборке картошки или в фольклорной экспедиции в студенческие годы, а потом в журналистских командировках, поездках в Болдино или на отдыхе – с ним всегда был этюдник, и он всякий раз находил время, чтобы запечатлеть маслом на картонке или кусочке холста понравившийся ему природный уголок. Таких живописных работ сотни. И Юра охотно дарил их своим друзьям по поводу и без повода.

Юра любил при любой погоде сесть у окна в трамвае № 2 и делать круги по городскому кольцу. Город со своими улицами и переулками, старыми домами и новостройками шел к нему навстречу, проплывал за стеклом, а Юрий вглядывался в него, каждый раз – в разную пору дня, погоды и времени года, как художник, улавливал перемены в его облике, настроении, состоянии…

Потом, когда болезнь сделала его домоседом, эти трамвайные «круговерти» стали для него единственной возможностью жить в движении. Практически внутри трамвайного кольца был город, который он знал с детства, «бабушкин город», с которым он прощался, когда видел, как под тяжестью новостроек рушатся старые дома и выкорчевываются посаженные предками деревья…

В 60-е годы Юрий первым среди послевоенных молодых поэтов нашего края увидел и воспел краски хохломы (1958), это было еще до того, как Борис Корнилов вернулся из забвения. Адрианов удивился и поведал в стихах об Андрее Рублеве и его иконописи, почувствовал красоту и духовную силу старинных русских храмов («Над Нерлью коростели плачут...»). Это потом, уже вслед за Адриановым, эти темы стали широко употребляемыми в стихах и прозе его молодых товарищей по литературному цеху. Тогда же поэта укоряли в уходе от современности. Хотя он от нее никогда не уходил, даже тогда когда обращался к историческим сюжетам, и тогда, когда писал на сугубо политические, я бы даже сказал, на партийные темы, был искренен и высоко поэтичен («Мы в Шеффилде шли по шахте», «Я волгарь-доброволец»).

Достаточно вспомнить строки, написанные при прощании с XX веком:

Мы век начинали с «Варяга»,
Окончили «Курском» его…

По жизни вела его беззаветная любовь к дорогим с детства местам, к родному городу, которому, как он сам признавался друзьям, стоит служить и посвятить жизнь.

Нижний Новгород.
Сумерек влага.
И молчанье холодное вод…
Город тихо течет по оврагам,
Город сонно по склонам бредет…
Я – твой сын коренной, а не пришлый.
Вновь, как в детстве, иду не спеша:
Красоте твоей, батюшка Нижний,
Не устала дивиться душа!..

Он ушел от нас 12 августа 2005 года. Но его литературная биография на этом не завершилась. Его строки звучат так актуально, как будто они написаны в наши дни. И в них можно найти ответы на вопросы, которые задает наше время. Уверен, что общение с творчеством Юрия Адрианова будет длиться и длиться долгие годы.

В первой посмертной книге Юрия Адрианова «Душевные слова – не листопад», изданной к сороковому дню его кончины и составленной из стихотворений, посвященных друзьям, есть четверостишие, адресованное:

Смысл жизни – в сбирании памяти,
Смысл жизни – в храненье ее.
И если вы память утратите,
Бессмысленным станет житьё!

Собственно, этим мы, друзья Юры, сейчас и занимаемся – «сбиранием памяти» о нашем ушедшем товарище.

Письма Юриного отца Андрея Васильевича Адрианова с фронта впервые были опубликованы мной в книге «Полевая почта слова» по просьбе Юрия Андреевича. Книга вышла в московском издательстве «Воскресенье» в апреле 2005 года, в канун шестидесятилетия Победы,

и Юра ее читал и был благодарен за публикацию отцовских фронтовых строк.

Как-то во время работы над этой книгой я в разговоре с Юрой по телефону заметил, что за шестьдесят лет, прошедших с войны, эти пожелтевшие и выцветшие солдатские треугольники стали уже документами времени, не письмами, а письменами.

– Саша, отдай мне эти «письмена» для стихотворения! – попросил он. И буквально на следующий день позвонил и прочитал:

Свою Победу празднует страна,
И нынче так случилось,
Боже правый,
Что письма превратились в «письмена»
И тихие слова очнулись Славой.
Так значит подошел незримый год,
Уверенно, с державным безразличьем:
Свершается незримый переход,
И факты наполняются величьем.

Почти 50 лет жизни мы прожили с Юрой рядом, многое помнится, многое утрачено. Сохранились какие-то штрихи и детали к портрету друга. И я взялся запечатлеть их, пусть обрывочно, пусть сумбурно, но лучше так, чем никак. Я уверен, что имя Юрия Адрианова навсегда останется в русской поэзии. И, может быть, мои записки пригодятся тем, кто будет изучать его творчество и его биографию.

Андрей Васильевич Адрианов окончил Ленинградский водный институт с дипломом инженера-гидротехника. И, вернувшись в родной город, участвовал в проектировании и строительстве Горьковского речного порта на стрелке Волги и Оки. А когда началась война, то ему предложили выбор: ехать с семьей на жительство и на работу в Дудинку, опять же срочно проектировать и строить порт, который должен был сыграть важную стратегическую роль на севере Сибири в годы войны, или на фронт, в Действующую армию. Он предпочел фронт и был отправлен служить на крайний юг страны, на Черноморское побережье, где разворачивалось одно из самых жестоких и самых героических событий войны. В историю войдут два слова, его обозначивших, – оборона Севастополя!

Прошло всего лишь около месяца, как Андрей Васильевич Адрианов оказался в действующей армии, и Верховный главнокомандующий издал приказ: инженеров-гидротехников, в числе специалистов ряда других стратегических профессий, в армию не призывать из-за их необходимости в обеспечении особо важных для фронта работа в тылу. Но было уже поздно.

Когда читаешь письма Андрея Васильевича, вспоминающего родные места, понимаешь, откуда наследственная любовь к Волге и Оке у Юрия Андреевича, которому потом в отрочестве и в молодости довелось доплыть на веслах по Оке до Жайска, пройти от Нижнего Новгорода вниз по Волге почти до самого Каспия – и пешком вдоль берега и на чем попало по течению. Мне повезло тогда, летом 1959-го, быть рядом с другом.

Снова пробудились спозаранку
В шелесте рассветного огня

Две голубоглазых россиянки,
В колыбели нянчивших меня.
Сколько раз я слышал кривотолки:
Кто из них двоих – «перворека»?
…С борта лодки умываюсь Волгой,
Окликает, окая, Ока.
Скучен спор, и праздный, и банальный,
Знаю: с незапамятной поры
У меня две бабки повивальных
Две родных заботливых сестры.
Словно две крестьянские светелки,
Рубленные русскою рукой…
И ревниво подзывает Волга,
Если я аукаюсь с Окой.
Подошли к нижегородской круче,
С синевой единою в очах,
Две реки со мною неразлучны,
Как любимой руки на плечах.

Эту любовь к Волге, к родному городу Юра получил в наследство от отца и пронес через всю жизнь. И в студенческих фольклорных экспедициях, и на охоте, и во время творческих командировок на съемки телевизионных фильмов о нижегородской земле сын ощущал рядом с собой присутствие отца, сам становился на его место и смотрел на мир его глазами. По сути, вначале шел по отцовским следам, а потом сам вел отца по новым тропам.

Он любил, вставая спозаранку,
Росною, знакомою тропой
С неразлучной старенькой берданкой
Уходить в предутренний покой…
Только нет, на озере проточном
Вместе не пришлось встречать рассвет.
Нам прислала полевая почта
Этот страшный маленький пакет.
Я отца не помню. Только снова
Побродяжить в дальние места
Тянет непоседливость отцова,
Наша беспокойная черта…
Мама, мама, не смотри с заботой
И под нос тихонько не ворчи:
Дескать, зря не лазай по болотам
И случайно ног не промочи!
Не смотри ты так сердито, мама,
Помоги мне подогнать ремни.
Я пойду, опять пойду упрямо
На лесные дальние огни,
Чтоб в бору за мутноватой Волгой,
У сторожки с низеньким крыльцом,
Летней ночью долго, очень долго
Мысленно беседовать с отцом.

Можно сказать, что разговор с отцом мой друг вел всю жизнь. Отец и сын через время оставались собеседниками, и сын ощущал себя полпредом «батареи моего отца»!

…Где-то там, у мыса Херсонеса,
Что, как догоревший дом, чадил,
Морем от Большой земли отрезаны,
Вы остались даже без могил…
Вот они опять ко мне подходят
В выцветших тельняшных лоскутах:
«Парень, парень, ты не весел вроде –
Слюни распускаешь на губах!
Знаем, что один настырный дядя
Говорил заведомую ложь,
Что когда-то и чего-то ради
Ты Россию нашу подведешь,
Высыпал пригоршню замечаний,
Говорил, не поднимая глаз!..
Ты зачем хранил тогда молчанье –
В этот час стреляли, парень, в нас!»…
И по дряни сочной, ладно выбритой,
К нам пришедшей из иных времен,
Я стреляю,
Слышишь, напрочь выбитый,
Мертвый севастопольский заслон!
За мечту, за правду человечью
И за то, что создало меня,
Потому что в сердце бьется вечная
Искорка от Вечного огня!
Потому и говорю, не скроясь,
Подлецу от твоего лица,
Скорбь моя,
Непримиримость,
Совесть –
Батарея моего отца!

22 июня 1942 года датировано последнее полученное от Андрея Васильевича письмо. О том, что случилось дальше, неизвестно.

Полевая почта доставила домой в Горький известие – пропал без вести.

…Шли годы. По-разному складывалась жизнь. Мы встречались далеко не каждый день, но телефонные контакты были, как правило, ежедневными; обычно они происходили часов с 7 до 8 утра, перед моим уходом на работу, и обязательно вечером перед информационной программой «Время». Юра называл это наше общение вечерней молитвой.

Телефон служил нам средством постоянного и долговременного общения. Он читал мне новые, только написанные стихи, и бывало так, что тут же по телефону я ему советовал что-то переделать и даже с ходу предлагал другие варианты той или иной строки. Он всегда был внимателен к моим советам, записывал или запоминал сказанное, и не раз случалось, что соглашался и вносил изменение в стихотворение. То же самое происходило, когда я читал ему по телефону что-то мной написанное и прислушивался к его правкам, которые он вносил в тот или иной мой текст.

У меня есть все Юрины прижизненные книги, и только на одной из них нет теплой дружеской надписи – на «Провинциальных Гомерах».

День выхода этой книги совпал с днем Юриного ухода. В последние годы жизни он очень много работал. Бывало, звонил по три-четыре раза в день и каждый раз читал только что написанные стихи. Продолжал пестовать главную книгу своей жизни – «Нижегородскую отчину», одновременно вынашивал и фрагментарно заносил на бумагу главы мемуаров «Память Дятловых гор», готовил к печати «Провинциальных Гомеров» и собирал антологию поэтов-земляков «Питомцы волжских берегов».

Кроме занятия литературным творчеством нас объединяло еще одно: мы были сыновьями фронтовиков. Наше раннее детство пришлось на лихое военное четырехлетье, а в первые школьные годы мы испытали слегка присахаренную горечь послевоенного быта. Через всю жизнь мы пронесли святое отношение к Великой Отечественной войне и ее воинам.

Каждый год 22 июня в четыре часа утра мы звонили друг другу. И обменивались звонками в памятные даты сражений и побед под Москвой, Сталинградом, прорыва блокады Ленинграда, разгрома фашистов на Курской дуге, освобождения наших, при жизни Адрианова зарубежных, святынь Севастополя, Одессы, и до сих пор заграничного моего родного Николаева…

Каждый год, начиная со второй половины апреля, мы перезванивались с Юрием по нескольку раз на дню. Темой разговоров было продвижение наших войск к Берлину в 1945 году. Первый разговор происходил 16 апреля – в день штурма Зееловских высот. Мы хорошо знали и помнили обо всех заключительных операциях войны. Одним из самых ярких событий, естественно, была встреча с американскими союзниками на Эльбе, которая произошла 25 апреля. Каждый новый день приближал нас к Великой Победе.

Вечером 30 апреля он звонил мне:

– Саша, они уже бегут на купол.

Пояснения о том, что это знаменосцы Егоров и Кантария, не требовалось. По тогдашним данным считалось, что Знамя Победы было водружено 30 апреля в 22 часа 45 минут.

Только весной 2005 года стало доподлинно известно, что на купол рейхстага сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария стали подниматься только глубокой ночью 1 мая и водрузили свой флаг в начале третьего часа. И было их не двое, а трое – возглавлял знаменосцев капитан Алексей Берест, замкомбата по политчасти, а Героя Союза он не получил, потому что Г.К. Жуков не любил политработников. Их флаг был к тому времени четвертым красным полотнищем, поднятым над рейхстагом. И остался единственным уцелевшим после того, как гитлеровцы стали обстреливать крышу своей же цитадели из дальнобойных орудий, чтобы сбить наши красные флаги.

– Значит, это все-таки единственное Знамя Победы, других нет! – подытожил Юра мое сообщение.

В кануны 9 мая, очередной годовщины Великой Победы, по телефону мы называли даты, наименования фронтов, частей и соединений, имена полководцев и солдат, пели песни военных лет. Человек со стороны, став свидетелем подобного общения двух весьма уже немолодых людей, мог принять нас за подвыпивших чудаков, но все это мы совершали на трезвую голову…

Помню, мы спели великую песню «Где же вы теперь, друзья-однополчане?», и Юра сказал, что это сейчас самая печальная песня о вой-

не, потому что уже почти некому ждать ответа на этот вопрос, да и отвечать тоже почти некому…

Юра рассказывал и писал в «Нижегородской отчине», как летом 1965 года он вместе с мамой Екатериной Ивановной приехали в Севастополь искать следы мужа и отца. Долго ходили по городу. Устали, вечером пришли в гостиницу. А их не принимают: мест нет. Екатерина Ивановна в сердцах высказалась: «Пойдем, сынуля! Отец, обороняя этот город, голову сложил, а нам ночевать негде!»

И произошло чудо: администратор выскочил из-за стола, расспросил маму, и все решилось в минуту.

По словам Юры, перед ними извинились. И поселили мать с сыном в люксе, и бесплатно!

Севастополь – город гибели отца был для моего друга вторым после Нижнего Новгорода святым местом на Земле. Я 9 мая 2014 года пришел на Юрину могилу и сказал ему, что Крым и Севастополь снова вернулись в Россию.

Мне казалось, что если это известие дойдет до него – он воскреснет!..

…22 июня 1962 года, через день после защиты дипломного сочинения в университете, мы с Юрой пришли первый раз на телевидение как штатные работники. Начиналась совсем другая жизнь. У Юры она продолжалась пять лет, так сказать, в штатном варианте, и все остальные годы он оставался востребованным на телевидении человеком и охотно откликался на просьбы об участии в той или иной программе. И в государственной телерадиокомпании (НТР), которая стала правоприемницей Горьковской студии телевидения и областного радио, всегда считали его своим человеком.

Я уговаривал Юру не уходить с работы «на вольные хлеба» в 1967 году. Но он уже был членом Союза писателей и считал, что может профессионально заниматься только литературным делом.

Работа на телевидении – это первая и, по сути, единственная штатная трудовая деятельность в его биографии. Ему пришлось окунуться в глубину обычной, повседневной жизни, от которой он до этого был далек, познакомиться с десятками, сотнями людей, самобытных и разнохарактерных, живущих в городах и сельской глубинке, с самими этими городами и селами, уникальными природными территориями. Из цикла его передач «Есть маленькие города в России» и «Горсть родной земли» потом сложилась его главная книга «Нижегородская отчина», ее появлению способствовали телевизионные фильмы по сценариям Адрианова «200 километров России», «Дорога на Китеж-град», «Я приток твой, Волга!».

До определенной поры критики и коллеги по писательскому цеху упрекали молодого поэта в «литературности», в том, что основу его творчества составляют обширная эрудиция, начитанность, переосмысление и пересказ того, что кем-то уже рассказано и написано. Приведу дружескую эпиграмму нашего однокурсника Валентина Герасимова на Юрины стихи о молодом художнике, а по сути, о самом себе, – «Ходил по земле мечтатель». Она звучала так: «Ходил по земле Адрианов по тропкам лесов и полей, где много красивых туманов, но вовсе нету людей…» Через пять лет телевизионной жизни все эти упреки сделались неуместными.

Рафинированный поэтический мальчик из центра города вырос за пять лет в опытного писателя и журналиста. Он взял от телевидения все, что мог взять полезного. Я допускаю, что Юра решил, что ему нужен уже другой опыт, другие средства воплощения своего таланта…

«На вечернем перепутье» – так Адрианов назвал свою книгу стихов, которая вышла в свет осенью 1993 года, когда на перепутье была вся Россия. Тревога автора прозвучала и в дарственной надписи: «Дорогому моему другу – Саше Цирульникову – эти последние строки последних месяцев нашего драматического времени. С надеждой и верой в добрую судьбу Отечества. Твой Юрий Адрианов».

…Шли годы «третьей русской смуты»
Сквозь злой газетный листопад.
А митинговые Малюты
Терзали души всем подряд.
Воззванья, словеса, реченья,
Рубили воздух кулаки,
Звал кто-то к сбору в ополченья,
А кто-то распускал полки…
Шли годы «третьей русской смуты»…
И в кузовах грузовиков
В последний путь из стен приютов
Везли безродных стариков.
Как пьяные, шатались слухи,
Шутить устали остряки,
И от обилия порнухи
Гноились книжные ларьки.

Сменялось золото – полудой,
Сменялись в партиях вожди.
Шли годы «третьей русской смуты»,
И мутные текли дожди.

Время сделало из поэта-лирика поэта-публициста. И это была не ломка, не насилие над собой, а логика самой жизни, которую Адрианов принимал и исповедовал. И случилось это задолго до 1990-х годов. Еще в конце 1950-х, когда прозвучало его «Слово о балладах».

В 1962 году Юрий с группой молодых писателей и журналистов, сформированной ЦК ВЛКСМ, съездил в Англию. В результате родился цикл «английских стихов». И в нем «Идут коммунисты!» Как-то в последние годы жизни Юрий в одном из интервью отмечал, что никогда не писал «партийных» стихов. Я позвонил ему и напомнил его же строки, ставшие благодаря композитору Анатолию Бурдову замечательной песней «Я волгарь-доброволец», написанной к 60-летию комсомола, и, конечно же, стихи «Идут коммунисты!»

Мы в Шеффилде шли по шахте –
Несколько русских парней,
И эхо устало ахало
В отблесках фонарей.
Как Данте мы шли сегодня
В кромешный угольный ад.
Бросали жильцы преисподней
Смертельно усталый взгляд.
Вдруг в мраке тревожно и быстро
Мастер начал шептать:
– Молчать! Идут коммунисты!
Идут коммунисты! Молчать!

…Стояли шахтеры, как вкопанные,
Послушные, словно юнцы.
И только глаза углекопов
Блестели, как антрацит.
Каску надвинув низко,
Мастер шептал опять:
– Молчать! Идут коммунисты!
Идут коммунисты! Молчать!

Тяжелою липкой массой
На лица ложился жар…
Вперед уносился мастер,
Как биллиардный шар.
Прикрикивал зло и броско
Темным теням людей…
Так уши матросов воском
Замазывал Одиссей.
О, рабское это молчанье,
О, слабость могучих рук!
Мы станем, эпоха, врачами,
Молчаний лечить недуг.
Чтоб злобе врагов неистовых
Ты, время, могло сказать:
– Молчать! Идут коммунисты!
Идут коммунисты! Молчать!..

Ей-богу, Юрию не надо было стесняться этих искренних и честных строк, опубликованных в его первой книге стихов. Я знаю, что он не выходил из КПСС и сохранил свой партбилет в начале 1990-х годов, когда многие демонстративно рвали с «коммунистическим прошлым».

И вообще я думаю, что речь здесь не о принадлежности к политической партии, а о принадлежности к России, к тому, как ее всегда – тогда и сейчас воспринимают на Западе, в той же Англии – боятся и ненавидят!

Уже 14 лет как мы живем без него, но рядом с его стихами и прозой, которые сейчас продолжают звучать актуально, как будто только что написаны.

При всей своей природной скромности он знал, что так и будет, потому что трезво оценивал свой дар и в те же «смутные» девяностые годы вроде бы шутил:

В нашем обществе эволюция,
Демократия и прогресс:
Конституция,
Проституция,
То чертенок,
То крупный бес.
А с художника –
Взятки гладки:
На мирской бардак погляжу –
И сворачиваю манатки,
И… в бессмертие ухожу.

Стихи по кругу

Пётр РОДИН
Воскресенское, Нижегородская область

На Ветлуге

В день Евдокии, 14 марта, рано утром встретил я на берегу известного в районе, и не только, А. Н. Дружинина. Вынул он из кармана куртки большой (семиглотошный) стакан. Нет, не выпивать мы до восхода собрались, а рассказал мне бывший предрик о том, как они с покойным Виктором Львовичем Горшуновым из Затона ежегодно и именно в этот день замеряли будущий разлив нашей Ветлуженьки.

Имя святой Евдокии ассоциируется с покровительством земной природы. Считалось, что святая хранит ключи от весенних вод, так нужных для будущего урожая.

А. Н. Дружинину

Солнце лыбится, взлетая.
Знать, от сна.
Ах, какая молодая ты, Весна!
По утрам, марток, морозом
Не пугай.
По реке ведёт прогнозы
Ветлугай.
Запиликала пичуга,
Зябко, чай?
Я пришёл к тебе, Ветлуга,
Знай, встречай.
В Евдокию как на речку
Я приду,
Шепоточком с нею речи
Поведу.
Что со сроками разлива,
Мать-река?
Распластаешься на диво,
Иль слегка?
Теле-, радиопрогнозы –
Ерунда!
Зачерпнём снежку с тороса
Да со льда.
И стакан семиглотошный
Всклень набьём.
Он разлив покажет точный,
Правда – в нём.

Коль вода в стакане встала
В палец лишь –
Половодье будет малым,
Гладь да тишь.
А коль к рубчику стремится,
Лезет ввысь,
То разлив большой случится,
Знай, держись!
Уж Ветлуга выгнет спину –
Океан!
Указал на середину
Мне стакан…
Я на речку в Евдокию
Прихожу.
Каким будет половодье,
Предскажу…
А точней, как разольётся,
Доложу.

Верба

Любили. Украдкой встречались,
Но судьбы в одну не срослись.
Мелькнули вокзалы, причалы…
У вербы апрельской сошлись.
Барашки в подушечках пальцев
У пары рассыпались в прах.
Весны неуютное зальце,
Улыбки вины на губах.
И нет на вопросы ответов.
Ручей бормотал всё о том,
Что, будучи полднем согретый,
Он выльется в мощный проток.
Дожди смоют радость и слёзы
И несколько сказанных слов.
Как веточка вербы с мороза,
На вкус горьковата любовь.

Алик ЯКУБОВИЧ

* * *

Весна – это выйти из дома
И долго молчать,
Пока не увидишь дорогу.

* * *

Коня на скаку,
Мужа из запоя,
Ребёнка из садика.

* * *

Даже если ничего не случится,
Фотоаппарат всё равно всегда со мной,
Ведь стоит только взять его в руки,
Как я становлюсь
Немного моложе
И намного умнее.

* * *

Жизнь, как учитель физкультуры –
То отжаться,
То на мостик,
То через козла,
Пока не поймёшь,
Что жизнь – это театр,
И, может, тогда
Господь переведёт тебя
Из гардеробщиков в режиссёры.

* * *

Странно.
Тёплые.
Подумал он,
Наткнувшись на ключи
От родительской квартиры.

* * *

Сколько есенинских стихов
Прочитал я вчера
В глазах собаки.

* * *

И задержаться
В книжном магазине
Почти на час,
С любимой книжкой,
Что приоткрыл,
Так неожиданно в себе.

* * *

Чем старше, тем смелее во взгляде
На женщин и отсутствие смыслов,
На творчество и проблемы с деньгами,
На смерть, что сторожит на пороге.
А ещё он стал моложе улыбкой,
Пропадая в городском пейзаже,

Неслучайно со случайным знакомым,
Выпивая за победу Икара,
И опять, в который раз на рассвете,
На какой-то покосившейся крыше
Он сидит с Господом Богом в обнимку,
Потому что тот в него ещё верит.

* * *

В лодке уснувшей на берегу,
Выросло дерево
С листьями рыб.

* * *

А помнишь, спросила дверь
У зеркала, что в прихожей,
Как они были похожи,
Пока просыпались любовниками.

Светлана ЛЕОНТЬЕВА

* * *

Слово в начале было. Струилось.
Слово свивалось, как бабочка в кокон.
Билось. Как в бубен. В исчадье и стылость.
Слово за слово, как око за око.
Фраза за фразой, гласной, негласной.
Общий фундамент –
святой, праславянский.
Слово – оно архитектор и мастер,
каменщик, плотник, глашатай и пастырь,
кружев орнамент.
Сжальтесь, молю я! Я слово рожаю.
Я пуповину отсекла, отгрызла:
слово вначале на поле, на ржави,
в лоне отчизны!
В лоне вселенной молочные реки,
светлые слёзы, что сжаты до слова.
Нет его в птице – оно в человеке,
нет его в звере, чья поступь песцова,
в дереве, в пластике, в кости тигровой.
Слово царёво. Оно кумачово.
Слово пудово, тесово, толково.
Слово терново!
Душу оно до крови искололо.
И из груди, еженощно сгорая,
вновь возникая, как феникс из пепла,
рваные крылья от края до края
крепнут.

Старше всех стран, всех племён и созвездий,
но кукушонком, где осыпь, где яма
падает, крошится, рвётся о бездну:
«Мама!»
Слово щитом на воротах Царьграда,
взмывом алеющим русского флага,
русскому слову любая громада,
плечи атланта – всё кстати, во благо.
Просто не трогать, где больно, не надо!
Русскому слову я сердце всё – в топку,
словно бумагу.

* * *

Когда идёшь в одном ты крестном ходе,
причастная, по волнам городским
аки по тверди!.. Вместе, вплоть, в народе –
слиянная я, что спекалась в утробе
вот этой улицы. Не кинь, молю, не кинь!
О, сколько здесь порушенного было.
Мне на колени пасть у мостовых
пред куполом, пред каждою могилой
затоптанной! Святее нет таких.
Обиженных, униженных, распятых,
гремящих стеклотарой, нищих здесь
у кованных ворот, придурковатых
не счесть!
Кому-то даром. Им же всё недаром.
Кому-то грешно. Им безгрешно в старом,
немодном одеянии ночь-днесь.
Мы все в единой массе. В крестном ходе:
над куполами птицы в хороводе,
сороки, сойки, голуби, грачи.
Молясь, молчи!
Я – бедная сегодня,
я – публика твоя, мой волжский ход!
Здесь море-океан, Ока и Волга
сливаются, сцепляются в приплод.
Кто с детками, кто просто так, кто с мужем,
я лишь песчинка, комышек я – суши,
в скирде иголка!
Но здесь с тобой, рабочий люд, но здесь с тобою.
Молотобойцы, рыбари, ткачи, вахрушки,
две стриптизёрши да малец и дед с козою,
ещё актриса, говорят, она с шизою,
но мы все братья, все мы сёстры – кольца суши!
На этом море. Море белом, разливанном.
На Антарктидовом. На Китеградье вместе!
Подставь ладони для своей небесной манны,
целуй нагрудный, под рубахой гретый крестик!
Да, публика я – публика из публик!
Но мне так лучше со иконами, не тесно,
чем восседать так одиноко без возлюбья

в ряду, где кресло!
Но если честно, если честно, если честно
вот скоро всхолмие. Нам, выжившим от века,
пересказать вот в этом чохе, в этом звоне,
пересчитать потери наши в беззаконье,
держа в руках не похороненное древко!

Борис АНДРИАНОВ

Нищие на поездах

Немой и тот, что из придурков –
Глазам не веришь, кто тут нищ, –
У тамбура, среди окурков,
Считают, сколько дали тыщ.
Мыча счастливо, осмелело
С вязанки воблу, выбрав, рвут
И, расплатившись, то и дело
По-своему друг другу врут,
Перед иконою пречистой
Как собирали в этот раз,
И под «Славянку» гармониста
Поедут в город Арзамас.
На дальней станции привстанут,
Толкая пальцами стекло,
И атлас Родины достанут,
И там поищут, где село
Запрятано за пыльной рамой
В цветенье полевой травы,
И поезд тронется, и прямо
По колее, среди равнин,
Они помчатся по России
Своим несчастьем торговать,
И всё привидится красивым,
И можно воблой пировать!

Владимир Лебедев

Старый пляж

Растаяли погожие деньки,
Туманов вязких стелется сонливость.
На старом пляже странницы-реки,
Как мать, ветла заботливо склонилась.

Она ей шепчет добрые слова,
Обнять пытаясь чуткими ветвями,
В тени мерцает томная листва
И ищет встречи с влажными устами.

Прохладой веет с северных широт,
Все травы убраны на берегах привольных.
Ветла, вздыхая, внемлет всплеску вод
И, не решаясь перейти их вброд,
Лишь провожает с легкой грустью волны.

Париж и мышь

Твоя мечта – Рим и Париж,
Ты всем об этом говоришь
И снова в облаках паришь,
Мечту лелея.

И всю-то жизнь, как ты сверлишь,
Здесь не живешь, а лишь гостишь.
Края, мол, эти – не престиж,
Себя жалеешь.

Но вот случилось: ты летишь,
Как на метле, туда, в Париж,
Чтоб там пожить. Былое – кыш!
Летишь и млеешь.

Что ж, прилетел, и ешь и спишь,
А за окном шумит Париж,
Он ярко светит, только, вишь,
Тебя не греет.

И вот ты тлеешь и коптишь,
А на душе скребется мышь.
Так ведь казалось: в корень зришь –
Нет, костенеешь.

Ты память детства теребишь,
О светлой юности – твой стиш,
Себя терзаешь и коришь –
Всё злее, злее.

Ночами вязкими не спишь:
О роще в ландышах грустишь,
Заветной тропкою бежишь –
Мечту лелеешь.

Текут года, ты всё хандришь,
И вот совсем уже, как мышь,
Забравшись в нору, ты сидишь
И всё сереешь.

Огнями плещется Париж,
Пестрит нарядностью афиш,
А ты – чужак, судьбу хулишь.
А что имеешь?

Татьяна БОБЫШЕВА

* * *

Позови меня, и я отвечу
Звонким эхом, трелью соловья.
Подари волшебный тихий вечер
В белоствольной роще у ручья.

Принеси с собою на свиданье
Не кораллов и не жемчугов,
А цветок подснежник первый, ранний,
Очень нежный, в свежести снегов.

А ещё три лучших в мире слова,
Ими тронь души моей струну,
Чтоб я к жизни возродилась новой
В самую счастливую весну.

Александр БОРОДИНОВ

Жизнь

Жизнь – неповторима.
Хорошо ли, плохо ли,
Но у всех у нас она одна!
Только кто-то
Пользуется крохами.
Ну а кто-то –
Жизнь берёт сполна.

Прости

Наверняка я грешен, как и все,
И после смерти в ад пойду кромешный.
Я от любви горячей облысел,
Хотя не очень стар ещё, конечно.

Мы к старости пока сейчас глухи,
Лишь к ста годам признать её готовы.
О, Боже мой, прости за все грехи!..
И дай возможность совершить их снова.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

О. А. Рябов

ШЕФ-РЕДАКТОР

Андрей Иудин

МАКЕТ

Арсения Костромина

ДИЗАЙНЕР ОБЛОЖКИ

Анатолий Гришин

КОРРЕКТОР

Лев Зелексон

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Валерия Белоногова

Николай Бенедиктов

Дмитрий Бирман

Глеб Горбовский (Санкт-Петербург)

Ирина Горюнова (Москва)

Диана Кан (Новокуйбышевск)

Елена Крюкова

Захар Прилепин

Андрей Рудалёв (Северодвинск)

Роман Сенчин (Екатеринбург)

Евгений Эрастов

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Сергей Горин

Олег Захаров

Людмила Калинина

Александр Котюсов

Ольга Лисятникова

Надежда Преподобная

Владимир Седов

Выпуск издания осуществлен
по заказу
правительства
Нижегородской области

Издание осуществлено
при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати
и массовым коммуникациям

Свидетельство о регистрации
средства массовой информации
в Федеральной службе по надзору
в сфере связи, информационных
технологий
и массовых коммуникаций
ПИ № ФС77-60285
от 19 декабря 2014 г.

УЧРЕДИТЕЛЬ
ООО «КНИГИ»

Адрес редакции:
603057, Нижний Новгород,
ул. Бекетова, 24/2.
Тел. (831) 412-16-04
Рукописи принимаются в редакции
или по электронной почте:
jurnalnn@yandex.ru
Сайт журнала: www.jurnalnn.ru

Тексты для публикации присылаются отдельным файлом Word с указанием авторства, наименования произведения и краткой биографической справкой. Неоткорректированные рукописи с большим количеством ошибок не рассматриваются.

Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за достоверность фактов несут авторы материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

При перепечатке материалов ссылка на журнал «Нижний Новгород» обязательна.

Подписано к печати 04.04.2019.
Выпущено в свет 25.04.2019.
Формат 70×108 $^{1}/_{16}$. Усл.-печ. л. 21.
Тираж 800 экз. Цена свободная.

Отпечатано в типографии
АО «ИПК «Чувашия»
428019 Чувашская Республика,
Чебоксары, пр. Ивана Яковлева, д. 13